

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО/  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И НАУЧНЫЙ  
ЖУРНАЛ

1

1 9 2 5

---

# ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Русского Библиографического института ГРАНАТ.

**ВЫШЕЛ и ВЫДАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ**

ДВОЙНОЙ (1-й и 2-й) ВЫПУСК 40-го ТСМА, заключающий ст. от СОБАТ до СОПРСТИВЛ. МАТЕРИАЛОВ и первую часть прилож.—СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВАЖН. ГОСУДАРСТВ.

**184 стр., 5 таблиц диаграмм.**

**Цена** двойного выпуска для подписчиков — **2 руб.**

**РЕДАКЦИЯ и ЭКСПЕДИЦИЯ:**

Тверской бульвар, 25. Телефон 2-06-04.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ и ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ,

## НОВЫЙ МИР

Под редакцией А. В. Луначарского и Ю. М. Стеклова.

**В журнале принимают участие**

А. Аросев, В. Александровский, М. Артянов, Н. Ашукин, Н. Асеев, Н. Бухарин, С. Басов-Верхоянцев, И. Бабель, Ив. Вольнов, Л. Вейцоловский, Вл. Василешко, Игорь Грабарь, Л. Гроссман, М. Герасимов, С. Григорьев, А. Давидковский, Г. Зиновьев, М. Зощенко, Е. Зюзуля, Н. Иорданский, В. Иванов, Л. Б. Камеев, М. П. Калинин, Ив. Касаткин, В. Казин, П. С. Коган, Вл. Кириллов, М. Козырев, А. Колосов, проф. Лазарев, проф. Б. Лобач-Жученко, Н. Ляшко, Ва. Лядин, Леонид Леонов, Вл. Малковский С. Малашенин, А. Малышев, проф. Немнов, Н. М. Никольский, Вик. Никитин, П. Пизовой, Новиков-Прайб, Н. Николаев, С. Обрядович, П. Орешин, С. Под'ячев, Б. Пильник, М. Пришвин, К. Радек, М. Рейсер, Лар. Рейсер, Паул. Романов, П. Сакулин, А. Ф. Сперанский, Ю. Соболев, А. Соболев, А. Серафимович, Л. Сейфуллина, И. Садофьев, Г. Санников, А. Свицкий, Серг. Семенов, проф. Тимирязев, Л. Троцкий, Я. Тугендхольд, проф. Тулайков, Ал. Толстой, К. Тренев, Вик. Тахонов, В. И. Фриче, Конст. Федин, академик Ферман, проф. Хлопкин, А. Чалыгин, Вяч. Шашков, Ст. Шиллов, П. Яровой, А. Яковлев и другие.

**Условия подписки**

	12 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
Для подписчиков как „Известий“ так и „Красной Нивы“ . . . . .	6 руб.	3 руб.	1 р. 50	50 коп.
Для прочих подписчиков . . . . .	7 р. 50	4 „	2 „ —	70 „

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ЯНВАРЬ.

№ 1.

## СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

Н. Никандров.—Гурты, из повести „Скотина“ . . . . .	3
С. Басов-Верхожанцев.—Лубок, из поэмы „Калинов-Город“	36
Вл. Лидин.—Рыбаки, повесть . . . . .	40
Пант. Романов.—Буква „И“. Домовой, рассказы. . . . .	72
В. Брюсов.—Юношеские стихотворения . . . . .	78
С. Шпицер.—Жизнеописание Н. А. Некрасова. . . . .	81
Н. А. Некрасов.—Автобиография . . . . .	83
А. Луначарский.—Анатоль Франс, статья . . . . .	91
Ю. Стеклов.—Российские царисты и германские империалисты (из истории германской интервенции). . . . .	100
Ю. С.—Наследие Ленина, статья . . . . .	124
В. И. Ленин.—О диктатуре пролетариата. (Неопубликованная рукопись). . . . .	131
Вас. Каменский.—По Советской земле: По Пермским деревням, очерк . . . . .	146
Проф. Н. Никольский.—Астрономический переворот в исторической науке, статья . . . . .	157
Проф. Мультиановский.—Наводнения в Ленинграде, статья.	176
Проф. Б. Лобач-Жученко.—Последние достижения науки и техники. . . . .	184

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЙ ЦИК СССР и ВЦИК“  
МОСКВА — 1925.



# Гурты.

Из повести „Скотина“.

## I.

**С** апреля по август не выпало ни одного дождя; поля и степи повыгорели. Ярового не собрали ни зерна; сена не накопили ни травинки...

— Не то что прокормить скотину,— гуторили между собой встревоженные мужики,— а как бы этой зимой самим не помереть с голоду!

И каждый крестьянин, пока цена на мясо окончательно не упала, спешил прогнать свою скотину на продажу в Еремино и на вырученные деньги запасти для семьи на зиму хлеба.

Скотские базары в слободе Еремино обычно происходили по воскресеньям; накануне же, по субботам, бывало только подторжье, когда обе стороны, продавцы скота и покупатели, крестьяне и барышники-прасолы, готовясь к завтрашнему сражению, осторожно выведывали друг у друга силы.

Но на этот раз главная схватка противников по купле-продаже скотины завязалась еще в субботу. У враждебных лагерей как бы не хватило выдержки, и они вцепились друг в друга раньше установленного времени...

По одной стороне черной, трясиной, зловонной речонки, от берега до берега проросшей табачно-бурыми кочками и медно-зеленым камышом, лежала самая слобода Еремино.

А на противоположном берегу, на белом бесплодном песчаном пустыре, дальше за которым начинались крестьянские поля, удобно расположился на широкой площади скотский базар.

Слободу и базар соединял перекинутый через речку деревянный мост, старый, дряхлый, изгрызенный временем, давно лишившийся перил. В нескольких местах продырявленный, он весь был горбато и мягко застлан, как периной, упругими прутьями лозняка, соломой, навозом. Навоз много лет сыпался сквозь дыры в воду и образовал в реке под мостом несколько островов.

Под мост в базарные дни беспрестанно бегал с базара народ, мужики и бабы. Одни бежали туда, другие — им навстречу — оттуда. Первые, когда спускались под мост, то срывали с земли на ходу бархатистые лопухи; вторые, когда поднимались из-под моста обратно, то с очень довольным сиянием на лицах хвалили мост.

— Хорошо, что тут-ка мост есть. Удобно для народу.

Чтобы попасть на базар, надо было переезжать через мост.

И на мосту, точно во время беспорядочного отступления армии, с утра до вечера стояла страшная толкотня. Одни ехали из дома на базар, гнали на продажу скотину; другие возвращались домой, вели с базара купленных там коров и быков. Нередко телеги тех и других, сцепившись в тесноте колесами, останавливались среди моста, скотина одного хозяина мешалась со скотиной другого и тоже останавливалась, закупоривала собой весь мост, не давала никому ни пройти, ни проехать. А у концов моста, одного и другого, быстро накапливались новые партии людей, спешивших переправиться через мост; теснились, наезжая друг на друга, новые повозки; сбивались все в ту же одну кучу новые гурты скота. И все это раздражалось, волновалось, толкалось на месте, шумело.

— Дайте до-ро-ггуу!.. — несло с берега на берег и, как орудейные снаряды, дугой перелетало через реку.

На мосту, на самом его горбу, в свою очередь бранились.

— Чего же ты, бесово отродье, мой гурт ломаешь, правишь повозку прямо на скотину, не можешь обождать? — кричал с телеги среди моста зажатый со всех сторон громадными быками пожилой мужик, с готовой и лицом сплошь покрытыми такой же красной лоснящейся шерстью, как и спины окружающей его скотины.

— А кого я буду ожидать? Тебя, рыжего чорга? — нахальным голосом отвечая ему со встречной повозки молодой крестьянин, худой, бледный, со злобным блеском глаз, с захватскими черными усиками, в чужом, слишком просторном, запыленном картузе, заломленном на правое ухо.

— Не меня должен был обождать, а мою скотину! — еще яростнее закричал первый мужик, рыжий, и погрозил с телеги кнутовищем.

— Скотину? — насмешливо и удивленно переспросил второй, с усиками, и тоже потряс над своей головой, как саблей, палкой от кнута: — А у меня, растудит твою тудит, не скотина?! — Ты свою скотину барышевать купил, а я собственную гоною продавать, последнюю!

— „Собственную“, ха-ха-ха! Видать, какая она у тебя „собственная“: набратая по деревням!

Первый мужик, рыжий, пожилой, в буром широком армяке, похожем на поповский кафтан, для равновесия всплеснул в воз-

духе руками и соскочил с телеги на землю, сразу утонул с головой в желтом бугристом море рослого скота.

Второй, молодой, с усиками, быстро доглотав, не жуя, оставленную было на телеге лунку ярко-красного арбуза, схватил кнут и сделал то же.

И каждый из них, сойдя на землю, зашел в тыл своим сгрудившимся на мосту быкам, коровам, бугаям и принялся нещадно бить их по спинам палкой, чтобы своих протолкнуть вперед, а чужих, встречных, отбросить с моста назад. Две палки, одна в одном месте моста, другая в другом, равномерно рассекая воздух, с сухим треском падали на костяные хребты неподвижной скотины. Скотина разных хозяев, сойдясь лбами вплотную, стояла друг против друга, сжималась после каждого удара все теснее, с тысячепудовой силой напирала друг на друга, стена на стену, терпеливо переносила свистящие над ней удары палок, только шумно, подобно ветру, сипела в землю раздувшимися ноздрями, сдувая с земли солому, да боязливо косилась круглым влажным фиолетовым глазом за край моста, вниз, в синюю трясинную маслянистую жижу, с плавающей по ней белой гнилостной плесенью.

Вскоре хозяевам застрявших на мосту двух гуртов взялись помогать бить скотину другие мужики, подходившие с той и другой стороны. Когда ломались их палки, они хватили с повозок колья, жерди, вертели первому попавшемуся быку хвост и не переставали сотрясать воздух всеми известными миру и еще никому неизвестными ругательствами...

И тут же, при въезде на мост—среди этой давки, в небывалой для августа жаре, под палящими лучами как бы остановившегося солнца, в зловещих порывах горячего ветра, в облаках перелетающей с места на место песчаной пыли, в едких газах, поднимающихся от гниющей реки, в тяжелом запахе скотской испарины, в скользющем под ногами жидком навозе, под перебранку крестьян, под короткие, лающие на скотину выкрики гуртовщиков и стреляющее хлопанье их бичей, под трубный рев быков и дребезжащее блеяние забившихся им под животы овец,—какие-то выносливые люди ухитрились самым аккуратным образом взимать с каждого в пользу волисполкома базарный сбор.

— Гражданин, а это чья скотина? Ваша?—кричал молодой человек, по типу рабочий, в серой кепке на голове, с медным значком в красном бантике на груди, и, вытянув шею и заглядывая вперед, прикосновением кончика длинного прута, как прикосновением кончика пальца, ловко пересчитывал скот.

— Тут сколько голов? Базарное уплатили? Почему нет? Когда потом? Без нашей квитанции вас, все равно, не выпустят из слободы, здесь проскочите, там задержат, платите лучше здесь!

— Товарищ, я член кооперации.

— Это одно к одному не касается. Все равно, должны платить.

И сразу за мостом лежала громадная круглая впадина базарной площади, точно искусственно окруженная вдали белым песчаным валом, с темнеющими на нем кустарниками вербы.

С любого края площади, точно с горы, прекрасно была видна картина субботнего базара.

Весь базар, от черной речки до белого вала, был тесно заставлен красными быками, красными коровами, красными бугаями и издали казался неглубокой красной кипящей чашей. Крестьянские распряженные телеги, длинными рядами протянувшиеся через базар, были едва заметны в этой сплошной красноте.

То там, то здесь, маленькими бело-черными точками двигались по красному скотскому морю людские головы в картузах. То там, то здесь, длинными ниточками трудно пропихивали к выходу партию закупленного скота. То там, то здесь, мощно покрывая слитный гомон всего базара, вдруг одиноким соло проносилось над площадью очень протяжное, очень тоскливое и очень вопросительное мычание быка, направленное, как и гордо повернутая рогастая голова его, куда-то в пространство, поверх уровня базара, быть может, назад, к своему родному, привычному прошлому, к покинутому навсегда дому...

— Об корове не сомневайтесь! — сыпал словами хозяин товара, отошальный мужичонка, кости да никогда не мытая кожа, да боро денка в налипших в нее лепешках. — Корова дюже хорошая, молошная!

И, в надетых на голое тело бурых лохмотьях, без нижнего белья, с огрызком защитного картуза на русых волосах, перемешанных с белой соломой, он суетливо вертелся перед покупательницей и беспрестанно подталкивал под бока привязанную за веревку желтую, с занавоженной шерстью, полуживую коровенку.

— Когда б знать, что она молошная! — тяжело вздохнула покупательница, тепло укутанная мешанка, с глуповатым мясистым лицом, приехавшая за коровой из дальних мест в неурожайные края, чтобы побольше выгадать.

— Кто? Она? — удивился мужичонка и пнул палкой в живот снова задремавшую коровенку. — Сегодня утром мы враз ведро надоили! Она всю вашу семейству прокормит! Не будь неурожаю, ни один хозяин не вывел бы продавать такую корову! За корову благодарить будете! Что-о? Пройдете, других посмотрите? И не надо вам никуда идтить, других глядеть, берите эту, и никаких делов! Лучше этой все равно не найдете! Другую купишь, а она трехсиськая, или молоко у ней жидкое, как вода, или соленое, нельзя в рот взять! А у этой молоко густое, можно пальцем набирать, и сладкое, не надо сахару, и пенится, что твой фонтал!



— А еще дешевле не будет?—с тупым испугом процедила мещанка, неотрывно дулась на один и тот же занавоженный бок коровы, все думала, все вздыхала, боялась переплатить мужику лишнее.—Если бы еще подешевле!

— За кого, за ее дешевле?—нагнулся мужичонка к самому носу покупательницы и перекосил лицо так, как будто ему под кожу вгоняли иглу.—Куды же еще дешевле, когда я и так за дешево вам отдаю! Больше некуды! Главная вещь,—хлестнул он хворостиной по коровенке,—главная вещь, вы поглядите, скотинка какая! Прямо животная! Ее куды хошь поверни: хучь на молоко, хучь на мясо! Ее если зарезать на говядину, она и тогда вам ваши деньги возвратит и еще барыш даст! А шкуру вы не считаете? Одна шкура и та почти что этих денег стоит, а мясо и молоко достанутся вам задарма, вы вот об чем должны подумать, милая гражданочка! На ей и по дорогам в повозке ездить можно и в поле работать по крестьянству, а молоко, мясо и шкура сама собой...

У мещанки вдруг сильно забилося сердце от страха, заходили коленки и все помутнело перед глазами. Доставать из кармана деньги или не доставать?!

## II.

Кроме частных лиц, покулавших у мужиков дойных коров для потребностей семьи и рабочих быков для ведения полевого хозяйства, кроме барышников-прасолов, набиравших скотину для перепродажи здесь, на месте, или в Москве, кроме многочисленных мясников,—на субботнем ереминском базаре закупали скотину представители провинциальных районных кооперативных об'единений, различные уполномоченные из центра, от Красной армии, Центросоюза, Сельскосоюза, акционерного общества „Мясо“, хладобойни наркомвноторга СССР...

Но самым мощным покупателем скота считался в Еремине, да и во всей республике, всероссийский государственный трест „Говядина“, главная контора которого находится в Москве.

Это про них, про уполномоченных „Госгостреста“, здесь среди крестьян сложилась легенда, что эти уполномоченные имели из Москвы строгую-престрогую инструкцию: крестьян засушливых районов очень не прижимать, слишком не придираяться к качеству продаваемого скота; цену за скот класть посходнее, чем кладут частные прасола; платить аккуратно и быстро, без канцелярской волюнки; и, наконец, давать хорошими, не рваными, новенькими деньгами, какими мужик захочет: захочет—крупными, захочет—мелкими... И мужики, мечтая выгодно сбыть свою скотину в Еремине, рассчитывали, главным образом, на этих закупщиков из центра и в разговоре между собой для краткости называли их всех просто „Центрой“.

— Кто у тебя забрал быков?

— Центра.

— Чью скотину вчера прогнали по шляху?

— Центры.

Уполномоченные „Говядины“—Иван Семеныч, старый специалист по мясным заготовкам, и двое его молодых помощников, присланных партией, чтобы приучаться,—в субботу с утра втроем обходили ряды базара.

Ивану Семенычу не было нужды подолгу останавливаться около каждой скотины. Он видел ее достоинства и недостатки еще издали.

— Сколько за пару старых просишь? А этот, правый, что лежит, не хромает? А ну-ка, подними его! А у этого, левого, почему изо рта слюна?—спрашивал на ходу Иван Семеныч, идя впереди своей свиты из двух человек, бритый, полный, с красной шеей, в картузе и в длинном пальто, похожий на купца.

— Разве они старые?—прежде всего обиделся крестьянин, хозяин быков, без шапки, с длинными волосами, с прямым пробором посреди головы, с раздвоенной бородкой. — Им и по пяти годов нету!

И, чтобы развеселить пару черных, бархатных, сонно жующих быков и придать им более моложавый вид, он резко хлопнул их змеевидным бичом по спинам, сперва левого, потом правого.

Грузные, развалистые животные, немного помедля, встали на ноги.

— Я не об том тебя спрашиваю, я сам знаю, сколько им лет, я спрашиваю, что ты просишь за них?

Иван Семеныч стоял в полоборота к мужику, заранее приготовившись итти по ряду дальше, где его с волнением ожидали другие.

— За пару? — спросил крестьянин и задумался, расставя выпрямленные ноги.

Он при этом таким взглядом исподлобья уставился на своих быков, точно оценивал их по-настоящему впервые. Было утро, когда еще ни одна душа на базаре не знала, какая сегодня сложится цена на скотину. И крестьянин, боясь промахнуться, попыжился, побряхтел и вдруг трахнул такую цену, что Иван Семеныч и оба его помощника весело рассмеялись и пошли дальше, не желая разговаривать с несуразным человеком.

— А сколько же вы дадите?—закричал им в спины крестьянин, с испуганно сощуренными глазами.

— А ты знаешь, почем сейчас у нас, в Москве, на скотской площадке говядина?—приостановился Иван Семеныч и полубернулся к крестьянину.

— Откуда же мы можем знать?—зачесал мужик под мышками.—Мы ничего не знаем. Как есть, глухие. Мы только знаем, что нам надо ее продать.

— Говоришь, ничего не знаешь?— улыбнулся под козырчком картуза Иван Семеныч и переглянулся с помощниками.— Вот погоди, после обеда все узнаешь. После обеда сам приведешь своих черных ко мне на двор. Да я их тогда не куплю: до того времени денег нехватит.

Мужик поднял на запад смуглое обветренное лицо, поглядел, высоко ли солнце, и прикинул в уме, успеет ли сегодня продать быков. Если не успеет, тогда он пропал. Тогда завтра в обед, когда кончится базар, придется гнать их за 100 верст обратно домой и ждать следующей субботы. А чем он будет их кормить целую неделю, если он уже стравил им соломенную крышу с сенцев! Придется за любую цену отдать, лишь бы сегодня продать...

И другие мужики со страху запрашивали с Ивана Семеныча невозможные цены. И с утра до обеда он не купил для треста ни одной головы.

— После обеда сам приведешь,— отвечал он просившим его сказать свою цену мужикам.— А сейчас чего языки даром чесать? Все равно, не продашь.

Так трудно прошло для всех утро, и для покупателей и для продавцов. Потом прошел и обед.

И вдруг, после обеда, картина скотского базара резко изменилась. Все задвигалось, закружилось, грозно зашумело. Всех охватила одна и та же инстинктивная паника, словно в предвиденьи небывалой грозы.

Все вдруг начали задирать лица в небо...

Солнце садится!

И мужики сдвинулись со своих мест, побросали повозки на стариков и детей, а сами, растерянные, очумелые, ходили по базару, искали Ивана Семеныча, таскали за собой на веревках тяжелых, неповоротливых, уныло настроенных животных: коров, быков, бугаев.

— Не видали, не проходила тут Центра?— слышались всюду несчастные, истомленные, павшие духом голоса.

— Центра? А она сейчас покупает на том боку базара.

А там, куда указывали, на дальнем краю площади, толпа крестьян, продавцов скота, окружила Ивана Семеныча, зажала его в тесное кольцо, от всей души нажимала на него плечами, давила, тискала, просила надсаженными голосами купить скотину.

— Выручай нас!

— Окажи милость!

— Забери нашу скотину, нам пропадать с ней!

— Избавь!

— Спасай!

— Одним словом, приперло!

— Дошли! В окончательном смысле, дошли!

— Помогни, не забудем!

— Подаржи!

— Потому ты у нас вроде один тут, который можешь войти в положение!

Толпа прибывала.

Она напирала на Ивана Семеныча все сильнее. Вот она уже приподняла его от земли.

— Что вы делаете?—вопил Иван Семеныч, у которого во всех карманах было распахано три тысячи червонцев.—Вы с'ума походили?—оторванный от земли, хватался он руками за чужие горячие плечи, за мохнатые мокрые головы и чувствовал, как поднимался над уровнем голов толпы все выше и выше.— По очереди! Только по очереди! Буду покупать только тогда, когда станете в очередь!—не своим, визгливым голосом кричал он, уже сидящий на их плечах, головах, шеях, перегибающийся корпусом, как петрушка, то назад, то вперед, поворачиваясь к публике то лицом, то вдруг затылком.—В чем дело?—раздавался его голос то в одну сторону площади, то в другую:—У кого не куплю в этот раз, куплю в следующий базар!

Толпа загудела и затолкалась под ним еще пуще.

— Чего ты мелешь!—кричали голоса.—Нам ее уже сегодня, уже сейчас кормить нечем, а ты болтаешь про следующий базар! Она нас зарежет!

— Уже зарезала! Больше некуда! Бери сейчас!

— Граждане!—взмолился близкий к слезам Иван Семеныч, выбившийся из сил, одинокий, разлученный со своими помощниками, оттертыми толпой далеко в стороны.—Граждане! Дайте сказать... Если вы сейчас не отпустите меня, я прекращу покупать и уеду из Еремина... Слышите: я! больше! сегодня! не покупаю! Вот, глядите: и ордерную книжку прячу!

Угроза подействовала, мужики волнами откатились назад, убито вздохнули... На их опущенных лицах было написано сознание своей гибели...

Вырвавшись на свободу, соединившись с помощниками, Иван Семеныч вышел за черту базара, за песчаные холмы, и образовал там на голом поле свой закупочный пункт. Мужики приводили к нему скотину, ставили в очередь, в длинный ряд, в бесконечно нарастающую шеренгу и выравнивали ее, как солдат. Иван Семеныч обходил этот своеобразный фронт рогатых великанов и, чтобы определить степень их упитанности, ощупывал каждое животное всегда в одних и тех же четырех местах: на бедре, на ребре, внизу живота и, главное, по стенкам глубокой ямочки, в которую входит основание хвоста. На закупленную скотину один помощник писал ордера, другой по этим ордерам выдавал деньги, сидя на земле в стороне, и получал расписки.

Дело двигалось быстро.

— Иван Семеныч, почему же ты мою парочку пропускаешь, не торгуешь? Пощупал и не торгуешь, идешь дальше, разве это плохая скотинка?

— Больно худая. Не подойдет.

— Это худая? Помилуйте, Иван Семеныч! Если это худая, тогда какая же жирная? Она скотина нагулянная, она у меня два месяца по воле ходила, я на ней ничего не работал, только раз с поля посохшие стебли подсолнухов на топливо привез.

— Вот зато моя вам пондравится, Иван Семеныч,—пропускал уполномоченного к своей паре быков следующий крестьянин и страшно нервничал, не знал, чем делу помочь, угожливо улыбался, заискивающе заглядывал Ивану Семенычу в глаза, кланялся, потирал себя беспокойными руками по бедрам. —Быки с очень даже большими мясами!

— Какие там мяса?—пренебрежительно сощурил взгляд Иван Семеныч на животных.—Сухарь, сухарь, а не бык. Кажется, не маленький, сам должен понимать, гляди: кожа да кости, а под кожей ничего нет, ни мяса, ни сала. Москва требует от нас жирной говядины, Москва такой говядины не примет, Москва за такую говядину нам по шеям надает... Следующий!

Угодливое выражение на лице мужика внезапно заменилось злобным.

— Значит, берете только жирную?—сделал он несколько вызывающих шагов за Иваном Семенычем и остановился: —А куда же девать ее, худую? Худую скотину куда девать? И где их набраться на вас, жирных?

Фраза понравилась всем мужикам.—Да! Да!—закричали они сурово.—Куда девать худую? Казна должна иметь сочувствие и к бедному мужику, а не только к богатому! У кого жирная скотина? У богатея! Да, да, нет, нет, мы знаем, что говорим, это вы, может, не знаете, что говорите, а мы знаем, уже видали немало!

Иные мужики пускались на откровенную лесть и, когда до них доходила очередь, зачем-то здоровались с Иваном Семенычем, совали ему дощечкой кисть руки, сладенько улыбались.

— Как ваше здоровье, Иван Семеныч! — по-панибратски потянул руку Ивану Семенычу бородатый мужик и захихикал: —Как вам нравится наша местность?

— Что-о?—нахмурился на незнакомца уполномоченный и резко оборвал его:—Сколько просишь за пару ряхых?

— За обоих?—перевел мужик мгновенно отрезвевший взгляд на пару своих красавцев-двойников.—Чтобы долго не колготиться?

— Да.

— Дайте за пару две сотни, вот и поладим. Без колготы.

— Далеко, брат. Далеко до двухсот за этих быков.

— Совсем не далеко, Иван Семеныч. Быки дюже веские, с большими жирами. Вам об'яснять не приходится, сами лучше нас видите.

— Сотню дам.

— За обоих?

— Ну, сто двадцать. Это уже окончательно.

— Иван Семеныч! Прибавьте еще чудок! Еще чудочек! Только потому, что хочу продать! Чудочек!

— Сто тридцать!

— Давайте!

По мере того, как солнце приближалось к закату, мужики волновались все более, заражая тревогой друг друга. Все труднее становилось добиваться от них соблюдения очереди...

И напрасно одни успокаивали других:

— Центра и завтра будет брать!

А тут вдруг по базару пронесся убийственный слух, что частные прасола, работающие на Москву, внезапно прекратили покупку. Два раза приносили им срочные телеграммы, два раза ходили по базару, разыскивали их.

— Где тут Шевченко? Который из вас Красов? А Смилянского никто не знает? Ему тоже срочная.

В телеграммах и Шевченке, и Красову, и Смилянскому стояло всего только одно слово: „мялка“. Это означало, что в Москве на скотской площадке заминка, что там не берут скотину, мнутся, не дают даже своей цены.

Прасола бегали по базару мрачные, темные, свирепые. И на лицах их всех было написано все то же страшное слово: „мялка“.

Они несколько раз пытались завести частный разговор с Иваном Семенычем, с его помощниками, чтобы сбыть им закупленную скотину. Но мужики всякий раз с бранью отбрасывали их.

— Иван Семеныч, чем смотреть каких попало, ты лучше, пока не поздно, пойди моих калмыцких пестряков погляди!— отстраняя других, не в очередь приставал к уполномоченному мужик.—Кормленные! Не как эти! Вон она, пара, стоит, голов 30 пройдя! Быки с говядинкой! Получишь благодарность за них!

— В очередь! Когда этих 30 голов пройду, тогда и твоих посмотрю!

### III.

Вечерними сумерками, когда базар всей своей площадью вдруг задымил мужицкими кострами, сборное стадо крупного рогатого скота, принадлежащее тресту „Говядина“, восемь поденщиков гнали с базара на ночевку в Еремино.

Иван Семеныч и его помощники переехали через мост раньше, сидели в плетеной бричке, похожей на воронье гнездо, и со стороны руководили переправой скота через реку.

— Легче, легче!—кричал Иван Семеныч, стоя в бричке и делая знаки рукой:—Сзади не напирайте, сзади задерживайте!

А то она провалит мост и сама утонет в трясине! Передние, а вы чего смотрите! Смотрите, чтобы которая перешла мост, не разбегалась по поселку! Одна коровенка уже забежала вон в этот двор! Гоните ее оттуда!

Вступили в самый поселок, пошли широкой пыльной улицей, между двумя рядами уныло протянувшихся вдаль жилых построек, низеньких полугородских домиков, старых - престарых, грязных - прегрязных, с облупившимися стенами, с прогнившими деревянными крылечками и с покосившимися над ними навесами, с закрытыми по целым дням, серыми, некрашенными ставнями...

Остановили стадо на середине главной улицы, перед двумя громадными, расположенными рядом дворами, заарендованными трестом „Говядина“ на год.

— Отбейте коров от быков!—командовал Иван Семеныч, сойдя с брички и остановившись возле стены дома.

— Иван Семеныч, и бугаев тоже?—услужливо спросили поденщики, сразу несколько человек, все тоненькими раболепствующими голосками, бесконечно счастливые, бесконечно благодарные, что сегодня заработают по полтиннику в день.

— Да, да,—спохватился Иван Семеныч,—и бугаев тоже.

Поденщики, с палками в руках, смело вошли внутрь стада рогатых гигантов, отыскивали среди них коров и ударами палок и завывающими, притворно-жестокими вскриками отбивали их вон, в отдельную группу. Скотина испуганно кружилась на месте, металась во всех направлениях, везде натыкалась на палки поденщиков, не понимала, чего от нее хотят. На неистовые захлебывающиеся крики поденщиков мало-помалу собирався народ из поселковых жителей...

Потом быков загоняли в один двор, коров и бугаев в другой, соседний.

Скотина вначале не шла в ворота, смертельно боялась, сгрудилась возле, остановилась и вся стояла, как одна скала. И ни палочные удары поденщиков, ни их ужасные, деланно-свирепые крики не могли сдвинуть ее с места.

— Иван Семеныч, спрячьтесь!—посоветовал поденщик-старик в лаптях, в бараньей шапке.

Иван Семеныч успел только скрыться за половинкой растворенных ворот, как один могучий бык, наклонив голову, промчался сквозь ворота во двор. За ним еще быстрее побежал, чтобы не успели откуда-нибудь ударить, другой; потом третий... Быки ломились в ворота целыми шеренгами, целыми колоннами из шеренг, всей своей каменно-сбитой массой. И теперь поденщики с той же энергией отбивали их палками назад от ворот.

— Отбивайте их назад, чтобы проходили в ворота гуськом, по одному!—кричал Иван Семеныч.—Иначе их сам чорт не считает!

Он стоял у раскрытой половинки ворот и длинной хворостинкой пересчитывал входящую во двор скотину. Внутри двора, прячась за столбы, стояли его помощники и тоже вели счет проходящему скоту.

Скотина, попавшая во двор, прежде всего обходила все стены, углы, пристройки, калитки, нагромождения, и ко всему присматривалась такими глазами, точно все это угрожало ей смертью.

Когда вогнали во двор последнего быка, то оказалось, что цифры у троих счетчиков получились разные: у одного не хватало двух быков, у другого пяти, у третьего девять голов лишних.

— Пропускайте их по одному обратно на улицу!—распорядился раздосадованный Иван Семеныч:—Будем снова считать! Приучайтесь считать,—обратился он к помощникам:—Живую скотину очень трудно считать.

И только в третий раз счет быков у всех троих счетчиков сошелся.

Потом таким же образом, по счету, загнали в смежный двор коров.

К быкам и коровам приставили на ночь по-двое караульных, из тех же поденщиков, из местных крестьян.

— Глаз не смыкать, смотреть в оба!—строго приказал им Иван Семеныч.—Скотина казенная, попадете под суд!

Скотину покупали и на следующий день, в воскресенье, с утра до обеда. Брали в долг под квитанции, так как к 11 часам утра те три тысячи червонцев были израсходованы, а мужики настойчиво просили продолжать покупать.

После обеда продавцы и покупатели порывисто снялись с места и потянулись, кто на телегах, кто пешком, домой. Спешили очень! Собирались большими партиями, двигались целыми караванами, боялись попасться в руки известному в губернии „Царю ночи“, работающему по крестьянским дорогам.

И к трем часам дня базара как не бывало. На совершенно голой площади не было ни одной живой души. Только тучи воронья и грачей справляли свой еженедельный праздник, роясь в бесчисленных кучах еще неостывшего скотского помета.

А во дворах, заарендованных трестом, непрерывно кипела спешная работа. Двое поденщиков держали корову или быка за рога, третий вытачивал напильником на правом роге животного его порядковый номер, четвертый прокалывал шилом правое ухо, продевал окровавленными руками, как серьгу, проволоку, надевал на нее свинцовую пломбу, зажимал ее особыми щипцами, с отгиском посередине серпа и молота, а по кругу надписи: „Москонгосговтреста“.

Заклейменное животное, со свинцовой советской серьгой в правом ухе, одним из помощников Ивана Семеныча взвешивали.



валось, а другим заносилось со всеми данными в сопроводительную гуртовую ведомость.

Сам Иван Семеныч стоял в это время на улице, на крыльце дома, под навесом, и нанимал гонщиков гнать купленную скотину полями, степями, лесами, за 450 верст, в центральный пункт треста.

Несмотря на трудность этого дела, желающих наняться в гонщики было великое множество. Тут были и крестьяне, выбитые из своих хозяйств жестокой засухой, и рабочие, приехавшие в свои деревни по случаю затяжной безработицы в городе, и служащие, которым никак не удавалось поступить на должность, и профессионалы-гонщики, старики, в былые времена гонявшие гурты богатых купцов чуть не через всю Россию и, наконец, разный бродяжеский люд. Они толпой осаждали Ивана Семеныча, припирали его к стене, кричали, перебивали, не давали ему ни с кем толком поговорить...

— Ты честно скажи, ты когда-нибудь по этому маршруту гонял скотину?—спрашивал с крыльца Иван Семеныч, с листом бумаги в одной руке и с карандашом в другой.

— А как же не гонял, Иван Семеныч!—сделал удивленное лицо парень.—Известно, гонял.

И, боясь, как бы Иван Семеныч не прекратил опроса,—парень старался ни на секунду не выходить из поля его зрения, тянулся вперед, дрожал.

— Дорогу знаешь?—быстро бросал вопрос за вопросом уполномоченный.

— А как же? Знаю.

— 450 верст пешком пройдешь?

— Сколько хошь пройду.

— Ну, смотри,—предупредил Иван Семеныч и в графе принятых записал: „Ухов, Иван“.

В задних рядах толпы послышались иронические замечания.

— Кто, Ванька Ухов по этой путе гонял? Да он сроду нигде не гонял. И зачем ему было гонять, когда он раньше хорошо жил, своей скотины, бо-знат, сколько держал. У него с отцом мельница водяная была. Вот когда наплакалась вся наша обществу от него! Таких людей тут нанимают... а нас нет.

— Кто там сзади все время болтает, критикует меня!—поморщился Иван Семеныч, заглядывая через головы передних на задних.—Каждого расспрошу, каждый будет иметь возможность рассказать о своем положении! Богатых не принимаю!

— Иван Семеныч!—волнуясь, говорил молодой крестьянин.

— Вы все больше записываете стариков, а они не дойдут, путь—длинная!

Молодежь дружно поддержала его.

— Напрасно молодежь нанимаете,—заметил старик в лаптях, в бараньей пастушечьей шапке.—Пойдут на деревне по девкам, весь скот вам порастеряют.

— А это как есть,—засмеялись другие старики.

— А по-моему, Иван Семеныч,—заговорил мужик средних лет, с черными вихрами, закрывающими его уши, лоб, брови,—по-моему, не надо брать ни очень молодых, ни очень старых. Они ночью не выдержат, уснут и упустят скотину. А я бы сроду не спал!

Иван Семеныч рассмеялся.

— Так бы за двадцать суток ни одной ночи и не заснул?

— Ни одной! Нипочем! Потому—мне лишь бы заработать! Заместите меня!

— Иван Семеныч!—в то же время совали уполномоченному со всех сторон разные бумаги.—Вот мои документы, даже посмотрите!.. Вот моя членская книжка, если не верите!.. Вот рекомендация от нашей потребиловки!.. Вот меня прислал к вам профсоюз!.. Вот командировка от ячейки!.. Вот даже от сельсовета, что у меня нет никакого имущества!..

— Слушайте!—перебил голоса просителей Иван Семеныч.—Вас много, и все вы нуждаетесь, а я могу принять по количеству наличного скота только 14 человек, старший будет пятнадцатым!

— Вот меня и найми, чего там!—вырвалось сразу из многих уст.—Пиши меня, мое фамилие Горшков, Егор Никитич. Написал? Чего же ты не пишешь? Значит, пропадать?

Когда, по окончании найма, уполномоченный огласил список принятых, водворилась глубокая тишина.

Все замолчали. Несколько мгновений не шевелились, стояли без движения. 14 человек было счастливых, человек 80 несчастных. Первые, чтобы не растревлять рану вторых, глотали чувство своей радости, прятали лица. Горе вторых усугублялось еще тем, что они не имели возможности ни браниться, ни проклинать, ни угрожать. Ссориться с Иваном Семенычем—значило бы потерять всякую надежду гнать скотину когда бы то ни было впредь. И, немного постояв, они издавали чрезвычайно сложный вздох, бросали в лицо Ивана Семеныча столь же сложный взгляд и, молча, один за другим, расходились. Только один степенный мужик, с волосами, начесанными на уши, уходя, небрежно бросил назад: Я б дешевле погнал, я б за полцены погнал!—Человек пять остались, стояли в сторонке, все врозь, вдали один от другого, караулили, ожидали. Вдруг кто-нибудь откажется от работы, внезапно заболает, умрет? Тогда они заступят на его место...

Принятые в гонщики четырнадцать человек, из страха, что Иван Семеныч за ночь может раздумать и заменить их другими, с момента зачисления себя на работу не отходили от скотины, остались при ней ночевать, разлеглись, кто где: в хозяйской телеге, на деревянном крыльце, в сенцах. А перед тем, еще с вечера, они рьяно старались как можно крепче прикрепить себя к работе: дружно подвозили к обоим дворам купленную упол-

номоченным просяную солому, весело разносили ее охапками скотине, старались погромче и похлопотливее кричать, когда проходили мимо окна Ивана Семеныча...

Перед тем как ужинать, Иван Семеныч вышел с ведрком колодезной воды на улицу. Он снял с себя пиджак, картуз, закатил рукава сорочки, начал намыливать московским мылом руки, лицо, шею, бритую голову. К нему тотчас же неслышно подошел откуда-то из-за угла дома неизвестный мужчина, старик, высокий, тихий, похожий на монаха, с лицом как после тифа. Он молча и предупредительно взял из рук Ивана Семеныча железную кружку, поливал ему на руки и на голову водой, подавал мыло, потом побежал, снял с гвоздя на крыльчке полотенце.

Когда Иван Семеныч, прекрасно вымытый, освеженный, утирался полотенцем, тихий старик сказал:

— Бедней меня здесь никого нету. У других хотя помещение есть, хотя крыша. А я ночью сегодня здесь, завтра там. Вот скоро зима, а я раздетый. Если вы мне дадите хотя раз прогнать скотину...

Иван Семеныч сделал раздраженный жест и перебил его плавную, спокойную речь.

— Я же вам объяснял, что я не имею права брать людей больше, чем это позволяет количество скотины! Вакансии все заняты, наемка кончена!

— Может быть, завтра утречком еще прикупите скотинки и вам понадобится лишний человечек?—еще мягче спросил высокий мужчина.

— Ничего не прикуплю и ничего не понадобится! Лучше не надейтесь! Ни за что не возьму!

Иван Семеныч пошел в дом; высокий мужчина понес за ним ведрко, кружку, мыло, полотенце...

Иван Семеныч сытно ужинал в освещенной комнате дома, а старик все прохаживался возле выходящего на улицу окна. Когда Иван Семеныч разделся, погасил свет и лег, старик осторожно, чтобы не нашуметь, закрыл у его окна ставни...

— Чего ты брешешь, анафема!—отгонял он ночью от дома, где спал Иван Семеныч, заводивших драку собак...

На рассвете он спал крепким сном, лежа на земле, под самым окном Ивана Семеныча. Шляпа его была насунута на глаза, под головой, вместо подушки, виднелся грязный платок с куском ржаного хлеба, возле рук лежала бродяжеская палка с обкусанным собаками нижним концом.

#### IV

— Повозку хорошо осмотрели?—в холодноватом розовом августовском рассвете громко звенел на улице радостно взволнованный голос Ивана Семеныча, собиравшего гурт в 500 голов

в далекий и трудный путь.—Колеса дегтем смазали? Дегтя не забудьте взять с собой! Дно повозки хорошенько закидайте сеном! Еще, еще! Мало!

Люди, все четырнадцать человек, вихрем носились вокруг повозки, вокруг Ивана Семеныча, один перед другим старались отличиться, обнаружить хозяйственные знания, показать ум. Не успевал Иван Семеныч вымолвить слово, как они уже впивались в него ожидающими глазами и расправляли крылья, чтобы лететь. Все делалось ими с молниеносной быстротой.

А в стороне от этих веселых приготовлений, опершись плечом об угол дома и переплетя жгутом непомерно длинные тонкие ноги, бездейственно стояла, неподвижная, как изваяние, высокая, наблюдающая издали фигура вчерашнего старика, в черной шляпе, насунутой на глаза полями вниз...

Прозоились со сборами долго; гораздо дольше, чем предполагали. То деся иведерная походная бочка для воды оказалась с течью, и ст. огали для нее затычку; то ведра не так привесили к повозке, слишком близко к колесам, и перевешивали их; то Иван Семеныч запропастился в слободе, задержался с делами в конторе райсоюза; а когда его дождались, бегали, высуня язык, по всей слободе, искали его помощника, в кармане у которого забыли пропускное удостоверение от местного ветеринарного врача...

— Ну! — около 10 часов утра, вместо предположенных 6, тревожно и вместе торжественно сказал Иван Семеныч свои последние прощальные слова.—Выслушайте все! Старшим над вами назначаю Тихона Евсеича Кротова! Старшего слушаться, как меня! Кротов, запомни мой наказ тебе! Первое: не травить в пути крестьянские хлеба! Второе: не очень избивать палками скот! От меня ничего не скроется! Если где-нибудь потравите мужицкое добро, нам, все равно, потом пришлют отсюда из сельсовета акт об вашей потраве! Если будете избивать дрекольями скотину, нам об этом подробно донесут с нашей бойни! Там всегда, из-за ваших побоев, по полпуда с головы лучшей говядины собакам выбрасывают! На бойне в точности определяют: какие побои ваши, какие прежних хозяев скота! Поэтому, смотрите! Ну, Кротов, теперь становись в воротах и принимай от меня по счету скот! С этой минуты ты хозяин гурту, ты ответчик за все! Меня уже тут нет!

Из первого двора выгнали на улицу быков, из второго коров с бугаями. Оба гурта, окруженные людьми стояли среди дороги и ожидали, пока запрягут в повозку пару отборных быков.

— Кротов, идем в избу, — сказал тем временем Иван Семеныч.—Дашь расписку, что принял от меня 200 коров и 300 быков. И получишь деньги на ходовые расходы.

— Гонщики, на места! — выйдя из избы, решительно командовал Кротов, человек средних лет неизвестного звания,

маленький, крепкий, вдруг с наслаждением почувствовавший себя полновластным хозяином и этой скотины, и этих людей, и хороших денег в кармане.—Каждый чтобы помнил у меня, кто где занимается: кто около коров, кто около быков! Семь человек там и семь человек тут! На повозку садиться быками править по очереди и в случае болезни! За каждое упущение по работе будете отвечать мне все! Поэтому каждый поглядывай за другими и, если что заметишь, докладывай мне! Предупреждаю, что я имею право дать каждому из вас отставку в любой момент, хоть сейчас! Ну, кажется, все у нас готово?

И Кротов, в ожидании последнего приказа, стал перед Иваном Семенычем как бы во фронт и, очевидно, хороший строевик, по-солдатски вонзил в него глаза.

Иван Семеныч сразу потерял свою прежнюю твердость, точно она вся ушла от него к Кротову; лицо его вытянулось, глаза испуганно расширились; он снял с выбритой головы картуз и, что-то шепча, трижды перекрестился.

— С богом!—взволнованно сказал он, надевая картуз.

Кротов мгновенно повернулся лицом к скоту, выпятил грудь, закинул назад голову и, очевидно, вообразив себя командующим армии, нахальным режущим голосом прокричал на весь поселок:

— Кор-ровы, трог-гай!.. Бык ки, дай отойти коровам сажен на сто вперед и тоже тр-ро-г-гай!..

И гурты и повозка позади них медленно тронулись.

У всех дворов поселка стояли люди и провожали глазами уходящий скот.

Иван Семеныч тоже стоял у заарендованного трестом дома и грустным взглядом следил за удаляющимися гуртами до тех пор, пока они не вышли из поселка и не скрылись за песчаными холмами. Потом он вошел в дом, лег на лавку, подложив под голову свой чемодан, и начал думать. Скотина государственная; он лицо, уполномоченное государством, и ответственность на нем огромная. А между тем он чувствует, что сегодня он опять сделал по службе какое-то упущение. Но какое именно? Этого ему долго-долго не удавалось припомнить.

Наконец, вспомнил.

Один агент уже второй базар, вторую субботу просил его выбрать из купленного для треста скота самую лучшую молочную корову и обменять ее ему на его телку, еще не дающую молока. Агент просит его уже во второй раз, и он, в горячке работы, во второй раз забывает об этом. Дело, на посторонний взгляд, маловажное, даже совсем незначительное, и его сознательной вины, конечно, тут нет, и при всем том это может причинить ему весьма большие неприятности. Какая досада!

И Ивану Семенычу, каждую минуту ожидавшему появления агента, весь день было не по себе.

Он отделался от гнетущего сознания своей оплошности только глубокой ночью, когда сидел за ужином в кругу местных работников кооперации, устроивших у себя в честь его приезда маленькое захолустное торжество.

— ...Вас поражает широкий размах нашего треста...—уже усталый, сонный, вяло говорил он при почтительном их внимании, выпивал из чайной чашки какой-то необычайно крепкий, сжимающий сердце, напиток, приготовляемый самими кооператорами, закусывал жареной свининой с гречневой кашей:— Да, действительно, это так... Размахнулись мы широко... И советская власть недаром гордится нашим трестом и ценит нас, работников треста, как людей дела... Могу сказать, что дело поставлено у нас образцово... Например, у нас на бойнях ничего не пропадает, мы из всего извлекаем пользу... Взять хотя бы кости... Мы сдаем их для выработки костяного угля на фильтры, костяной муки на фосфорное удобрение, костного сала на мыло... Сало внутреннее, так называемое кашное, мы пускаем в перетопку, оно идет для каши... Рога и копыта на роговые изделия... Хвосты на волосяные матрацы... Шерсть на валенки... Кровь—альбумин для больных... Что еще?..

В этот момент вошли и доложили ему, с большим смущением:

— Там агент пришел, вас спрашивает. Пришлось пригласить в комнату, сейчас войдет.

## V

Два гурта, пятьсот голов крупного рогатого скота, двумя тысячами копыт били по мягкой крестьянской черноземной земле, и над дорогой, где они шли, все время виднелись два огромных, совершенно черных, облака пыли, издали напоминающих лесной пожар.

В трех саженях гонщики не видели ни друг друга, ни скотины, ни повозки; и, боясь упустить скот, они самоотверженно бегали с палками в пыли, как пожарные бегают с топорами в дыму.

От пота, перемешанного с пылью, кожа их лиц была черна, зубы и белки глаз сверкали белизной, как у негров. В ноздри набивалась все та же пыль, мешала дышать. Во рту, на зубах, поскрипывала бесвкусная земля. От непрерывного крика на разбегающихся в стороны коров, быков, бугаев, они охрипли, говорили не своими, сорванными голосами. Некогда было ни поест, ни попить, ни отдохнуть, ни поговорить, ни о чем-нибудь подумать. Надо было все время глядеть и глядеть за скотиной.

— Пог-гля-див-вай там!--то и дело ржал веселым жеребчиком на все поле крепкий Кротов, тоже неугомонно носясь с палкой вокруг шагающих гуртов.

И все-таки, несмотря на столь тяжелые условия труда, эти люди считали себя самыми счастливыми на земле. Одетые в старые, висящие клочьями лохмотья, обутые в новые тупоносые лапти из светлого лыка, они ступали по земле на удивление бодро, твердо, уверенно. Их короткие, лающие, деланно-грозные выкрики, которыми они подгоняли животных, звучали в то же время глубокой затаенной радостью.

Они уже зарабатывают! Они уже идут, гонят скотину! Теперь уже никто не может их сместить!

— Ничего, — говорил старый гонщик-профессионал Коянев, старик в бараньей пастушечьей шапке, и не переставал отхаркиваться и сплевывать сгустками черной земли. — Там дальше, когда пройдем крестьянские дороги и выйдем на большак, там будет лучше. Там совсем не разбита дорога и никакой пыли не будет.

И на самом деле, едва вступили на большак, как повеяло сразу другим воздухом, чистым, легким, степным.

И люди повеселели, на радостях дружно задымили мужицкой махорочкой.

Шли широким, в 30 сажен ширины, совершенно гладким, мало раз'езженным, шляхом. По бокам стояли столбы, и протянутая на них телеграфная проволока выводила свой извечный, волнующий душу, однообразный пустынный напев... Смотреть ли вдоль шляха вперед, смотреть ли назад, картина там и там была одинаковая: бесконечная, до самого горизонта, российская равнина и бесконечная, до самого горизонта, российская дорога на ней. И больше ничего...

Слева и справа от дороги, за придорожными канавками, заросшими высохшим бурьяном, на безграничном пространстве лежали сожженные летним солнцем голые, немые поля, со следами погибших яровых полос, с длинненькими островками реденькой полыни, кое-где уцелевшей между полосами на межах...

Несмотря на последние числа августа, весь день по-летнему припекало засушливое солнце, люди через каждые полчаса подбегали к боченку пить, и штуку за штукой сбрасывали с себя платье: сперва кожух, потом армяк, потом пиджак; все это горой наваливалось на повозку, и середина повозки ко второй половине дня от тяжести осела вниз, раздулась, как брюхо не в меру наевшейся скотины. И вся повозка среди быков и коров стала издали походить на уродливую, горбатую, брюхатую, медленно ползущую по дороге скотину.

Семь гонщиков, с толстыми длинными палками на плечах, как конвойные с ружьями, сопровождали коров: двое слева, двое справа, трое позади.

Вслед за ними, шесть других конвоировали стадо быков.

Один, четырнадцатый, сидел на загруженной повозке и длинным прутом правил парой запряженных волов.

Старший, Кротов, одетый почище, с медной цепочкой от часов на жилетном карманчике, в ботинках на шнурках, в приказчицком картузе, держал перед собой толстую палку, как дьякон держит толстую свечу, и бегал с нею по полю от быков к коровам, от коров к быкам, наслаждаясь возможностью повластно командовать двумя такими внушительными армиями. Он благословлял своей дьяконской свечей то отстающего быка, то слишком далеко вперед забегающую коровенку, то грозил ею издали гонщикам. И его жеребячий голос так и раскатывался по просторам безлюдных полей.

Подножного корма почти не было, скотина большую часть дня голодала. Изредка попадалась в пути полоска брошенного хозяином ярового: покрасневшее, едва выбросившее первые стрелы листочков, просо; овсянник в два вершка вышиной, с пустыми колосками... И скотина, всю дорогу жадно потягивавшая в сторону поля ноздрями, моментально сворачивала с большака прямо туда, на красную полосу проса, на бледнокремовый овсянник, в зачахшие, не давшие цветка, унизанные червями подсолнухи, в неубранную, странную, ростом не больше вершка, гречиху, в нежные, преждевременно побуревшие волосики льна, в черные цилиндрические пустоцветные щетки конопля, в бахчи с мелкими арбузами и дынями, в огороды с капустой или с тыквами, на картофельные поля...

Стоило одному животному свернуть с дороги в запретное поле, как за ним устремились широким хвостом другие, многие, иногда все. Впереди бежала в бок скотина; за ней мчались с палками и ругательствами гонщики; за гонщиками неслись Кротов.

— Куд-ды!—кричали надрывными голосами гонщики, бесильные догнать убегающую в глубь поля скотину.—Куд-ды ты пошла! Наз-зад! Наз-зад!

Почти всегда в таких случаях между скотиной и гонщиками происходило короткое, быстролетное состязание на скорость: на глазах у гонщиков животное с места брало максимальную быстроту, попадало в просянный, оставленный мужиками под выпас собственного скота, напихивало полный рот сухих просяных листьев, с пучковатыми корнями, с глинистой землей, и, держа все это во рту, как кошка держит мышь, с той же максимальной скоростью возвращалось обратно в стадо, оставив догоняющих его гонщиков, с летающими в воздухе палками, далеко позади. Все это делалось в минуту, в полминуты.

Запряженная в повозку пара быков, работающая и голодающая больше других, завидев в стороне от дороги обретенную проезжавшими шапку подсолнуха, или клок сена, или пучок соломы, или просто торчащий из канавы вихор полыня, круто сворачивала со своего пути и рысью бросалась туда, волоча за собой убийственно прыгающую поперек всех колей повозку, с вылетающими из нее на землю шубами, ведрами,



картофелинами, тыквами. Кучер на полном скаку слезал с повозки, забегал вперед, хватал быков за налыгичи, останавливал, тащил обратно на свою колею.

На полевых ночевках, пользуясь темнотой и всеобщим крепким сном, иной бык осторожно уходил со своего тырла, приближался к повозке с храпящими на ней кучей гонщиками, долго и кропотливо прорывался носом под их спины, забирался в мешок, приламывал толстую корку буханки ржаного хлеба и с наслаждением выедал до дна свежий, пахучий мякиш.

О подножных кормах Кротов собирал все сведения у пастухов сельских стад.

Пастухи, издали увидев казенный гурт, бросали свое стадо и бежали к дороге ему наперерез. За махорку и газетную бумагу для курева они благодарили Кротова несказанно.

— Почему служишь?—спрашивал в разговоре Кротов.

— За сорок,—отвечал малый, лет 16, в длиннополой шубе, волочащийся хвостом по земле, в остроконечной буденовке на голове, защитного цвета, с красной звездой.

— Что за сорок?

— За сорок пудов.

— Чего?

— Ржи.

— За все лето?

— А ну да.

— Маловато.

— А то много!

— Почему же рожью, а не деньгами платят?

— В наших местах денег сроду не знают. Наши деньги — рожь.

— А тут подходящих для нас кормов нигде не будет?

— Тута-ка нету. Тута-ка крестьянский скот пасть негде; видите: по голому жнивью толокусь. А дальше, верстов за 12, там будут хорошие совхозские овсянники. Там попасть можете.

— А колготы не будет?

— Какая колгота. Овсянники все равно пропащие, их ничем, ни косой, ни серпом, нехватишь. А сенов у совхоза много: еще с того года стога по всему лугу стоят.

— А про разбойство у вас тут ничего не слышать?—спрашивал обыкновенно Кротов, когда вспоминал, что у него запрятаны за семью одеждами казенные деньги.

— Пошаливают. Все-таки есть. А вам что? Скотина казенная, не спекулянтская?

— Казенная. Вон, гляди, пломбы у каждой в ухе.

— Ну, так чего. Тем более, если блombs.

— Вон уже рассыпались по ржанищу, проклятые! — быстро проговорил Кротов и, занеся над головой свою дубинку, вдруг бросился с дороги за разбредающей по полю скотиной.— Куд-ды! Куд-ды ты! А-а-а, дьявол!

Пастух, волоча по земле хвост своей шубы и маяча острым концом буденовки, побежал помогать, резко стреляя на ходу длинным, страшным бичом, похожим на ядовитую змею.

## VI

Проходили широкой улицей села. Подняли желтые облака пыли, в которой вскоре утонуло все: и скотина, и люди, и крайние избы.

Изголодавшиеся быки, рассыпавшись влево и вправо от дороги, подбегали к крестьянским избам, становились на задние ноги, передними царапались по бревенчатым стенам вверх, жадно вытянутыми губами выдергивали с крыш целые пучки почерневшей соломы и разбегались.

Коровенки, с блестящими, наивно-плутоватыми глазами, носились по селу, бежали вдоль порядка домов, искали раскрытых калиток, ныряли в них, прятались от гонщиков в чужих сараях, всю дорогу мечтая пристать к любому толковому оседлому хозяйству.

Гонщики в бешенстве разрывались на части, не знали, что спасать: крестьянские ли крыши или казенных коров.

— Старики! — зывали они изнемогающими от усталости голосами, обращаясь к мужикам, ротозеющим от своих изб на проходящую селом скотину: — чего же вы, ироды, не помогаете нам отгонять от ваших крыш быков! Ведь они рушат ваше добро!

— А какое вы имеете право гонять через селения такие огромные шайки скота? — не двигаясь с места, грозно вопрошали мужики. — Разве вам тут дорога, бесовы дети! Вон дорога, вокруг села, а не тут!

— Мы у тебя не спрашиваем, где дорога! — задирали гонщики мужиков и с криками били палками по скотине.

— Не спрашиваешь?! — раз'ярились мужики и неторопливо сходились кучками. — Вот отобьем сейчас всем обществом десяток быков в свою пользу, тогда будете знать, как не спрашивать. Должны спрашивать!

— А ну, попробуй, отбей! Скотина не наша, казенная, нам не жалко, попробуй, отбей!

— Вот сейчас пойдем, соберем народ, — грозились мужики и делали вид, что спешат за фуражками в избы...

— Эй, бабы! — кричали гонщики у другого гурта. — Затворяйте там калитки! Не видите, что коровы во дворы забегают!

— А вам жалко? — говорили бабы. — Оставили бы нам хотя по одной на хозяйство.

Во всех деревнях было одно и то же: мужики, бабы, дети высыпали на улицу, становились вдоль своих изб в картинный ряд и стояли до тех пор, пока проходившая мимо скотина не исчезала из виду, Потом раздавались вздохи, начинались обсуждения...

— Товарищ! — обратился к Кротову в конце деревни один из троих кузнецов, сплошь черных от сажи, вылезших из своей темной мастерской на свет, чтобы поглядеть на скотину: — это чья скотина, советская?

— Советская, — увесисто отвечал Кротов и с гордостью окинул взглядом свою армию.

— А-а, — с удовлетворением сказал кузнец, и черное лицо его прояснилось, и он поближе подошел к Кротову. — Это хорошо. Хо-ро-шо-о. Откеда же она? Красная армия закупаает?

Кротов остановился и об'яснил, что советская власть, организовав массовую закупку скота в засушливых районах, выручает крестьян из беды, вырывает их из лап спекулянтов, за ничто покупавших у мужика скотину.

— Частные прасола платили мужику по 80 коп. за пуд живого веса, а мы сразу подняли цену до двух рублей.

— О-о, до двух рублей, это хорошо, — одобрил кузнец, сам из местных крестьян. — Советской власти от мужика за это спасибо. Даже очень спасибо. Если кто сознает.

И Кротов, догоняя потом стадо, пошел по дороге с таким геройским видом, как будто советская власть — это он.

И везде, где проходившая по селу скотина не причиняла жителям убытка, жители норовили хотя бегло побеседовать с гонщиками, как с людьми новыми, на самые разнообразные темы: хозяйственные, бытовые, религиозные, политические.

— Откеда скотина? — кричал на всю улицу мужик, стоя возле своей избы, в нижней рубашке, в упавших до колен подштанниках, босой, нечесанный, заспанный.

— Из Еремина! — тоже громко, точно глухому, отвечали с середины дороги гонщики.

— Чья?

— Центры!

— Стало быть, казенная?

— А ну да!

— А сами вы чьи? — выходил на середину дороги мужик, придерживая левой рукой падающие подштанники, а правой для деликатности распутывая на голове волосы.

— Ереминские! — ответствовали гонщики и останавливались в надежде воспользоваться от мужика каким-нибудь полезным сведением.

— У вас жнива пахали? — спрашивал мужик, уже сойдясь на дороге с гонщиками.

— Еще! — коротко бросали гонщики, что означало: „нет еще“.

— Почему?

— Нету дождю. Земля больно сухая.

— Стало быть, в том краю тоже такая засуха?

— А то.

— А зерно на озимый посев в вашем месте дают?

— Шумят, что будут давать, а покада ничего такого нету. А у вас?

— Ниоткеля нету никаких слухов.

— Это плохо.

— Знамо, плохо.

Вокруг мужика останавливались в круг другие гонщики.

— Дядька, у вас на деревне самогону нельзя достать?

— Нету. Летошний год варили, а сей год не варят. Обедняли. Во всей этой округе, почитай, одна наша селения такая скупая. А в протчих селениях, там дальше по большаку, там самогону, сколько хотите, сможете достать. И самогон же хороший есть у которых, страсть!

В большинстве сел мужики глядели на проходивший мимо скот с большим сокрушением.

Скот от них, от мужиков, уходит! Скот у мужика убавляется! Скот гонится на бойню! А между тем, если бы этих быков дали им для работы, они натворили бы в этом краю чудес. А то сейчас и земли у них вволю, да что в ней толку, если подступиться к ней не с чем...

— Говядинка хорошая!—ехидно замечал вслух один мужик, кивая на упитанных быков.

— С жирами!—озлобленно резал другой.

— Мужик обеззубел такую говядину есть!—бросал третий.

— Найдутся, зторые ее поедят!—загадочно подмигивал остальным четвертый

— А кто же ее поест?—в нервном возбуждении откровенничал и бледнел пятый:—А рабочие в Москве ее поедят! Они и поедят!

— Вас не спросят!—желчно хохотал шестой.

— За хлеб нам платят по 40 коп. пуд, а за аршин ситцу с нас дерут по шесть гривен...

— Одеть рубаху, значит, отдать почти что два чувала хлеба! А где его взять?

И все хором повторяли, как в песне припев:

— А где его взять?

Потом опять: один бросал жгучую фразу, а все подхватывали ее и разжигали ею себя.

— Темнота у нас!—говорил Кротову сторож при одной сельской потребилровке, пожилой мужик.

— Как темнота?—возражал Кротов.—А, говорили, раз'ездные лекторы, передвижные театры!

— Какие лекторы!—отмахнулся сторож.—Когда было затмение луны, то в 17 верстах отсюда, в нашем уездном городу, на базарной площади люди смотрели на луну в митроскоп. При митроскопе находился приезжий лектор, сильно хвативший для приезда. „Это,—говорит лектор, показывая в митроскоп на луну,—Япония, а это, немного пониже, чернеется Америка“. Весь народ поверил, один я не поверил, как я все-таки среди

деревенских человек выделяющий. Про Америку я, конечно, ничего не скажу. А вот про Японию, про ту нав-рное знаю, что она не на луне, как я сам участвовал в русско-японской войне и имел ранения. Вот видите! А вы говорите, лекторы. Все равно, никто ничего правильно не доказывает. Опять взять то затмение. Затмение безусловно было. Но куда она девалась, луна, скрылась ли за облаками, или же вовсе унистожилась, и на ее место народилась другая, этого человек никогда не узнает.

И долго еще говорил сторож, пока гурты неподвижно стояли среди широкой деревенской улицы, а все гонщики шумно дышущей гурьбой, пахнувшей раздольем степей, рылись в тесной и темной потребиловке в разложенных перед ними деликатных товарах.

Потом, сложив свертки с покупками на повозку, закурили и тронулись по деревне дальше.

Утомленной скотине понравилось стоять среди дороги и под горячими лучами солнца оцепенело дремать. И ее сдвинули с места не сразу.

А вдали, отделяясь от своей избы, уже шел наперерез гуртам величественный старик, с белой длинной бородой, в белой длинной рубахе, подпоясанной веревкой, в черном картузе, в желтых лаптях из лыка.

Он сразу узнал в Кротове старшего и поздоровался с ним, как с начальником.

— А как там, в Москве, смирно?—спросил он, опираясь одной рукой на высокий посох, а другой поглаживая бороду.

— Вполне,—твердо сказал Кротов и с места закричал идущему впереди по деревне молодому долговязому гонщику:—Панькин, гляди там, как бы быки не раскидали тот омет соломы!

— Насчет бунтов ничего не слыхать?—косил высокий старик на низенького Кротова свои хитрые глаза.

— Какие теперь бунты?—удивился Кротов.

— А война будет?

— С кем? И кто теперь будет воевать? После русско-германской войны нет дураков воевать.

— Ага! Стало-быть, солдатов брать не будут? Это хорошо. А то у меня трое сынов есть. Ну, а поскольку наложат в сем году на десятину?

— Это покудова неизвестно. Тогда объявят. Вам, вероятно, сделают снисхождение, как вы пострадавшие от засухи.

— Все-таки, думаешь, сделают?

— Обязательно.

— На хорошем слове спасибо.

Старик помолчал, подумал, несколько раз украдкой окинул подозрительным взглядом Кротова и только после этого спросил:

— Ты коммунист?

— Нет.

— Врешь.

— Чего мне, дедушка, врать? Вот я с вами встретился, вот я с вами разоидусь.

— Так-то оно так. Только такой хорошей должности, как у тебя, не коммунистам не дают.

— Чем же у меня хорошая должность? Поденщик!

— А все-таки,—сказал старик и опять окинул всего Кротова хитрым взглядом:—Ну, а как там у вас, в Москве, бога создают?

— Плохо, дедушка, плохо.

— А-а, стало быть, плохо. Вон оно что. У нас тут тоже плохо. Моя дочь накотила детей, думала, выйдут люди, а они все до одного в комсомол записались. Пес его знает, что будет. Не глядели б мои глаза на такой свет. А родители твои живы? А ты как, считаешь их или тоже?

— Почитаю, дедушка, почитаю.

— Это хорошо,—с чувством одобрил старик.— Старость жалеть нужно. Все состаритесь. А то у нас тут один такой, как ты, приехал из города к матери в дом и не велит ей богу молиться. Серчает на мать, не велит в церковь ходить. Он тут у нас начальником над детьми, должность хорошая, вроде как у тебя... И мать, крадучись от сына, молится богу. Вот чего делают! А ты богу молишься?

— Нет.

Старика дернуло от Кротова в сторону.

— Как?—нахмурил он седые брови, белые на красном здоровом лице.

— Так, отбился от церкви, не могу видеть попов...

— Заблудились люди,—вздыхнул старик и покачал головой.—Заблудились. Оттого и засуха, и неурожай, и все. У нас тут одну девчонку подхватило вихрем. Три дня носило. Поднимало все выше и выше. Как попала она потом обратно домой, девчонка сама не знает. Говорит, была на небе, видала бога. Кто его знает... Она, хоть ей и четырнадцать лет, догадалась, стала на колени и запросила у бога урожая, дождю. А бог и говорит: „последние колодези высушу“. И правда. У нас 12 колодезей рыли в ярах, где раньше была вода, а теперь нигде не нашли воды.

Кротов смеялся.

— Ну, а все же,—скал он на прощанье, уже выйдя с гуртами за деревню:—Вот вы старый человек, много видали, многое понимаете, о многом на своем веку передумали. Скажите мне, только по правде, как на ваше мнение, к хорошему все эти перемены или нет?

Опершись двумя руками на посох и принагнувшись могучим корпусом вперед, старик подозрительно скользил по лицу Кротова своими хитрыми глазами, стоял, думал, молчал.

— Ну, как же?—повторил вопрос Кротов и тотчас, увидев в конопляннике гигантского быка, рванулся к нему с поднятой дубинкой.

— Навряд!—прокричал ему вслед с середины дороги бело-бородый рослый дед.—Навряд!—повторил он во второй раз и громче и смелее.

— Почему?—крикнул на бегу Кротов.

— Забыли бога!

И старик исчез, как видение, в облаках налетевшей от гурта пыли...

## VII

Шли день за днем, от зари до зари. В полдень отдыхали, варили чай, скотину пускали пастись. Ночевали там, где заставала в пути темнота, варили на костре обед, по очереди дежурили до утра.

Всем гонщикам приходилось трудно.

Но тяжелее всех было старшему, Кротову.

Что ни день, то он делал какое-нибудь новое, неприятное открытие.

Начать с того, что двое гонщиков, присланных профсоюзом, оказались инвалидами войны и оба сильно хромали, один на одну ногу, другой на другую. При найме они ловко скрыли свою хромоту, а теперь с каждым днем все дальше отставали от гуртов, плелись вдаль по дороге отдельной парой, один хромая на левую ногу, другой на правую. И Кротов из сострадания раз навсегда усадил их на повозку. Остальные открыто роптали на инвалидов, обвиняли в том, что, сидя по целым дням в повозке, они будто бы роются в их мешках, таскают провизию, обкусывают сахар, обсасывают монпансье, отрывают по листику от их папиросной бумаги, крадучись, мылятся их хорошим мылом...

С третьим гонщиком, рекомендованным ячейкой, дело обстояло еще сложнее. Оказалось, он страдал куриной слепотой, ночью не отличал скотину от человека и, будучи весьма старательным в работе, не раз замахивался дубинкой на своего же собрата, дежурного гонщика, принимая его впотемках за покушающегося к побегу быка.

— Ааа!.. — заскрежетал он однажды зубами на Кротова, когда тот, по обыкновению, глубокой ночью обходил посты дежурных.—Ты все лазишь тут?! Куда тебя черти несут?! Наз-зад!—погнался он с занесенной выше головы дубинкой за своим начальником, в страхе убегающим от него в темноту.—Я тебе когда-нибудь, сукин сын, рога посбиваю!

И, с матерной бранью, он изо всех сил запустил ему вдогонку тяжелую дубинку.

Кротова спасло только то, что он во-время упал, споткнувшись о куст полыни. И дубинка, с грозным гудением, точно двенадцатидюймовый снаряд, пролетела в темноте над его головой.

— Где ты видел у меня рога, дурак ты этакий! — в смертельном испуге говорил Кротов, полулежа на земле, как раненый на войне в живот, и все еще не поднимаясь, от страха, что в темноте его во второй разогреют дубиной. — Калека ты несчастная! За какую-нибудь неделю пути ты уже во второй раз покушаешься на мою жизнь, сволочь этакая! Ну, что я теперь должен тебе сделать? Морду набить?

— Тихон Евсеич! — с искренним чувством взмолился гонщик, сам перепуганный до полусмерти: — Я без намерения!

Из темноты, с воротниками шуб, поднятыми выше голов, неслышно подходили к ним другие дежурные. Узнав, в чем дело, они вступались за гонщика.

— Больно темная ночь, — говорили они и притаптывали на месте, чтобы согреть заокоченевшие ноги. — Очень слободно ошибиться. Если бы было хотя месяцю! И человек не виноват, потому он все-таки вроде старался, хотел как лучше.

— На кой чорт мне такое его старание! — встал с земли и замахал руками Кротов. — А если он однажды ночью голову мне дрючком снесет? Спасибо вам за такое старание! И, чорт его душу знает, может быть, он какой-нибудь припадочный, лунатик, а такие, мне рассказывали, и на спящего кинуться могут, если им что-нибудь покажется!

— Ну, что вы, что вы, Тихон Евсеич, — уже и „на спящего“! Этого даже никогда не случится. Вы очень низко ставите меня. Даже вроде обидно.

Вскоре после обнаружения в своей команде двух хромых инвалидов и третьего, страдающего куриной слепотой, Кротов сделал еще одно неприятное открытие.

К его ужасу, один из гонщиков оказался в прошлом белым офицером. Однажды ночью на привале он сам проболтался. И с той поры все время Кротов трепетал, как бы не узнали об этом красные инвалиды и не затеяли в пути гражданской войны с бывшим белым в ущерб вверенному попечением Кротова казенному скоту.

— Ни звука об том! — делал он знаки бывшему офицеру, заводившему за чаем беседу с инвалидами. — Ни звука! — сигнализировал он ему за спиной инвалидов, сосущих, сидя на земле, из ржавых кружек горячий чай.

Остальные десять гонщиков, все крестьяне от сохи, доставляли Кротову тоже немало хлопот неумением ужиться друг с другом. Старики плохо ладили с молодыми. Молодежь старалась выезжать на стариках. И в то время, как старики бегали по глубоким ярам, то с кручи, то на кручу, ловили шалую коровенку, или рыскали по густому лесу за пропавшим быком, молодые шествовали себе шагом рядом с гуртом, притворяясь, что ничего не замечают. Точно также, когда поднимался ветер и гнал облака взбиваемой скотом пыли, то старики почему-то оказывались со стороны летящей от гурта земляной пыли, а



молодежь со стороны чистого ветерка. Старики роптали между собой, но жаловаться Кротову не решались из страха показаться старыми, слабыми, неспособными гнать и тем лишить себя возможности хотя бы еще разок попасть на эту работу. И Кротов сам то и дело перегонял молодых на место стариков, а стариков на место молодых.

А, главное,—ни один гонщик не знал дороги!

— Чего же вы ввали Иван Семенычу, говорили, что гоняли этим путем и знаете маршрут?!

— А что же мы должны были пропадать без делов? Помирать с семейством? Вы же сами, Тихон Евсеич, очень хорошо видели, как трудно было заместиться на эту работу! А теперь мы, как ни то, все-таки состоим на должности. А что касаемое дороги, то ее немудреное дело найти, каждый житель укажет. Жителей надо спрашивать.

И, чтобы разузнавать, куда идти дальше, Кротов останавливал проезжих, бегал далеко от дороги к пахавшим озимое мужикам, подзывал к себе на дорогу сельских пастухов... Но проезжие были редки, а пахари и пастухи абсолютно никаких других дорог не знали и не хотели знать, кроме тех, которые вели в их деревню, к их дому, да в поле, да в их полосу.

— Стой на месте!—вдруг на перекрестке нескольких дорог поднимал руку Кротов и останавливал оба гурта, а сам со стариком Коняевым отправлялся вперед, разглядывать пути.

Коняев шел по одной дороге, Кротов по другой, и оба они держали головы так низко наклоненными к земле и двигались так медленно, точно прочитывали затоптанные по колеям буквы...

## VIII

— Давайте сюда-аа!—кричал гонщикам Кротов, уходивший далеко вперед гуртов на розыски подножного корма.—Тут корма-аа!

Один конец дубинки он вонзил в землю, на другой надел свой картуз, а сам растянулся на траве отдыхать.

Он лежал на спине, лицом к небу, и улыбался, заранее рисуя себе, как поразятся гонщики, когда увидят эту найденную им степь. Когда гурты круто свернули со шляха и направились степью прямо к нему, он не утерпел и встал, чтобы получше увидеть тот восторг, с которым оба гурта встретят ожидающий их сюрприз.

— Ну, и корма-аа!..—одно за другим вырывались восхищенные восклицания из уст гонщиков в то время, как сами они не могли оторвать глаз от устилавшей их путь роскошной, теперь уже высохшей, но еще хорошо сохранившейся от лета травы.—Вот это так корма-аа!

— Вот что значит сроду непаханная земля!—проговорил старик Коняев, скользя и скользя оживившимися глазами по

земле. — Это бывшие графские степи, теперь государственный земельный фонд. Их только в этом году начали нарезать мужикам. А раньше они, кто их знает, сколько годов, так гуляли.

Все долго не переставали глядеть себе под ноги, разглядывать каким-то чудом уцелевшую, нескошенную траву. И медленно продвигались в глубь степи, подальше от шляха, где с каждым шагом становилось все лучше и лучше.

И после твердого, как камень, большака, ступать по упругой, сухо поскрипывающей под ногами траве и скотине и людям было приятно и непривычно странно. Шли и улыбались от удовольствия. Шли и не слышали собственных шагов. Шли и чувствовали, что ступали по хорошему новому волосяному тюфяку. Было даже жаль его портить, мять ногами и хотелось попытаться обойти его где-нибудь стороной.

Вокруг, на светло-желтом фоне травы, были разбросаны одиночками и небольшими группами поздние, бледно-алые и бледно-голубые, точно полинялые цветы, доживающие свои последние дни, с особенным, едва ощутимым, нежным осенним запахом, почему-то вызывающим слезы. Всюду, куда ни помотришь, ярко блестели на солнце протянутые через верхушки травинок и чашечки цветов очень длинные, совершенно прямые ниточки паутины, напоминающие такие же серебряные и золотые нити на украшенных рождественских елках... И над этой, простиравшейся до самого горизонта, ярко-желтой, однообразной степью ярко синело небо...

— Тут продержимся подольше,—сказал Кротов, сияющий и сам не понимающий, отчего он сияет.

— На таких травах, Тихон Евсеич, не грешно было бы устроить нам дневочку,—сказал один из гонщиков.

— Дневку! Дневку!—подхватили остальные.

— Там посмотрим,—ответил нерешительно Кротов.—Завтра утром решим.

— Тихон Евсеич,—указал вдоль концом своей палки Кротову старик Коняев:—Вон там, видите, верхушки старых деревьев из ложбины чернеют? То пруд. То пруд, а вокруг вербы. Там скотину напоить можно.

— Ну?—Вот хорошо! Там сможем и заночевать?

— А отчего же? Вполне.

— Трогай туда!

Пришли к пруду. И к золоту степи, к синьке неба прибавилась еще одна столь же яркая, веселящая глаз краска: резкая зелень шатром склонившейся над прудом старой вербы...

Когда малиновый шар сентябрьского солнца нижним краем своим прикоснулся на горизонте к степи, на всю степь, от горизонта до пруда, легла малиновая тень. И от травы, от цветов, от нитей паутины, от склонившихся над водой верб, от покойной поверхности пруда, от безоблачного неба, от разлитого

вокруг запаха кизячного дыма,— от всего вдруг повеяло печалью разлуки, грустью по канувшему в вечность лету...

— Йээхх...—глубоко вздохнул один из инвалидов, распрягая быков и мельком глянув вокруг и сам определенно не сознавая, о чем и отчего вздыхает.

— Ддаа...—с обычным своим сожалением потянул в себя воздух и замотал головой другой инвалид, тоже скользнув взглядом в сторону уходящего солнца.

В этот момент в малиновый овал пруда со всех берегов входила довольная, наевшаяся скотина. И к запаху кизячного дыма в вечернем похолодевшем воздухе присоединился запах теплого парного молока.

— Панькин!—кричал с пологого берега на крутой старый гонщик Коняев молодому:—Заметь там на берегу затычкой уровень воды в пруде, пока скотина не пила! А потом посмотришь, сколько она выпьет!

— Хорошо!—отвечал с того берега Панькин и вбил в глинистый берег на уровне воды колышек.

Пруд был большой, поэтому скотина и здесь могла себе позволить большую роскошь. Ни одна из них не пила у берега, а все, бросая от себя на воде черные отражения, двигались глубже и глубже в пруд, по колена, по живот, по грудь, где вода была чище и холоднее. Там коровы и быки останавливались, нащупывали копытами на дне пруда надежный грунт, погружали кончики сомкнутых губ в воду и с наслаждением цедили в себя воду. Пили они не спеша, долго и много. Напившись, стояли там же, в той же позе, склоненные над водой, с блаженным выражением полузакрытых глаз.

В воде, далеко от берега, на красных спинах некоторых быков висели в распластанном виде, как попоны, мехом вверх, черные шубы нескольких гонщиков. Гонщики, когда припекало солнце, имели обыкновение сбрасывать с себя в пути тулупы и, чтобы далеко не ходить к повозке, набрасывали их на спины послушных животных. И теперь гонщики, хозяева шуб, стояли на самом краю берега, напряженно следя за каждым движением быков. Пропадут их шубы или не пропадут? Утонут или не утонут? Раздеваться и лезть в ледяную воду или еще подождать, может быть, так обойдется?

— Наз-за-ад!..—вопили они охрипшими от усилий головами, кривили лица, приседали на одной ноге, а другую поджимали под себя, точно в степи накололи.—Наз-за-ад!.. Цо-об!.. Цоб-бе-е!..

Потом с безнадежными лицами они хлопали себя по коленям и делали вид, что все пропало и что они больше уже не наблюдают за быками, одетыми в их шубы.

— Пропала одежда!—говорили они.—Ни за что пропала! Кто мне теперь справит ее, другую? Ааа!!! Не столько зарабатую, сколько потеряю...

Быки постояли, покойфовали в прохладной коллективной ванне и, когда пришло время, вышли на берег, осторожно вынеся на своих спинах доверенные им шубы.

Ликованию, восторгу, благодарности гонщиков не было границ.

— Ну, и животная!—удивлялись они и зачем-то разглядывали с изнанки и с лица свои дырявые шубы.—Ну, и скотина! А, говорят, она ничего не понимает!

— Кто говорит?—заметил Коняев.— Тот сам ничего не понимает, кто это говорит. „Глупая“, „глупая“, а она, есть которая умней нас. Она очень хорошо все сознает.

Тут последний бык вышел из воды, и Коняев закричал на противоположный берег:

— Панькин! Пройди к заметке, погляди, какой теперь уровень воды в пруде!

Панькин опустился к берегу и указал всем на новый уровень в пруде. Все удивлялись. Коняев рассуждал, объяснял.

— Вот видите, сколько она выпила! Если класть по 4 ведра на голову и то составит 2 тысячи ведер! А быки есть, которые и по 6 ведер враз выпьют!

Скотина сытая, вволю напоенная, с чудовищно оттопыренными, почти горизонтальными боками, не могла двигаться и своим видом вызывала на лицах гонщиков улыбки.

— Другая беременная такая не бывает!—смеялся Панькин.—Ужась! Страшно смотреть! Вот-вот лопнет и окачурится на месте! Ну, и нажралась!

Выйдя из воды, скотина делала всего несколько шагов от берега и тут же грузно валилась отдыхать, до завтрашнего утра.

— Сегодня охранять ее не надо,—сказал Коняев.—Ее теперь силой с места не подымешь.

И люди были бесконечно довольны, и скотина.

Люди возились возле костра, раздевались, разувались, ели, пили, балагурили, рассказывали по очереди о том, о сем, о пятом, о десятом. И послушав их, можно было придти к убеждению, что на этом свете действительно очень хорошо жить...

Ночь была холодная, и тяга у костра была хорошая. Огонь так и сочился от земли вверх, так и облизывал подвешенные над ним ведра с бурлящим кипятком.

— Который день идем?—спросил Панькин, суя в огонь большепалые разутые ноги, от которых валил пар.

— Четырнадцатый,—сказал Кротов и откусил кусочек сахара.—Осталось итти еще неделю.

И было видно, как эти люди уже втянулись в кочевой образ жизни, как любили они костер, у которого обедали и грелись ночью; землю, на которой с таким восторгом отдыхали, сидели и спали; черные закоптелые ведра, из которых с такой жадностью хлебали деревянными ложками насквозь продымлен-

ный чай, отдающий то бараньим супом, то пшенной кашей с поджаренным луком...

Казалось, эти люди готовы были так пробродяжить всю свою жизнь...

— Завтра сменяю лапти, а эти брошу в огонь, — тоном важного события объявил Панькин, при свете костра ковыряясь пальцами в дырках стоптанного лаптя из лыка.

Когда наелись, напились, первый раз собранные вместе все пятнадцать человек, запели...

И как превосходно они пели! Как преобразились при этом их лица! Это уже не были те грубые гончики, с разбойничьими криками истязавшие дубинками покорных животных. Это не были замученные неискоренимой нуждой и вечными незадачами, задерганные, очумелые люди. Это были совсем другие люди... настоящие!

Пламя костра, вспыхивая, освещало рогатые морды лежащих вблизи быков, с открытыми, покорными блестящими глазами, с равномерно жующими челюстями.

Вокруг было так тихо, как только может быть тихо ночью в пустынной бездорожной степи.

Изредка до костра доносились поразительные, совсем человеческие, даже более человеческие, чем у самого человека, глубокие протяжные вздохи быков. Вздохи эти были не часты, но они слышались, — то тут, то там, — в продолжение всей ночи.

Скотина лежала и думала. Не за этим ли ее насильственно оторвали от прежних хозяев, чтобы из бесплодных засушливых мест пригнать сюда, в этот чудесный край, с питательными травами, с обильными водами? Если это так, тогда понятны, тогда простительны те жестокие палочные удары, которыми их гнали сюда эти, поющие у костра, люди. Если это так, тогда от этих людей можно ожидать, что они погонят их в еще более замечательные места. И если это так, тогда с завтрашнего дня можно еще сильнее приналечь на свои силы и еще быстрее пойти. Если только это так...

Ночью на пруд прилетели утки.

Перед утренней зорькой прихватило первым в этом году морозцем, и у Коняева, спавшего возле потухшего костра, свело судорогой ноги.

# Л у б о к.

(К поэме „Калинов-город“.)

Да у старого старика  
Два сына,  
У Иван-озера  
Два отродья:  
Шат Иванович,  
Дон Иванович.

Уж как Шат  
Виловат, путляват;  
Сколь ни шатился,  
В Оку впятился.  
А удатный-то Дон  
Прямиком пошел—  
Через степь,  
Через дол—  
К синему морю,  
На вольную волю.  
Он сам пошел  
И Донец увел.

На Дону, на Дону  
Села, слободы,  
Города на Дону  
С посадами...

---

А было

На Донце-реке.  
Городам город—  
Тут Калинов-город.

Калинов-город  
Высоко стоит;

Высоко стоит,  
Далеко смотрит.  
Видит тихий Дон  
До самого моря.

А было  
В городе Калинове.  
Уж как тут беда случилась.

Подымалась с Дона  
Сила белогвардейская—  
Помещицья,  
Кулацья,  
Офицерская.

---

Да что ж над Калиновым  
Звон малиновый?—  
Во все колокола:  
„Наша взяла!“

Подкатил под городок  
Стальной гусек—  
С дымом, паром,  
С донским товаром:  
Все ребята хваты,  
Белой армии солдаты.

Эх, донцы,  
Удальцы!  
У них чубы  
Всклочены,  
Мозги теменью  
Заколочены,  
Глотки водкой смочены.

„А ну-ко-сь,  
Господи-Исусь!  
За матушку Русь,  
Державную,  
Православную!“

Пошли гулять,  
Погоуливать—  
По улочкам,  
Переулочкам,  
Площадям,  
Закоулочкам.

Держись, Калинов-город!







# Рыбаки.

Повесть.

## I

Три дня ломал шторм океан, и три дня были люди в водном тумане, в зге, в смерти. Люди были норвежцы-рыбаки, три дня на-смерть бились они с океаном, кирпичная кожа их обросла буграми запекшейся крови, и пойманная треска ожила и плавала в карбасе. На четвертый день шторм пронесло на восток, ветер пал, с берегов, с земли, подул слабый зюйд-ост. Ибо на земле—начиналась весна. Сизые рубища туч разрывало в лоскутья; большая звезда зажглась ввечеру между них. Она была винно-красна, пускала колючие щупальцы и зловещей медузой плыла в океане. Знают все рыбаки настурциево-красную эту звезду моря. Когда проходит шторм, загорается она на востоке, и значит тогда звезда моря, как радуга, что кончено с смертью,—и будет жизнь.

И на четвертый день, за хаосом вод впервые открылся берег. Берег был черен, угрюм, и угрюмая бухта лежала за грядами рифов. Рыбаки вошли в бухту, на карбасе была сломана мачта, он был полон тяжелой воды, и после трех дней и ночей разъятой бездны и шторма впервые была твердь. Твердь была земля. На земле круглые камни сухо гремели под ногами. Рыбаки вышли на берег, они легли на землю и уснули каменным сном веков.

И утром—были штиль, солнце, зной, и меж камней лилово пробивались слабые цветы, как улыбка детей. Рыбаки пришли из далекой Норвегии, их было пять человек, в далекой Норвегии остались рыбацьи дома и семьи, и серый прекрасный город—Христиания. Рыбаки развели на берегу огонь, сушили припасы, развесили юнды—рыболовные снасти,—чтобы не погнили, и вялили на солнце треску. Четверо ушли на мыс и жгли на мысу костры. Была пора лова, рыбаки жгли костры и ждали паруса в океане. Пятый остался на берегу. В железной банке уцелел порох. Он высушил порох на камнях, взял ружье и ушел в горы. Это был рослый человек, человека

звали Эриксен. Он был сероглаз и кирпично ожжен весною и штормом. У него не было дома на родине и не было семьи, и родиной его могла стать любая земля. Он пробыл в горах два дня. Он принес на плече телка—молодого оленя, мать ушла; он принес еще черного лебедя, угольно-черного прекрасного лебедя с головой, изорванной дробью. Рыбаки ели в этот день свежую оленину, и лебедь раскидал по камням траурные перья, как лепестки черных роз; мясо его было сине и жестко. Еще через день норвежский тральщик увидел огни и призывные знаки и пришел в бухту. Он принял четверых рыбаков, а пятый рыбак не захотел вернуться, он был охотник, было ему все равно, где жить и рыбачить. Голубые озера лежали здесь в гранитных горах, на голубых озерах были непуганные птицы—черные лебеди и большие сизобрюхие гуси. Ему оставили припасов и пороху, рыбаки обещали притти за ним через месяц.

Эриксен долго стоял на мысу и смотрел, как уходил в океан тральщик. Его глаза были серы, нетревожимы; светлая борода золотилась кольцами, в кольцах, в розовых губах, ровно белела дуга зубов. Двадцать пять лет легко лежали на его плечах. Ему было покойно, мужественно—полдень жизни. Когда тральщик смыло на горизонте, он вернулся на берег; он был на берегу один. В голубую воду бухты сумрачно уходили черные рифы. Чайки, как серые домашние утки, дремали на воде. Эриксен сел на камни и закурил. Он спокойно перемалывал мысли, как вол жвачку. Он курил, глядел на залив, сплевывал в сторону табачную слюну. Докурив, он постучал трубкой о камни и пошел к карбасу. Карбас лежал на боку, рыба чешуя платиново блестела на нем. Надо было засмолить щели, поставить руль и новую мачту. Человек обошел его дважды, он постоял над ним, подумал, посвистал. Потом взял он ружье, топор, припасы и ушел с ними в горы. По гранитным облысынам гор рос мох и кустарник. Человек был помор, и душа у него была, как сердце компаса. Он шел на юго-восток.

## II

В горах лежали озера. На озера с весны прилетали гуси. Воды озер были сини; пух гусей плавал в них, как белые мохнатые стрекозы. Гуси были тяжелы, краснолапы; они пролетали десятки миль океаном. В эту пору были гусиные свадьбы. Гусыни сидели на берегу, гуси медленно обхаживали их, обещая гогоча. Они обещали любовь, сытую жизнь, желтопухих гусят. Гусыни были самки, и гусыни верили. Гуси обходили их кругом и громоздились на них; и на берегу везде били крыльями гуси, точно медленно падал снег.

Эриксен пришел на озеро. Над озером была солнечная тишина. Он снял ружье и убил гуся, обхаживавшего самку

Гусыня улетела, и круглый глаз гуся задернулся лайковой пленкой несвершенных желаний. Эриксен сунул гуся в мешок и пошел дальше. Озера лежали террасами. Террасы были— гранит, на граните дремали ледники и века. За озерами шли валуны, они таились во мхах, как розовые тысячелетние черепахи. Ледники бились здесь. За валунами на юго-восток жили зимой лопари. На лето уходили они с оленями за горы, за камень, на новые пастбища. Эриксен прошел пять террас. Голубые марева стояли меж гор; на склонах, в лощинах лежал еще снег. Солнце обошло круг. Оно стало на незаходную свою черту, зардело, дожидалось восхода. Белая солнечная ночь без теней легла в горах. Внезапно большой сохатый олень возник на уступе; он смотрел вниз. Были очень видны его округлый блестящий глаз и теплые раздутые ноздри. Рыбак вскинул ружье и выстрелил. С уступа посыпались мелкие камни; олень легко перемахнул через пропасть и ушел в горы.

Эриксен пришел, наконец, к поселку лопарей. Дома лопарей были пусты, к дверям прислонены палки: это значило, что хозяев нет дома. Он вошел в один дом, сквозь слюду окон падала муть; он поставил ружье, скинул мешок и пошел с котелком искать воду. Он обошел дома, луг, валуны; меж валунов—вниз, с гор, по синеватым яйцам камней бежал родник. Эриксен лег на камни и припал губами к воде. Вода бежала вдоль губ и светлой курчавой бороды. Он напивался большими глотками, наполняясь блаженной прохладой. Мускулы, вены, душа его стали упруги от холода. Он пил еще, через силу, забавляясь струей, щекотавшей губы. Наконец, он поднялся; брызги лежали на его лице, мелкие кольца бороды были мокры. Он посмотрел на горы, белая слепая ночь лежала на них, птичий легчайший восход на весь сверкающий, каменный, белорожденный мир,—и вдруг засмеялся. Так хорошо было жить! Он принес в котелке воды, разжег костер; он ощипал гуся и лежал в ночи у костра, подперев подбородок. Красные червяки сучьев копошились. Потом поел он вареного гуся и лег спать в доме. Ночью пришел старый лопарь. Он увидел перья гуся, золу, и палка у двери дома была отброшена в сторону. Лопарь был низок ростом, седой конский волос густо рос из его ноздрей и ушей; ему шел седьмой десяток человеческих лет. Лопарь был бобыль, у него не было оленей, незачем было ему уходить с другими за камень на новые пастбища. У него было кремневое ружье и порох в мешочке; кремневым ружьем бил он зверя и носил в становище менять на рыбу и хлеб. Лопарь пришел к дому, он не заглянул, какой человек спит в нем, он зарядил ружье пулей и сел на камни снаружи. И камень и лопарь были забыты на пути ледниками.

Эриксен крепко спал ночь; день легко перекрыл желтизной ночное сияние гор. Утром спокойными серыми глазами оглядел рыбак свой ночлег. Он лежал, глядел, думал. Он покойно взве-

шивал жизнь; чашами весов были его большие узловатые руки. Он долго набирал силу в мышцы. Лопарь с ружьем между ног, сидя, дремал на камне. Тогда рыбак вернулся в дом, зарядил ружье пулей и тоже сел на камни у дома. Лопарь проснулся, туманными, слезливыми глазами глядел он на человека. Человек был мирен, у него были серые верные глаза, и сердцу зверолова незачем было тревожиться. Так молча они сговорились друг с другом. Они сговорились и дальше. Они сговорились на птичьем языке леса и моря. Большие семьи лопарей ушли за камень, на пастбища. Зимой много надо бить белки зверолову, потому что рыжеет весною белка, и тогда не берут ее в становище. Рыбаки дают за белку соленой рыбы и хлеба; дают еще они иногда прекрасного спирта, от которого веселеет сердце, а с веселым сердцем можно много набить зверя, потому что веселому сердцу много дано удачи. У рыбака на берегу остался карбас; была большая погода, карбас било три дня океаном, и карбас начал течь. Нужно смолы для карбаса и новую мачту. Людям надо жить дружно. А людям, которые живут одни со зверем и птицей,—особо. Зачем ходить менять в становище белку. Лучше вместе вить жизнь. Есть снасти для рыбы, карбас и сухарей на месяц. Через месяц придут рыбаки и привезут еще. Пока на камнях можно вялить треску.

Лопарь повел рыбака за собой в горы. Они шли по угору и спустились в каменистую ложбину. В каменистую ложбину срывался ручей, он нес по пути мелкие камни, и серебряный дым стоял над спадом; иногда синеватые рыбы быстро мелькали и уносились вниз. Лопарь пустил уже корни в землю, и земля держала его на срывах; он опирался о ложе ружья и медленно всходил в горы; меж гор стоял синий хрустальный чад; пропасти зеленели мхом, и вечный гранит нежно рдел в бездне. И с каменной террасы открылся океан. Он бессмертно синел; голубой, тишайший штиль баюкал его. Это был как бы седьмой день создания вселенной. За океаном лежала далекая прекрасная Христиания. Эриксен срубил в лесу ладную сосновую мачту. Он обрубил корни и сучья и понес дерево на плече. В соснах стрекотали белки; это были ходоки, шли они по ветвям, раскинув дымчатые кормила; они любопытно смотрели вниз круглым живым глазком, стрекотали и сыпали чешую шишек. Лопарь ставил на землю рогульку посошка, он вынимал из мешочка табак и нюхал, чтобы на глаз набежала слеза; тогда прочищался слезой семидесятилетний туман, он клал ружье на рогульку и бил белку. И белки не уходили от него, он убил трех пушистых веселых рыжих зверей, они останавливались на ветвях, как замороженные, и смотрели вниз на него, как готовился он к их убийству.

Зной становился выше. Большие светлые капли падали со лба рыбака. Он нес на плече большое дерево, и светлая его борода намокала от капель. Большие камни срывались из-

под его ног. Снова за лопарем спустился он в каменистую ложбину; там, у ручья, он положил дерево на землю и опустил в поток горячую голову. Он пил воду, плескался и фыркал, он набирал воды полные пригоршни и мотал головою, был он, как зверь на воде, и с бороды и волос стекали потоки на плечи. Лопарь набрал в ушастую зимнюю шапку воды и медленно пил глотками; его синяя шея была открыта, по жесткому горлу катились бугры глотков. Потом Эриксен снова взвалил дерево на плечо, он шел теперь легко впереди, подкидывая на плече ношу. Звериная сила жизни играла в нем. Они спустились к жилью, сложили ношу и легли в тень на мох. Солнце скатилось вниз, лоснящиеся черепа валунов засияли побоищем, большая серая птица низко пролетела над спящими, села на камень подле и долго глядела боком; рыбак вздохнул, она тяжело снялась и полетела к горам, через горы, к океану.

### III

Эриксен принес на берег мачту и смолы в долбленном челноке. Смолу гнали зимой лопари. Он оставил лопарю взамен порох и свинца для пуль. Множество чаек сидело на горячем карбасе; они поднялись с криком и сели на воду.

С этого дня началась жизнь на берегу. Рыбак нашел под срывом мыса пещеру. В ней был звериный помет и птичьи кости и пух; верно, жил в ней прежде зверь—барсук или росомаха. Гранитный свод ее был розоват, и в глубине был уступ, как бы ложе. Он застелил его мхом и сделал постель; из трюма карбаса принес он еще доски и сколотил стол. Он завесил вход одеялом—стало жильё.

Рыбак обтесал сосну, приладил новую мачту; он починил обломанный фальшборт и засмолил карбас. Он написал дегтем на его борту новое имя—Мария—и засмеялся. Теперь мог он выйти в океан, и мог при удаче поплыть в далекую Норвегию, у него был—крылатый конь, победитель бурь, хозяин морей—засмоленный отличный карбас „Мария“ с запасным парусом, с новенькой мачтой, которую сам он принес на плече с гор. Он стоял на корме, засунув руки в карманы, сердце его легко несло, опережая парус. Тугая сила, желание труда, борьбы, железного перехвата паруса или тяжести рыбы, напорившейся на крюк наметки, жадно бродили в нем.

К вечеру, когда начался прилив, он скатил по бревнам карбас в воду. С запада подул ветер, легкий вест. Эриксен уперся багром в камень, он медленно вывел карбас на середину бухты, и легкий ветер забился в парус, он округлил его покатою девичьей грудью, черные рифы шли мимо, мимо шел мыс в полосах вековых наслоений, впереди легко, бескрайно открылся океан. В полотняном свечении вставала солнечная

ночь. Гладкая морда тюленя поднялась любопытно и кротко смотрела в мир. Большая рыбацья звезда, багровая звезда-водитель медленно всходила на востоке. Эриксен собрал парус; он стал на ночь на лов. Начался труд рыбака—таинственное ночное дело рыбащей. Он разобрал снасти, намотал на руку наметку и медленно пустил в глубину жестяную бляшку с крючками. В глубине дремала, ходила тяжелая глупая треска. Она видела блестящую бляшку, крутившуюся от течения, она слепла от восхищения и шла на бляшку, пока ей не пропарывал брюхо, глаз, бок крючок, и тогда волокли ее кверху на крепкой бичеве, недолго билась она на дне рыбацье лодки и кротко засыпала, навеки распялив рот.

В эту первую ночь улов был обилен, шла крупная ровная рыба, она пудами ложилась на дно карбаса, и сердце рыбака покойно билось. Он был один в океане, звезда-водитель померкла, и также были одни в океане десятки других рыбаков, они добывали со дна золотую добычу, и труд их был—первый труд человека на земле. Эриксен пробыв в море сутки, он привез назад в бухту пуды рыбы, и рыбы головы впервые заблестели между камней. Он сидел на камнях и острым ножом взрезал рыбе брюхо, он выбрасывал внутренности и головы, он добывал максу—драгоценную рыбу печень. И здесь он впервые подумал, что для труда его нужна женщина. Женщина будет вялить рыбу и взрезать ей брюхо, она будет выходить с ним в море. Он взрезал большую платиновую рыбу, привычно опутал пальцы скользкими кишками и задумался. Ему нужен был еще зуй—мальчишка, который будет распутывать снасти и веселить сердце детской песенкой.

#### IV

Лопарь пришел с гор и принес двух гусей и десяток рыжих беличьих шкурок. Он взял взамен провяленной рыбы соли и сухарей. Глаза его были обвислы, жидкая слеза лежала в них. За неделю океан изменился. Он вздулся норд-вестом и потемнел. Большая тяжелая волна шла, она разбивалась о рифы, и океан глухо ревел в ночь. Тысячепудовые глыбы воды лезли на мыс, они не могли одолеть крутизны и с воем срывались. Эриксен выстелил ложе беличьим мехом; от меха остро пахло зверем, ложе теперь стало покойно, на него не пожаловалась бы и молодая жена.

Лопарь прожил у него три дня; они засолили рыбу в боченки и ушли вместе в горы. Пока бушевал океан, можно было идти на зверя. Эриксен утром зарядил ружье пулей и ушел из поселка. Норд, как пастух, низко гнал над горами безумные отары туч; с сбившейся шерстью, с обвисшими брюхами, они бежали на запад; в горах был холод, океанно чернели ущелья. Горные

озера надулись, ветер строгал в них воду. Весь день блуждал он в горах, ночь захлесталась ливнем. Он забрался в ложбину горы, под камень, забился плотнее и уснул. Ночью чье-то дыхание коснулось его лица, большой неизвестный зверь обнюхал его; он закричал, схватился за ружье; зверь исчез; он выстрелил вслед в темноту, в ливень. Горы ответили страшно, словно дрогнул мир.

Утром, на рассвете, нашел он во мхах олений след. Олени шли здесь на воду. Он пошел по оленьей тропе, дождь утих, мох был мокр. Каменная терраса уходила десятками миль. Он шел тяжело, выгребая ноги из мха. Он прошел мили—одну и другую, внезапно за мокрым розовым валуном увидел он сохача. Сохач был сторожевой, он дремал, прекрасные ветви рогов были вычернены. Человек затаил дыхание, сердце его всколыхнулось, медленно снимал он с плеча ружье. И сейчас же повел ноздрями олень, он легко вскинулся в воздухе и мгновенно исчез. Человек побежал за ним следом; в чаще шел треск, олени пробивали дорогу. Он пробежал полмили, все было глухо, зверь ушел; тогда он сел на землю и бросил на землю шапку. Он сидел на земле, в тяжелой испарине, сердце его колотилось, зверь ушел, первая охота его была неудачной. Он отдышался, наконец, и побрел назад; он прошел обратно полмили, он вытирал лоб, внезапно сердце его снова поникло... Сохач стоял на увале, ветви его рогов были закинута на спину, он учувствовал воздух—другой ток, с гор. Тогда человек стал сам легким, ползучим, в этот миг узнал он в себе первородное звериное начало: зверь шел на зверя. Олень чуял тревогу, он унюхивал воздух, но воздух был чист, и олень был прекрасен в тревоге.

Его живые ноздри дрожали от токов и, вероятно, прекрасны были трепещущие олени глаза. Человек шел к нему с ружьем, на мушке ружья была голова оленя; человек подходил ближе, он обошел зверя, теперь виден был весь олень, еще горячий от бега, в напряженных мышцах, готовый сорваться, сторожевой пестун. И внезапно олень учуял. Только на миг шевельнул он горячими раздутыми ноздрями, на один лишь наклон повернул он рогатую голову—и увидел человека. И сейчас же пружиной бросило его в высоту, крепко сжались в полете под грудь передние ноги, и тогда разорвало землю, его, гранит—ударом. Он сделал полет и рухнул. Он рухнул на бок, он хотел еще снова подняться в полете, ноги его забились по мху; темный, трепетный глаз человечески смотрел в мир; розовый язык был закушен, тяжелая красная пена лезла из устья рта. Зверь и человек бились в это утро, и человек победил зверя.

Эриксен в полдень привел с собой лопаря. Коротким кривым ножом снял тот с оленя шкуру; они топором разрубили тушу и понесли ее вниз. Пришлый человек был большой охотник, значит, был он настоящий человек. Лопарь вытер салные руки о волосы, он повел за собой охотника к розовым



глыбам валунов, лежавшим за поселком. Меж валунов стоял чурбан, обмазанный салом, в комьях налипших волос. У чурбана были намечены плечи и нос. Лопарь принес в котелке оленьего сала и снова обмазал чурбан: меж валунов была моельня лопарей. Чурбан был бог солнца и охоты. Лопарь оперся руками о землю и трижды прилег щекою к земле. Потом заставил он пришлого проделать то же. Теперь были они как бы братья друг другу, люди одной звериной веры.

Эриксен вернулся на берег через день; он завесил оленьей шкурой каменный вход. Теперь был дом, мягкое отличное ложе, он был один в доме, ему нужен был спутник. Океан утихал, заплетаясь белыми гривами. На мысу нежно всю ночь стояли гагарки.

Утром на камне увидел он зверя. Зверь был грязновато-бел, с острою черною мордочкой; это мог быть белый песец. Рыбак взял ружье и шагнул из пещеры. Зверь никуда не ушел, а отбежал в сторону, зажав между ног белый пушистый хвост. Это была собака, белая лайка,—откуда она пришла сюда и от кого отбилась? Он посвистал ей, хвост ее, было, дрогнул, она отбежала дальше, она не верила человеку. Тогда он принес кусок оленины, положил на камни и ушел в пещеру. Собака постояла, она смотрела на вход в пещеру; наконец, поджав хвост, она подошла, схватила кусок и унесла прочь в горы. Тогда он положил новый кусок; ночью, верно, она пришла и унесла его. Он стал класть куски ближе к входу, ночью он слышал, как она приходила, рвала зубами мясо и хрустела костями; к утру она уходила. Тогда он перестал класть куски на ночь, он клал их поутру. Постепенно он приучил ее приходить днем. Он давал ей пищу из рук. Сперва она вырывала и убегала прочь; наконец, он привязал ее веревкой у входа. Она поскучала два дня, поскулила и привыкла. Теперь он был не один. Собака стерегла его дом. Он крепко вымыл ее крупным песком, белая шерсть запушилась снежно; у собаки были глаза женщины, она была самка, и он назвал ее Фру.

Он снова ушел на сутки в океан; улов был опять обилен; шла большая треска. Он опять чистил рыбу на камнях, чистить рыбу был женский труд, все было бы хорошо, если бы помогала ему чистить женщина. Ему нужно было бить зверя, крепить парус—тяжелая, ровная сила лежала в шарах его мышц. Купаясь в бухте, сходил он по круглым большим камням, обмытым океаном, он видел в воде себя—весь свой рост, ровные скользкие бугры мышц, рыжеватый волос своего тела. Однажды, увидев себя, он засмеялся, и тот, отраженный, тоже засмеялся в ответ. Чему они смеялись? Вероятно, тому, что были оба молоды, крепки, что тугая сила двадцати пяти лет билась в них. Теперь у него был недостаток—бочки трески, карбас, которому могли бы позавидовать другие рыбаки, наконец, дом, завешенный шкурой оленя, убитого им самим. На полу лежали

прекрасные ветви его рогов; сердцевину их выдолбил лопарь, он делал из нее волшебные порошки для мужчин.

Лопарь пришел с гор снова, он ничего не принес с собою, ему нужна была соль. Эриксен дал ему соли, он показал лопарю, как много засолено трески, ему нужна работница—чистить рыбу; лопарь бывает в становище,—может быть, найдется женщина, которая согласилась бы ему помогать; женщина может быть немолодая, лишь бы знала дело. Он будет кормить ее и даст ей часть улова. Лопарь через день ушел назад. С ночи задул норд, на океане начинался шторм. Дикими голосами выл океан. Ему вторила каменная опустошенная земля. Человек и собака забрались в пещеру. Ветер рвал шкуру у входа, дождь заносило внутрь. Эриксен завернулся потуже и уснул под рыдания ветра.

## V

Ночью в силок лопаря попал серо-желтый гибрид. Он попал в силок лапой и плакал два дня человеческим голосом. Лопарь ушел к рыбакам в становище. Когда он вернулся, зверь уже изнемог и предсмертно щерил мелкие зубы; гибрид линял, мех его стоил дешево в эту пору. Лопарь положил его в мешок и понес на берег. Он шел не один. Он захватил с собой в становище поморку. Поморке было 16 лет; в прошлом году возле Семи Островов в шторм погиб ее брат; отец погиб раньше; она осталась одна в становище, она была для чужих за зую и весельника, как мужчина; за труд давали ей рыбину. У поморки было худое девичье лицо, почерневшее от труда; глаза у нее были синие, чуть косившие, волосы изжелта-серые, по-глаза был повязан платок по-старушечьи. Она была очень сумрачна, молчалива; она молча шагала за лопарем, выгребая из мха ноги в мужских сапогах.

Эриксен чинил на камнях снасти; он отбивал камнем крючки и точил их обломками камня. Поморка знала по-норвежски пять слов: в становище часто приходили норвежские рыбаки. Они сговорились—он обещал ей часть улова; она умела солить рыбу, наживлять снасти, ходить на веслах. Она просила еще новые сапоги и материи на платье. Он должен был видеть сначала, как умеет она обращаться с рыбой, правильно ли чистит ее для засолки.

Шторм прошел, вечером взял Эриксен поморку с собою на лов. Океан еще тяжело ходил после шторма; едва карбас вышел из бухты, стало его валять, иногда большая волна перекатывалась через него. Все же ушли они на пять миль, всю ночь дрогли они в океане, поморка умела обходиться с наметкой, была рождена она на воде и воду знала лучше, чем землю. Улов был плохой, рыба глубоко ушла от шторма. За ночь закоростели оба они солью, продрогли, руки его были

в рубцах от канатов, ее—от мокрой наметки, разъедающей кожу солью. Она была отличная рыбарка. На утро они вернулись в бухту; она умела чистить рыбу и клала ее в засол, как надо. Тогда он обещал ей новые сапоги и материи на платье. Он подарил лопарю за работницу три больших рыбины и листового табаку. Поморка ушла с лопарем обратно; шла она в становище за вещами. Воробьиные ночи светились фосфором. Ровный обещающий ветер дул с запада. Звезда рыбаков померкла с ночами; небо было беззвездно, бездымно, бездумно. Эриксен подстриг отросшую бороду. Он опять ушел в горы и набил гусей. Надо было прекращать охоту: гусыни сажались на яйца.

Когда он вернулся на берег, поморка сидела на камне и чистила песком котелок. Она пришла уже в дом служить—и была женщина, хозяйка. Она чистила старательно, и детский ее рот был полуоткрыт. Синие ее глаза чуть косили—очень мило. Вдруг ему стало весело. Он спускался с горы, напевая. Он стал перед ней и улыбался, не зная чему. Она была сумрачна и истомлена мужским трудом; она ни разу не улыбнулась. Тогда он показал ей добычу. В этот вечер ужинали они вместе, в жирной гусыне нашла она шесть желтых янтарных яиц. Голубой дым, нежнейшее марево лежали над океаном. Ночь была легка, как гагачье перо. Он ушел на мыс и долго смотрел в океан. Золотой жучок полз по нему—огонек на фок-мачте далекого парохода: люди шли куда-то океаном. Когда он вернулся назад, она уже готовила себе постель, она постелила пестрое свое одеяло снаружи, у входа. Она сняла платок и расчесывала гребнем свои желтоватые волосы. Он взял ее одеяло и унес в глубь пещеры. Он настелил им свою постель, а сам ушел спать на карбас. Она уснула в пещере, все было необычайно, она была в доме, как полноправная, она спала на ложе хозяина, на беличьих шкурках. Тогда в первый раз она улыбнулась, засыпая.

Ночь шла, голубея, белея, набухая желтком свежего солнца. Эриксен сидел на корме, он курил, серые глаза его смотрели на бухту; чайки спали на воде. Иногда по-детски вскрикивали гагарки. Через неделю за ним должны были приехать рыбаки, чтобы увезти с собою на родину. На родине у него не было дома. Здесь у него был дом. На карбас пришла Фру, блохи не давали ей спать. Она пушисто легла у его ног; он поласкал ее кончиком сапога. Ночь шла.

Утром никто не будил поморку: она трижды просыпалась и трижды засыпала снова; в пещере было темно. Наконец, она вышла. Желтый океанский полдень лежал над бухтой; горячий округлый камень и голубая вода. Берег был пуст, никого не было: наверное, снова ушел он в горы с собакой. Она достала из своего тряпья обломок зеркала и погляделась: черноватое ее лицо было чуть розово от сна. Вдруг она снова улыбнулась—

во второй раз на этом берегу. Она достала еще обмылок мыла и чистую розовую рубашку. Она пошла к бухте, выбрала защищенное место — между валуном и карбасом, — села на камни и разделась. Она увидела себя в воде — в прозрачной воде до розовых на дне и голубоватых камней — во весь свой девичий рост, и вода ничего не сказала, что видела неделю назад сильного мужчину в буграх мышц и желтоватом курчавом волосе. У нее было худенькое тело подростка, ничего не узнавшее, и золотистый пух тремя нежнейшими гнездами. Она стояла, закинув за голову руки, и смотрела в воду. Вдруг она засмеялась — в третий раз. Она сложила руки на груди и медленно вошла в воду. Был час прилива. Дремавшая чайка снялась, полетела прочь, не часто махая замшево-белыми крыльями с траурной каймой. Тогда поморка села на камни, ей впервые вдруг захотелось отмыть въевшийся запах рыбы. Словно песком, оттерла она до медного блеска желтовато-серые волосы, она плескалась и фыркала, как молодой зверь, — она была одна на берегу, да большие серые птицы на круглых гнущихся крыльях носились над ней. Потом она надела чистую рубашку; она шла берегом босыми ногами по гладким горячим камням; она села на пороге дома и расчесывала гребнем золотисто-медные волосы; солнце жгло голые плечи. Так, — впервые за много лет она отмылась; она увидела розовые ладони огрубевших рук в неотмываемых трещинах и маленькие розовые ступни своих ног, привыкших к мужским сапогам. Она расчесала волосы, они сыровато опутали плечи; за спиной был горячий гранит. Солнце туго наливало тело теплом, золотые потоки залили виски, красный мир пламенел за закрытыми веками; она прижалась щекой к граниту, рот ее был приоткрыт, она слабо улыбалась — чему? Потом долго становились на место плывущие камни, облака, голубая вода залива; черноватые скулы ее горели. В это утро впервые проснулась она для жизни.

Она была женщина в доме, надо было в звериной берлоге сделать дом. Она все убрала, вымела, настелила постель, оттерла песком посуду. Она долго отвивала яруса снастей, развешанных по камням. Потом она снова повязалась платком поглаза и села ждать хозяина. Она сидела на камне и пела; ей было шестнадцать лет. Она знала труд, борьбу с морем, запах рыбы, чужую долю; никто не был с ней ласков; иногда молодые рыбаки грубо шутили с ней, они прихватывали ее в углу и мяли; с почерневшим скуластым лицом, она молча отбивалась локтями — она была холодна, скользка, как рыба, были другие девушки — горячие и податливые; ее скоро оставили совсем; она исполняла свой труд, черный, мужской труд; ее не замечали. Она была угрюма, черна, замкнута.

Эриксен вернулся под вечер. На этот раз он ничего не убил. Он поскользнулся на круче и острым камнем поранил себе лицо. Руки, щека, борода были в крови. Она увидела

кровь и ужасно побледнела; она вдруг забыла, что он хозяин; она велела ему сесть; она говорила сурово, брови ее были сдвинуты. Женскими ловкими руками промыла она ему расщепленный висок, она разорвала чистый платок и перевязала рану так ловко, словно тысячи перевязывала ран. Он сидел—большой, неловкий, бородатый, беспомощный, как все мужчины в беде. Теперь она правила домом, им—так случилось, у нее были ловкие руки, она знала порядок. Он потерял много крови, она проворно постелила ему постель, уложила, села сама у входа. Он скоро уснул; ночью дважды он вскрикнул, она давала ему воды. Тогда он видел девичьи брови, скулы, озабоченный рот, как будто жили они вместе множество лет. Он проснулся поздно, она спала у входа сидя, как уснула, щекою к стене: она сторожила его. Он никогда не знал жалости неизъяснимой такой; теперь разглядел он ее лицо—замученное, очень милое, ровные белые матовые зубы. Он поднял тихонько ее, сонную, и отнес на свою постель, она не проснулась. Потом ушел он на берег, умылся, развел огонь; он ждал ее с чаем. В это утро вместе они пили чай; она меньше дичилась, она сказала три слова—на чужом языке. Тогда он взял камень, положил на ладонь и назвал его по-норвежски; она повторила; он показал на карбас и назвал его по-норвежски; она повторила снова—и засмеялась, засмеялся и он. Так стал он учить ее языку.

Через день они снова вышли на лов. Океан был синь, нежен, как тяжелый прирученный зверь. Он тихо плескался о борта; множество рыбацких лодок вышло на промысел. Белую ночь отражал океан, они медленно припадали друг к другу, слились, плыли в безысходной нежности. Тяжелый пароход в огнях близко прошел мимо; черная косая труба его была окрашена оранжево-красным кольцом: пароход шел из Норвегии. Эриксен стоял на корме, он долго смотрел вслед сородичам. У него была теперь—своя земля, новая родина. Он стоял на корме, наметка со свистом сползала с его руки; он давал ей уйти на дно, тогда он принимался дергать ее вверх ровными толчками; сейчас же тяжелела наметка, крупная треска шла на жестяную рыбешку. Он сбрасывал рыбу на дно, рыба билась еще немного и затихала. Поморка стаскивала ее за хвост на корму, там укладывала она ее серебряно-платиновыми штабелями. Она была озабочена, она была—помощник, хозяйка, спутник. Были теплые нетревожимые ночи, штиль, великий сон океана. Они вернулись назад через сутки, они вошли в свою бухту, бухта была—их домом, пристанищем. Тогда он впервые спросил поморку об имени—ее звали Марья, Мария; у бухты не было имени, он сказал поморке с кормы, что у бухты есть теперь имя, бухта будет впредь—бухта Мария. Она не поняла сначала; когда поняла—черноватые скулы ее покраснели; она сидела на скамейке, подобрал ноги в мужских сапогах.

Рыбу засолили, задули восточные ветры; океан круто закопошился. Эриксен взял ружье и ушел к лопарю. Лето было на зените, оно должно было скоро надломиться. Он ушел в горы—она осталась одна с собакой, она начала было делать что-то по дому, день шел, подходил вечер, и она поняла вдруг, что скучает без него. Ничего не хотелось ей делать, его не было, дом был пуст. Фру научилась в расселинах находить яйца гагарок; она возвращалась со слипшейся шерстью у носа от желтков. Поморка ушла на карбас, села на носу, смотрела на залив. Бухта Мария чернела рифами, о рифы разбивалась волна. Осенью уйдет он на родину; она вернется назад, в становище. Она получит часть улова, сапоги, материю на платье. Она положила голову на руки и заплакала. Наплакавшись, она уснула от слез здесь же, на карбасе. Ночью подул восточный ветер, ей стало холодно. Она вернулась в пустой дом, дом был теперь зверино-обжит, много бочек с рыбой стояло у дома—это был их труд. Бухту Марию занесет снегом. Он не пришел на другой день, сердце ее билось зыбко, казалось ей—где-нибудь снова сорвался он с кручи, упал в пропасть. К вечеру она взяла собаку и пошла его искать. Губы ее были бледны и крепко сжаты; она вся вдруг почернела. Она одолела гору и пошла на восток. Он шел здесь, тут был сломан сучок, здесь лежал пепел—из его трубки: у нее тоже было звериное чутье поморки. Она прошла несколько миль, устала и села на мох. Никого не было, не было его следов; наверное, она никогда не найдет его. Сердцу ее было шестнадцать лет, оно скучало впервые, оно никогда не знало прежде отчаяния; теперь оно узнало его вполне. И здесь, на мху, от отчаяния и слез, она уснула.

Она вернулась домой через сутки. Она была измучена, устала, голодна. Он сидел у дома, курил. Она увидела его с горы, сердце ее припало от радости. Она шла к нему быстро, она улыбалась измученной улыбкой и не могла сбросить с лица эту жалкую улыбку счастья. Но лицо его было холодно, глаза холодно смотрели на нее, сдвинутые морщинкой. Он вернулся домой и не нашел ее. Он прождал ее полдня—она не возвращалась. Тогда он решил, что ушла она в становище, вероятно, тянет ее домой, скоро осень; наверное, ждет ее кто-нибудь, с кем-нибудь был у нее сговор, поморки рано выходят замуж. В этот день он впервые подумал о ней—женщине; в доме недоставало ее проворных, сильных рук. В конце концов, дом был ей чужд, временное пристанище, служба. Он взял ружье и убил на берегу зря трех чаек и пару гагар. Они были ему не нужны, жестокость была ни к чему: душе его нужен был выход. Тогда улыбка ее обескровилась, она только служила здесь, об этом она забыла; она замкнулась, стала опять сумрачна. Они ужинали молча. Он смотрел на огонь, он хотел спросить ее—был ли у нее с кем-нибудь сговор в становище.

Она знала, что скоро разойдутся они в разные стороны; ей было тяжело, как никогда. Никогда мужской непосильный труд не утомлял ее так, как это раздумье. Она перемыла посуду и ушла на берег одна. Он закурил трубку, он ушел на мыс и долго смотрел в океан. Ночи уже сдвинулись, молодые гагарки плыли по воде—это были новые выводки. Скоро должны притти за ним рыбаки, товарищи по общему их промыслу. Карбас их—общий, снасти тоже. В Вардэ продаст он свой улов и уйдет на зиму искать работы в Берген, в Христианию, он может быть неплохим плотником, столяром. За сдвинутой ночью снова, пока еще бледно, зажигалась на востоке путеводная звезда рыбаков.

Они встретились на берегу; она хотела пройти мимо; он взял ее за плечо; она стояла, потупясь; наконец, она подняла голову, глаза ее были измучены, полны слез; тогда он обнял ее за плечи и поцеловал в щеку, потом в глаза. Она страшно забилась, хотела убежать и вдруг вся поникла; золотая прядь скорбно упала ей на щеку. Он посадил ее с собою на камни; он спросил ее обо всем, о чем думал; он говорил с ней на чужом языке, но она сразу поняла, она яростно закачала головой, слезы тяжелыми зернами посыпались из ее глаз. Тогда он стал перед ней на колени, никогда сердце его не было полно такой непостигаемой нежности, он глядел ей в заплаканные глаза, он говорил, что он не поедет в Норвегию, что у него нет другой родины; что если не вернется она в становище и останется с ним—он не уйдет с этого берега. Он в первый раз в жизни был так взволнован, губы его чуть дрожали. Она глядела в его глаза, серые, туго сдвинутые тяжелою складкою; вдруг она вздохнула, голова ее сникала, она положила ее ему на плечо; лицо ее стало без кровинки. Он легко поднял ее на руки и понес в дом; рука ее билась о его спину, как мертвая. Как летние дни, дошли ее шестнадцать лет до зенита, они сдвинулись—в эту ночь вышла ее душа из бездумья и припала тяжелою птицей.

Он проспал всю ночь у входа; он больше не подошел к ней в эту ночь. Он дал ей оправиться, собрать себя, все проверить. Он снова утром отправился в горы, весь день она была одна. Она ушла на берег, разделась, опять увидела в воде всю себя в наготe. Она сильно поправилась за свою жизнь здесь, не было больше углов костей, худых непомерно ног. Стиснув на груди локти, она ушла в воду; она стояла в воде по плечи, ровно, сине лежала вода бухты Марии. Что-то словно отплывало в этот час, с чем-то невозвратно она расставалась. Было ли грустно?—нет; больно?—горькая сладость. Она крепко умылась, высушила волосы. Она заплела косу и не надела платка. Зной был легок, к вечеру с океана шел уже холодок, холодновато стыла бухта.

Он принес на плече под вечер большого черного лебедя.

Это была прекрасная птица, как траурное знамя. Поморка ждала его у огня, не поднимая глаз; они не сказали о вчерашнем ни слова. Он увидел впервые ее тяжелую косу, девичью открытую шею, освобожденную грудь под розовым ситцем. Они ужинали молча; потом взял он свою постель и унес на карбас. Он сел на карбасе и закурил трубку; впереди—была ночь. Он выкурил трубку, лег, над острою мачтой всходила, наливалась большая колючая звезда. Он глядел на звезду: миры пронеслись, тлели, лились в ней. Вдруг он поднялся и прыгнул на камни; он шел по камням, они сухо гремели, перекатывались под его ногами. Он откинул оленью шкуру, и тотчас что-то поднялось в глубине, забелело; он вытянул руки, он шел вперед с вытянутыми руками, руки нашли ее плечи, она ждала его, он услышал, как бьется ее тяжелое сердце. Тогда он обнял ее плечи, он коснулся губами ее губ, и сейчас же с легким криком она опрокинулась навзничь. Это был крик как бы птицы, крик всколыхнул его, так кричит самка, готовая для любви, и он знал этот крик, как зов,—он был охотник. Тогда он стиснул безжалостно ее худые шестнадцатилетние плечи и сделал ее женой, как самец—по праву добычи, удачи и звериной поры любви.

## VI

Рыбаки пришли в бухту Мария на трех карбасах. Шли они артелью на промысел, улов был удачен, рыбаки осипли от ветра и спирта, они сразу наполнили бухту человеческой речью, криком и прочными запахами далеких городов. Еще три раза выйдут они в океан, потом задуют осенние ветры, тогда останутся они зимовать на берегу, на берегу есть веселые кабачки, и крутая зима не страшна на земле для удачливых. Рыбаки пришли за товарищем, они сошли на камни бухты Марии, они хлопали товарища по плечу и смеялись, он был весел и цел, он тоже смеялся и хлопал их по плечу. Они пришли за ним, чтобы вести его назад, на родину, они смотрели на новую мачту карбаса, хлопали его по плечу и гоготали, словно сыпались круглые камни, у них были каменные лица и белоснежный кремень зубов.

Он повел их с собою на берег, он показал им бочки засоленной рыбы, они снова начали гоготать и хлопать его по плечу, это был большой улов, он был богат теперь, богат на всю зиму рыбацким богатством; он показал им еще—свой дом, завешенный шкурой оленя, которого он убил сам, он был хозяин на этой земле, и он показал им еще молодую жену, которую добыл здесь на берегу, как добычу. Тогда рыбаки стали страшно гоготать, они хлопали его по плечу и спине, он был настоящий рыбак и добытчик, и у него была молодая жена, проворная, как молодой зверь. Все это надо было крепко залить спиртом,



отличным спиртом, который везли они с собою из самого Бергена, надо было набить дичи и завести пир горой. Трое ушли на озеро и набили дичи. На берегу зажгли костры, рыбаки сидели возле костров, пели всю ночь и валились на камни от спирта; они пропивали холостого товарища, и это надо было хорошо пропить. И надо было совсем пропить товарища, потому что отбивался он от артели, как перелетная птица, он выкупал на рыбу карбас и оставался на берегу; он сошел, наверное, с ума, от молодой жены всегда сходят с ума, и он оставался здесь зимовать на берегу. Он просил только за его пай и добычу прислать ему с пароходом досок для жилья, припасов на зиму и снастей. И рыбаки круто пропили его. Они пропили его на вечные времена, потому что кончился свободный рыбак, и отдал рыбак якорь на земле.

Они проспали день на камнях, сожженные спиртом и солнцем, и уже через день ушли в море, в обратный путь. Они увезли с собою его улов; берег опять был пустынен. Надо было снова много трудиться. Эриксен стоял на мысу, он смотрел, как уходит парус: сначала был он, как ухо зайца, потом садился в море все глубже — он ушел в море и унес с собою людей и запах привычной земли. Тогда рыбак спустился с мыса, он был задумчив; он подошел к жене, она быстро посмотрела ему в глаза: его глаза тосковали. Она потащила было сеть по камням и вдруг села на камни и зарыдала. Она говорила, что уйдет назад в становище, никто не венчал их, пусть едет он обратно на родину, зачем тосковать ему здесь с нею, ей ничего не нужно. Тогда он сел рядом на камни, он обнял ее мокрое лицо, он говорил, что родина человека там, где ему хорошо; здесь ему хорошо — значит, здесь его родина; ушли товарищи, ему грустно, впервые оставляет он их навсегда. Все прошло, не вспоминает он ни о чем; теперь надо готовиться к зиме, надо много наловить рыбы, чтобы запастись на зиму. Там, на родине, был бы он всегда батраком; здесь он сам по себе — господин и хозяин. Она слушала его и мало понимала, но она ему верила; ей было легко с ним, он не обманывал ее, он был с ней нежен, заботлив; она отдала ему только то, что имела, имела она — душу, не более; это было — его. Тогда с этого дня они решили трудиться, наловить много рыбы, готовиться к суровой зиме.

Пришел лопарь и принес еще шкурку белки. Белка начала линять. Лето надломилось, шла осень. Полуночное солнце кончалось, вечерами был сумрак. Лопарь прожил на берегу два дня. Скоро из-за камня придут лопари. Белка линяет, станет синюхой. Зимняя белка дороже, зимой по следу можно напасть на дорогого зверя — на голубого песка или на черную лисицу. Опять ушел лопарь. Океан потемнел перед осенью; молодые чайки дрались из-за добычи: они подхватывали на лету пух, пронзительно кричали, сбивали друг друга

крыльями. Из-за гор—с востока, с Гренландии—с севера, со льдов—двигалась осень. Они выбивались из сил—так много трудились они, чтобы успеть до зимы. Трижды вышли они на улов, опять новые бочки полны были до верху засоленной рыбы; чешуей, рыбьими головами блестел берег; руки ее до язв изъела соль, иногда она вспоминала про раны, боль была блаженной. Она трудилась для него, он был муж, ее водитель, она нашла, наконец, свой берег—прочный, единственный берег, о котором не думала прежде—был этот берег за тридцать непройденных земель. Она похудела от изнуренья, но глаза ее были пробуждены для жизни, глазами жило лицо. Он был добр, беспечен, как все мужчины, мало бережлив. Когда было много рыбы, ему было не жалко, он мог отдать лопарю за шкурки, сколько тот пожелает. Она хозяйски прибрала все к рукам, в ней была крестьянская бережливая кровь, она давала лопарю столько рыбы и сухарей, сколько давали ему в становище, не более. Она знала теперь много слов на языке мужа; на этом языке они сговаривались, она пыталась говорить. Раз она сказала: разве они—муж и жена. Они живут так, просто потому что сошлись. Завтра подует ветер, разнесет их в разные стороны. Он стал уверять ее со страстью, с убежденностью мужчины. Берег был пустынен, когда он сошел сюда; он не думал, что встретит на берегу ее. Он ее встретил, теперь они вместе, чтобы быть вместе всегда. Его волновало в ней еще многое: разбуженная молодая женщина вдруг в худеньком, почерневшем от труда и сиротства, этом существе, ненасытная, более жадная, чем он сам. Она слушала его печально. Она сказала: говорит он не так. Люди, которые хотят быть вместе, венчаются в церкви. Пусть так, сейчас много труда, сейчас осенний улов, надо готовиться на зиму, сейчас она ничего не просит. В становище есть церковь, осенью, когда кончится лов и засолка, они могут уйти в становище и там обвенчаться. Она сейчас же добавила, что ей ничего не нужно, все здесь—его, она знает, что у нее ничего нет здесь, кроме того, что она заработала, она ни о чем не просит, ей нужно только, чтобы люди не говорили дурное. Она сказала это и стремительно заплакала. Она думала о том, как придет с ним в становище, все узнают, что он становится ее мужем, ее гордость—он лучше всех; парни, которые позволяли себе лишнее, не посмеют с ним тягаться; сейчас же она поняла—о чем она мечтала? Разве станет он с нею венчаться, многие девушки на его родине пойдут за него.

Тогда он, большой, стал перед ней на колени, он положил ей на передник, пропахнувший рыбою, голову, он обещал, что как только они уберутся на зиму, они уйдут в становище и там обвенчаются. Она слушала, не верила, сердце ее колотилось. Она погладила его курчавые волосы—это была голова как бы ее ребенка, единственного существа, которым выткана

была ее жизнь. И сейчас же она всему поверила—ей было шестнадцать лет, ей зверино хотелось счастья, она поверила ему и засмеялась; тогда он схватил ее за руку и поволок ее за собою, он звал ее с собою наперегонки, в нем были силы молодого зверя, когда нужно кричать, бегом одолевать кручу, нестися неизвестно куда, только бы туже, стремительней напрыгала кровь жилы. Она бежала за ним, спотыкаясь о камни, она притворно сердилась и вырывала руку, она кричала, что он вывихнет ей руку, но он волок ее за собой по камням, он одолел с нею кручу, он бежал с нею дальше по мху, и здесь, разбежавшись, выпустил он ее руку, она пронеслась еще вперед и рухнула на теплый незабываемый мох. Она лежала на мху, рот ее был приоткрыт, небо, облака качались над нею. Она перебирала пальцами шерстинки сухого мха. Глаза ее, потемнев, тускло смотрели мимо; неистовая истоста пронзила ее; она стиснула сгибом руки его шею и закричала от неузнанного в такой мере, неистового блаженства.

## VII

Пароход привез доски и припасы на зиму. Пароход стал у бухты и ревел, вызывая обитателей; пароходы никогда прежде не заходили в бухту. Тогда из бухты вскоре вышел карбас. Капитан спросил в рупор у человека на карбасе—он ли Эриксен. Если он Эриксен—пароход привез ему из самого Бергена доски, муку, припасы и гвозди. В карбас кинули веревочный трап; загрохотала лебедка. Пароход был швед, траурно-черный, с огненным килем; пароход торопился дальше. Он сгрузил все, что привез, и пошел дальше—в далекий путь. Спокойные сероглазые шведы вели его. Пароход взял на румб на восток, он оставил траурную ленту дыма на многие мили—и ушел.

Теперь были на берегу доски для нового жилья, бочки для рыбы, припасы на зиму. Пароход ушел к далеким городам; здесь на пустой земле—надо было строить дом, человекье жилье. И человек начал строить. Человек сложил из камней фундамент, он скрепил их цементом; потом засвистел фуганок, розовые живые стружки завились между камней. Эриксен строил дом, пока еще досчатый летний дом; к зиме он хотел успеть обшить его тесом, проконопатить мхом. Надо было спешить; он работал целые дни, она помогала ему распиливать доски, собирала корзинами мох; она была—лучшая спутница, он был с нею счастлив вполне; он строил дом на берегу—и знал, зачем его строит. У огня вечерами он лежал головой на ее ногах; красною шерстью горел в огне жаркий мох; он следил, как ползли, шевелились червями горячие корни жизни: огонь—была жизнь, жизнь была—вода. Первородный человек, далекий праотец дремал в нем. Верно, у того были такие же серые спокойные глаза, белокурая борода, громадные рабочие

кисти рук в синих, набухших жилах. Она легко смотрела мимо, на темную воду залива; грудь ее покойно дышала; в ней была— гавань, бухта Мария дремала в ее душе. Она была жена, женщина; она знала страсть и труд. Вдвоем выходили они на лов, вдвоем строили дом.

К осени, когда задули ветры с севера, дом был слажен; он был еще не обшит, без окон, но это был—дом, и дом этот строили они вместе. Это был не большой дом, и не отличный дом, а рыбацкий дом, достаточный для двоих, он был защищен от ветра, и дом этот стоил им месяцев труда и крови. Дни срезал сумрак, льды возвращались назад, в океан; в ночах грохотал ветер. Большой ветер застал их в океане; это был норд, холодный осенний норд, он сразу забил карбас, залил его водою, тяжелая вода хлестала через карбас, надо было убрать парус и выждать попутного ветра, они бились в океане шестнадцать часов, заледенели от ветра и воды, ветер сорвал красные кубасы их снастей; если погибли бы снасти, погибла бы с ними и их удача. Но ветер через шестнадцать часов спал, он страшно вздыбил и остервенил океан, но все же они не вернулись назад, пока опять не нашли красных кубасов снастей—он был помор, помор всегда найдет свои снасти, какой бы ни бился ветер. Они подобрали снасти и вернулись обратно, в бухту; земля показалась им найденной вновь.

И осенью в бухту пришло рыбацкое счастье—осенью в бухту зашла сельдь. Она искала пристанища на зиму, где бы можно—как только наступит рыба пора—начать метать икру. Она простодушно зашла в его бухту, это был неслыханный дар океана, благоволение его удаче, их счастью здесь, на берегу; и она вся полегла в его юндах, сотни пудов сельди запутались в его юндах, она вся осталась в бухте, его добычею, в его руках. Разве мог одолеть он такую громаду, он послал ее берегом в становище продавать рыбакам, лишь бы не сгибла рыба. Она пошла через горы в становище. Она не была в становище три месяца, она пришла в становище, и товарки не сразу узнали ее. Она стала круче, она стала женщиной, настоящей работницей; ее окружили. Она рассказала, что в их юнды зашла сельдь, сотни пудов сельди, что, если хотят менять соль на сельдь—пусть едут с ней в бухту; кроме того, нужно несколько солильщиц, за работу им хорошо заплатят рыбой. Сельдь прошла в эту осень мимо становища, рыбаки забрали соль, солильщицы, три ее товарки, поехали с ними. Рыбаки никогда прежде не заходили в бухту. Одни дикие гуси да чайки были в бухте, да на птичьем базаре—гагары. Теперь поморы пришли в бухту, в бухте была жизнь, на берегу развешаны снасти, и на берегу стоял новенький дом без окон. В эту осень один человек был счастливый добытчик, океан подарил ему сотни пудов крупной прекрасной рыбы. Рыбаки выменяли много сельди на соль, загрузили карбасы и ушли назад, в становище.

Солильщицы остались на берегу засаливать остальную рыбу. Это была отличная крупная сельдь, такая, за которую множество новеньких крон заплатят в Норвегии. На кроны эти можно будет сколотить на берегу пристройки, завести на зиму оленей, и можно будет не выходить больше в море за рыбой, а достраивать дом к зиме. Солильщицы проработали неделю, простились с подружкой и ушли назад берегом. С востока шла тяжелая многомильная туча, полная дождей. К этому времени была законопачена крыша и вставлены окна. Дожди хлынули, залили берег, океан, вселенную, вода мешалась с водой, и жалкая твердь в пучинах—земля—была мокра и уныла, как в первые дни мироздания.

### VIII

Раз утром занесло берег снегом. Пришла зима. Дом отсырел от дождей, в щели выдувало тепло, это был дом еще не для зимних метелей. Он содрогался под ударами ветра. Курчавая шерсть лежала на горах, тяжело ходили по океану мутно-зеленые льды. Давно из-за гор вернулись с оленями лопари. Белка уже отсинела к зиме, стала синюхой, тяжелой, зимней отличной белкой. Дважды на берег приходил лопарь; у него было мало пороху; он звал с собою на зиму, в поселок, в свой дом. Вместе зимой они будут ходить на зверя, бить белку, расставлять силки. Его дом—теплый дом, в доме есть камелек, лопари—мирный народ; если гость не сделает им обиды, они примут его в поселок, он будет у них первым человеком. Эриксен все же надеялся на свой дом. Когда грянули метели, дым повалил назад из трубы: он неумело сложил печи, в щели выдувало тепло, с женой застывал он к утру под шкурами; зимний норд гремел в доме. Тогда стало нужно спастись от непогоды, нужно было пойти к лопарям просить на зиму пристанища. Он пришел к лопарям, в поселке дымили думы, олени паслись на мху. Лопари окружили его, были они низкорослы, поросли черным конским волосом, старый лопарь рассказал им давно, что большой охотник поселился на берегу. Лопари курили табак и слушали. Он просил взять с женою его на зиму в поселок; у него есть порох и дробь, у него засолено много рыбы; он будет вести весь порядок поселка; дом, который построил он на берегу, для зимы не годится; весной он его перестроит и тогда уйдет снова жить на берег. Лопари обсудили, они сказали, что большой охотник—всегда добрый гость; только чтобы не отбивал он у них добычи и делился добычею поровну. За две ночи густо выпал снег, снегом замело берег, и в лощинах гор легли сугробы. Эриксен вернулся на берег ройдой, у оленей отросла уже зимняя шерсть, ноздри их были курчавы от инея,—это были милые, теплогубые, покорные звери. Эриксен погрузил на сани припасы, он заколотил на зиму досками дом; он сел с женой в сани, лопарь ударил палкой оленя, и олени

легко понесли их в горы. Жена сидела, прижавшись к нему; на лице ее таяли снежные звезды. Берег, дом, остались в пустыне. Зимний океан тяжело ходил. Пришла ледяная зима; пришли полярные дни.

За зиму привыкли к тьме, как к дню; за зиму петлями мерил лопарь лесные дороги; за зиму оставлял зверь след на снегу, и зима была пора звероловной добычи. У лопаря за угором, в тайге, был пывзан — охотничий дом. Лопарь уходил в пывзан на недели, потому что обходит далеко зверь человеческое жилье. Зверя было много в эту зиму; много следов оставляли звери, это были голубые песцы, чернобурые лисы, может быть, — драгоценная добыча. Ночи и дни обходил зверь человека, водил он его петлями, и петлями возвращал на то же место.

В доме лопаря в поселке была женщина. Женщина убрала дом, и в доме стало тепло; вечерами горел в доме камелек. Женщина вела дом, как вели дом все женщины-лопарки. И женщина за полярную зиму привыкла к одиночеству. Надо было много за зиму набить дорогого зверя. Зверь ценен только зимой полным своим мехом, и женщина привыкла ждать мужа неделями, потому что неделями бродит в тайге зверолов, и муж ее на земле стал из рыбака звероловом. Много раз опутывал Эриксена зверь. Зверь смеялся над ним, он водил его петлями, и только одни простодушные синюхи ожидали своей судьбы; он бил белку, и силки, которые научил его лопарь расставлять зверю, были пусты. Двух крупных сиводушек поймал лопарь за неполный месяц. Лопарь выходил в тайгу в полярную синь, когда ничем еще не примечен дневной сумрак, он втягивал много в ноздри табаку, пока не набегала слеза; когда набегала слеза, ставил он руку щитком и глядел на снег: шли звериные петли в лес, лопарь разглядывал петли и усмехался, потому что молодой зверь плел петли, и петли эти были для того, кто не знает звериного нрава: в другую сторону ушел зверь, вот на кусте длинные голубоватые волосы — голубой песец проходит здесь; надо на пути расставить силки и сторожить зверя. А если напасть еще на оленью тропу и убить оленя, можно перерезать ножом ему горло и досыта напиться горячей оленьей крови. Тогда будет глаз зверолова меток, и не обманет рука.

Зима шла. Из стыли снегов, из тайги, осипшие от мороза, сожженные ветром, возвращались звероловы с добычей. Знал Эриксен стрекот синюхи, уже не так проводил его петлями зверь, узнавал понемногу и он звериную повадку. В доме после стыли снегов, воплей ветра, таежного гула — жена ожидала его, трещал камелек, он приходил, складывал добычу в углу, в доме пахло острыми запахами зверя. Белки было много набито много; весной он продаст ее добытчикам, выпишет новые материалы, начнет достраивать дом. Люто начались метели. Раз, ночью,

когда спали они друг возле друга, дом дрогнул вдруг от удара, сейчас же сухо забило в окно. Собака проснулась, отошла подалее от двери, опять свернулась, засунув под брюхо нос. Женщина поднялась на локте и прислушалась. Муж спал. Нечто необычайное происходило снаружи: в дом словно били тяжелым мокрым холстом, что-то несло во тьме за окном, засыпало окно, выстуживало дом. Началась метель. Женщина накинула на плечи одеяло; стала было перелезать через мужа, чтобы завесить окно, она зажгла огонь и вдруг села. Необыкновенная бледность полилась внезапно на ее щеки, она еще сама не знала, что с ней случилось, что-то случилось в ней, от чего сердце ее припало, всколыхнулось, тяжело забилось, как птица. И сейчас же опять что-то дрогнуло в ней, завозилось, толкнуло изнутри: она была женщина, мать. Тогда она встала на колени возле него, он спал, поверх одеяла лежала его тяжелая загрубевшая рука со сведенным синеватым ногтем, прищелкнутым пружиной силка. Она прижалась щекою к его руке и стояла на коленях, не чувствуя холода. Теперь все случилось так, как было только в ее снах. Она жила с человеком, который бережет ее, человек этот — муж, от него впервые забился в ней ребенок. Она запомнила навсегда эту глухую метельную ночь, удары метели, его руку, мокрую от ее слез, белых диких дьяволов, проносившихся за окном. В эту ночь в ней возникла другая жизнь, вторая ее душа. Лопарки всегда брюхатели в зимы, к весне они рожали. В эту весну родит и она. Но пока еще не было того, и он был ее ребенком: она прикрыла его покрепче, занавесила окно, поправила его волосы, упавшие на глаза; он спал.

За одну ночь мир, привычный, отмеченный дорогами, замелся метелью. Метели неслись, они гнали на океане льдины одну на другую, льдины сбивались с грохотом и громоздились; на океане, на земле, во всем мире была снеговая, безумная кутерьма. Ветры, снега рушились; все опрокидывалось на дом, все земные силы бушевали. Метель носилась три дня. Лопари сидели в домах; в доме сидел муж, они были вместе целых три дня, все три дня готовил он патроны, развешивал порох, мастерил силки. Весной будет у него сын — он хотел сына; сыну надо готовить добычу.

На четвертый день метель завершилась; мир был закидан снегом; он был преобразен, горы, сугробы громоздились. За дни метели зверь изголодался в норе, теперь пойдет он на приманку, по свежему снегу проложит новые пегли. И звероловы ушли в тайгу. Они ушли в тайгу на ловитву зверя; надо было отрыть пывзан лопаря, засыпанный снегом, один лопарь мог отыскать его след; пывзан был низок, наполовину в земле, без окон, и в крыше была дыра, как в юрте самоедов, в дыру уходил дым костра. Они отрыли пывзан, развели костер и легли ночевать у костра; из снега курился дым. Утром вышли

они из дома и разошлись в разные стороны. За ночь по снегу было много наметано петель; много голодного зверя шло ночью, зверь выходил ночью из тайги, зверь смотрел на звезды, на немилосердное небо.

Эриксен пошел на восток. Здесь был угор, ложбина ручья, доверху закиданная снегом. Дважды на скате потерял он лыжу, лыжа далеко ушла вниз, он боролся со снегом и устал. За угором шли следы зверя. Он внимательно стал их следить. Это шла лисица, петли были лисьи, самые запутанные и стойкие; песец всегда ходит проще; это обыкновенная красная лисица, не более. Он дважды прошел по следу, лисица посмеялась над ним и вывела на то же место. Он сел на сугроб и закурил. Надо было поставить силок на следу. Зверь вернется ночью, он пойдет тем же следом и учует добычу. Человек думал, курил и чувствовал близость зверя; и близость человека чувствовал зверь; он сидел в тайге и поднимал нос. Это был молодой самец—не красный обыкновенный лис, а превосходный серебряно-черный, с седым хребтом, чернобурый драгоценный зверь. Зверь ночью проходил мимо пывзана, он увидел дым из трубы и учуял тревожный запах человека. В тайгу пришли люди, надо было уходить от людей. Три дня метели просидел он в норе, был зол и голоден, и он ушел боком назад в тайгу, широко отставив прекрасный пушистый хвост. Он сделал три круга петель и снова вернулся к пывзану. Он стал на задние лапы и нюхал воздух мокрым носом. Сквозь быстро несомыя облака легко сквозили зимние звезды. Зверь учуял запах мяса, прекрасные запахи пиши, которую ели люди, он был голоден, у него не было сил уйти. Он бродил всю ночь вокруг дома, он напел петель, в которых не разобрался бы и сам, к утру подтощав вовсе, поплелся он все же прочь. Он сидел в тайге и чувствовал тревожную близость человека.

Эриксен дважды промахнулся в этот день, даже глупые веселые синюхи смеялись над ним, он убил лишь худого неосторожного хорька: он убил его дробью в бок, и дробь испортила шкурку; все же захватил он его с собой, это была единственная добыча за день. Он поставил еще на лисьем следу капкан и стал возвращаться к дому. Он шел не спеша, упираясь палками в снег, лыжи легко скользили; он дошел до угора, спустился вниз и стал подниматься в гору; он сделал крюк и возвращался назад, угором было ближе до дома, и вдруг на горе, на проталине, близко увидел он зверя. Он увидел зверя и заоченел, это была лисица, но не красная, обыкновенная лисица, а чернобурый прекрасный зверь; весь натянутый, как струна, поставив уши, один лишь миг стоял он на опушке, и сейчас же легко несло его в глубину. Тогда человек понесся за ним, он яростно упирался палками в снег, мерзлые ветки защелкали по его лицу, глаза его запорошило снегом, он пролетал по следу, едва успевая отклонить на бегу голову, он ушел



далеко за зверем вглубь, там сдвоились следы, они заплелись в петли, он долго изучал петли и пошел по другому следу, он шел по следу целый час и опять вернулся к угору. Зверь посмеялся над ним, он был обманут. Тогда он бросил ружье, сел на снег и стал вытирать лоб. Он весь дымился от жара, сердце его колотилось в горячке. Он был побежден, игра была проиграна. Судьба посмеялась над ним: он видел зверя, драгоценного единственного зверя, о котором только может мечтать охотник, зверь ушел от него.

Отдышавшись, все же поплелся он на прежний след, поставил силок, закидал ветками и стал возвращаться к дому. Надо было опять развести в доме костер, чтобы не застыть; чернотой гложла полярная ночь. К ночи пришел лопарь; за поясом его висело с десяток отличных белок. Эриксен был голоден, зол, он ничего не рассказал лопарю о неудаче. Лопарь наелся, он сидел у огня и рыгал от сытости. Эриксен перед сном вышел наружу. Тяжелая мутно-красная звезда, звезда вод, мореплавателей и рыбаков, пламенела по-зимнему. Заметельная тишина была над миром; низкий холодный ветер просторов дул временами. Эриксен стоял, глядел на звезду; так же светила она рыбакам в первую ночь, когда вышли они из Норвегии; теперь будет у него здесь, на новой земле, ребенок, сын: он родится под этими же звездами, вздохи океана будут его первой песней. Где-то, во тьме ночи, спит сейчас женщина, которая стала его женой, она носит в себе его сына. Все это немножко странно, совсем чудесно. И где-то в ночи смотрит, наверное, на эту же звезду зверь, который обошел его днем. Он постоял еще, пока не озяб, потом вернулся к огню и уснул.

Ночь шла. И ночью сторожко вышел зверь из тайги. Он доходил до угора, стоял, нюхал воздух. Воздух был мирен, опасности не было. Все же возвращался он назад и делал петли; враг хитрил с ним, он знал это, всегда, теперь он хитрил, обходил врага. Он вернулся назад и снова понюхал воздух; он долго нюхал воздух, воздух был чист. Тогда утренним своим следом стал пробираться он к дому; он шел неспеша, распустив хвост. Временами он садился на снег и смотрел на небо. Большие звезды были на небе. Он шел дальше, останавливался, поднимая лапу, слушал. Внезапно мокрые ноздри его скозились и дрогнули: неуловимым пахнул воздух. Зверь присел на снег и нюхал воздух. Он вдруг почувствовал снова, что голоден, весь день накануне он рыскал и уходил от опасности: новый запах был мирен, не угрожающ; вытянув шею, поставив уши, зверь пошел на запах. Это подгнивала, наверное, птица под снегом. На своем следу увидел он ветки, ветки были навалены кучей, верно, свалило их ветром; он снова присел и смотрел на кучу веток. Ничто не шевелилось за ними, это были просто сухие ветки деревьев; тогда подошел он ближе; он уставился носом в ветки,

нюхал и не мог оторваться: чудесный запах шел из-за них, птица гнила под ними. Тогда передними лапами стал он разбрасывать ветки, и внезапно снова необъяснимый охватил его страх. Он отбежал и сел поодаль; он долго сидел так, ждал, слушал. Тишина была вокруг. Тогда опять стал подходить к веткам. Теперь его взяло нетерпение, он разрывал ветки лапами, он унюхал мясо, и белыми мелкими зубами ухватил его за край. Это была птица, большая тяжелая птица с перьями; упираясь лапами в землю, тянул он ее к себе, и внезапно что-то рухнуло, повалилось, смертельно ударило его, на глаза, на него посыпались ветки, он рванулся, опрокинулся на бок, он мелко завозил по снегу ногами, и мир стал смертельно белеть...

Эриксен не спал ночь; костер потухал; в полусне шел он снова следами, петли мучили его, он просыпался: все в нем перегорело; едва стала синеть тьма, он снова оделся и ушел на лыжах. Может быть, нападет он теперь на верные следы. Он ушел далеко, была еще темень в лощинах, утренняя полярная серизна, снежком мело, заметало следы. Он прошел много миль и вернулся к угору; здесь на угоре поставил вчера он силок. Куча хвороста чернела попрежнему; он прошел было мимо и вернулся: две ветки торчали врозь—не так, как он уложил их вчера. Он копнул их лыжною палкой и внезапно толкнулась палка в мягкое, кровь ударила ему в глаза, он упал на снег и нащупал руками зверя. Это был он, вчерашний зверь, вчерашний победитель, смеявшийся над ним и сегодня им побежденный; суконовый его язычок был зажат между мелкими зубами, глаза смертно затянуты; шерсть отливала серебром. Это был редкий, невероятный подарок ему, охотнику. Он стоял на коленях и держал лисицу на вытянутых руках. Внезапно он засмеялся; он хохотал, он провел щекой по холодному пушистому меху. Это была его добыча, его удача, его драгоценная ноша и обещанье его судьбе.

## IX

Зима надломилась. За сыпучим метельным февралем, заметшим мир, медленно выплыл хмурый март, начиналась весна. Весной промышленники скупают все шкуры набитого за зиму зверя, весной перейдет он снова на берег, в свой дом. Март пришел ломом льдов, льды на океане медленно тронулись, они ломались и уходили назад, в полярные скитания. Зверобой вышли уже на бой тюленя. Из становища ушли все рослые и молодые; дети и старики—одни остались на берегу. Молодые ушли на месяцы—бить зверя, затираться льдами, носить неделиами между льдов. В доме старого лопаря женщина дошивала белье: это были все необычайно маленькие руба-

шенки и чепчики на мизинец. Беременные лопарки сходились к ней; они были все женщины одинаково, у них была одна забота, они говорили на понятном, своем, женском языке. Семь лопарок готовились стать матерями; двоим из них было по четырнадцать лет.

За полярною ночью пришло солнце. Мир осветился. Люди обращали к свету отвыкшие слабые глаза. Солнце кровавило мир, океан; снега сходили; под снегами был мох; олени жадно паслись на мху. Эриксен взял у лопаря оленей и уехал на берег готовить дом для жилья. Он приехал на берег и остановился на берегу потрясенный. Груда камней, стекол, досок лежала на берегу. Дом был не крепче карточного домика, его снесло, разбило зимними бурями; весь его труд, многие месяцы труда пропали задаром. Он долго стоял над грудами досок и кирпичика. Океан, ветры легко поборили его. Он был только человек, слабый, первый человек на берегу—мог ли он бороться? Но ему нужен был дом, ему нужно было жить в доме с женою и сыном, и он должен был снова складывать то, что разбила ветры. Он был человек—и человек должен был строить. Он вернулся в горы, забрал припасы, пожитки и ушел на берег заново строить дом. Он жил опять в пещере, как человек каменной поры, у него не было стекол и железа, надо было дожидаться первых пароходов. Пока углублял он фундамент, разбирал бревна, сколачивал прочную основу, март прошел, проходил ветренный, дождливый апрель. Дни наливались яро. Первые каботажные суда вышли в плавание.

Жена дошила рубашки и чепчики. Она очень подурнела, лицо ее было в коричневых пятнах, живот вздут безобразно, она с трудом таскала его. Муж жил на берегу, к ее сроку должен был он вернуться. Она еще делала работы по дому, таскала с одышкой воду из родника, поминутно останавливаясь. Она все боялась, вдруг он забудет, пропустит срок или опоздает. Она рожала первой в поселке, все лопарки ожидали позднее. Дни шли, теперь близок был срок. Она решила все прибрать, вымыть; она сама с одышкой стала мыть дом, она нагибалась, как было можно, сердце ее заходило от стука и одышки; тогда садилась она на скамейку и отдыхала. Она вымыла пол наполовину, отдохнула и пошла к роднику за водой. Она медленно шла мхом, мох был тепел, солнечный низкий день—соломенно-желт; распускалось тишайшее океанское лето. Она дошла до родника, положила ведро под струю и внезапно тяжело села на-земь. Что-то рвануло в ней, завело непереносимо и отпустило. Пот сразу выступил на ее лбу; она отерла его пальцами, мутно посмотрела, как льет вода через край ведра, она крепко сдвинула золотистые брови, и сейчас же снова лютая, рвущая сила напрягла ее ноги, руки ее дрогнули от муки. Она непонимающе обвела глазами округ, сразу пот полил с нее струями. Она уперлась руками в мох, она тяжело

обводила глазами округ и ловила дыхание, но вэги ее сводило в коленях, и незнаемое напряжение выгибало ее дугой; внезапно ей показалось, что все ее внутренности, сердце, душа вылезают из нее,—она кусала мох, она грызла себе плечо и руки,—она поняла, что рожает до срока, одна, без помощи, никто не услышит ее. Тогда она легла здесь, на мох, рдеющий мир низко поплыл над веками, плыл он часы или целую вечность,— жестокий мир женской судьбы; воя, с налитыми кровью глазами, она напрягалась, неестественная сила разрывала ее на клочья, и внезапно что-то вдруг словно рухнуло в ней, сразу полилась легкость, великое освобождение, и то, что освободило ее, еще залитое кровью, неузнанное, воззвало вдруг между худых ее, широко раздвинутых, ног первым криком, и это был крик жизни, крик живого человеческого существа. Тогда она легко охнула, тончайшая белизна просветления пролилась на ее лице, глаза ее были мутны, залиты слезами, широко раскрыты, она слушала ими себя, свою музыку, за мутными слезами муки покатались крупные, необычайно светлые слезы блаженства и сладчайшей боли. Двумя сведенными пальцами сжимала она то, что еще соединяло с ней новое существо, принесенное ею в жизнь; в ней жил первородный инстинкт, и трижды разорванное сердце скреплялось сызнова могучим биением жизни.

Она отлежалась во мху, и сама, белее своего платка, с расплавленными, безумными глазами, с горящими жаром углами скул, понесла в платке к дому то, что было доселе частью ее самой и стало теперь еще большею частью.

## X

В бухту Мария пришел паровой бот; на боте были промышленники; по всему зимнему берегу скунали они меха. Промышленники прослышали в становище, что много зверя набил на берегу прищлый охотник. Они купили у Эриксена меха, и вместе с мехами везли они на родину его письмо—он звал товарищей сюда, на берег, к нему; в бухту Мария много заходит рыбы, надо каждому человеку искать свое место на земле. Дом сколотил он заново, теперь это был прочный дом, пока без стекол и крыши. Он выписывал стекла, железо, гвозди. Он бил всю зиму зверя, и теперь мог сам строить себе свой дом. У него был сын, он назвал сына—Томас, по имени отца, и у него была жена, настоящая жена на всю жизнь. В поселок к лопарям пришел миссионер-священник; он пришел обращать лопарей в христианство, и он обручил их на той же поляне, где стояли идолы лопарей; миссионер не видел идолов, он читал по кожаной книжечке и давал им целовать кипарисовый крест. Сын рос; он был сероглаз, у него был розовый подвижной рот, не больше копейки, он лежал на солнце, на теплом

оливковом мху, он был настоящее живое существо, которое хотело есть, спать, жить.

Они жили на берегу теперь вчетвером; нужны были еще спутники, рыбаки, ему не с кем было выходить теперь на лов рыбы,—жена оставалась на берегу. И рыбаки пришли в бухту.

Это были не те рыбаки, которых он звал, они пришли с пароходом с другой стороны; пароход привез досок, гвоздей, железа, и пароход привез людей, которые тоже искали свою землю по свету. Рыбаки были русские поморы, они искали спокойную бухту в океане, они прослышали, что под осень густо зашла сюда сельдь, и у них не было на большой земле дома или пристанища, были они издалека, с Волги, большой реки, и много катались по свету. Рыбаки пришли на берег с семьями, они привезли с собой шнэки, они просили Эриксона позволить остаться им в бухте, они будут помогать ему и друг другу, рыбы всем хватит в океане. Они остались жить на берегу, и берег стал становищем. И в становище пришли еще люди, рыбаки из далекой Норвегии; они тоже прослышали, что много на этой земле зверя и птиц, и что свободнее их и добычливей такой же рыбак, как они, потому что не боялся уйти от людей, сам правит собой и сам сколачивает свою жизнь. В бухту Мария пришли жить норвежцы, бухту узнали пароходы, лоцмана вымерили бухту, и в бухте пошла жизнь, как в каждом становище.

И над людьми в становище покатались годы. Годы были с удачами и скорбями, с уловами, со стройкой новых домов, церкви и кладбища, ибо везде, где живут люди—умирают люди, и в становище рождались дети, и с каждой весной новые пришельцы приходили на берег искать удачи, и новые не знали уже ничего о том, кто первый пришел на эту голую землю, первый построил на ней дом и первый принес сюда на руках первенца-сына. В становище приходили пароходы, привозили бочки для засолки трески, снасти, муку—обычные рыбацьи будни были в становище, и на мореходные карты, наверно, занесли уже имя бухты—сладчайшее имя, данное ей человеком по имени косенькой неведомой девушки, которая пришла к нему на этот каменный берег наниматься в работницы и стала его женой. Рыбаки боролись с океаном, и на мысу на груде камней стоял уже крест по погибшим, потому что каждую весну погибали рыбаки и каждую весну и осень требовал океан человеческой пищи.

И была одна осень—восьмая по счету с тех пор, как впервые пришел сюда, на этот берег, человек; в эту восьмую осень ветры и океан обезумели, всю осень насквозь ревел холодный, пронзительный норд, дни уходили за днями без улова, и предстояла голодная зима; тяжелые ходуны волн бились о мыс, океан был черен, угрюм и свиреп, но океан давал пищу людям, и в эту восьмую осень пять рыбаков решили, на-

конец, выйти в море на лов; большие стада сельдей пригнало к шхерам, сельдь могла уйти, и тогда зимой был бы голод, а удача сопутствует тем, кто не боится борьбы и труда. Пятеро рыбаков вышли в океан, это были самые опытные и рослые рыбаки, и пятый был из них—Эриксен; их вышли провожать все жители становища, Эриксен видел на берегу жену, она стояла за руку с сыном, ветер рвал на ней юбку, и круглый большой живот вздувался вперед—второго сына или дочь ждала она через месяц; женщины на берегу махали платками, парус стремительно распахнуло ветром, и ветер пронес карбас между камней шхер, в черный вздутый простор океана, весь в пене и кручах, валившихся одна за другою. Теперь то, что оставалось на берегу—дом, семьи, земля—скрылось в развалинах рифов, и наступила пора труда и борьбы, потому что рыбаки в море—это рабочие моря.

Ветер дул с северо-востока, рыбаки отошли на три мили и стали спускать сети; большие красные кубасы—поплавки заколыхались меж волн; надо было утяжелять сети грузом, чтобы их не сорвало с прикола—рыбаки возились с сетями до вечера, ночь наступила неприятная, ветер окреп, он пронзительно свистал в мачте, и рыбаки видели, как в огнях, шатаясь, словно пьяный, валяемый с борта на борт, близко прошел тяжелый тысячетонный пароход. Пароход шел в Англию, на нем были компаса, сотнесильные машины, шлюпки и карты,—у рыбаков не было карт и машин, у них был запасный парус да десять рабочих кроваво-обмозоленных рук. Пароход ушел в тьму, он низко провыл на прощанье сиреной в туман, потому что навстречу ему шел туман, и с туманом шел шторм. Шторм разразился в полночь. Шторм отнес рыбаков далеко в океан, шторм вздул крутую многосаженную волну, и карбас валило на гребни и сваливало вниз, в бездну,—тогда рушилась на него и на людей волна, люди шли на веслах, без паруса, потому что с парусом могло опрокинуть карбас, люди вздымали десяток бессильных весел, они вычерпывали из карбаса ведрами воду, и люди знали, что если на минуту отчаяться или перестать бороться—море не пожалеет их, потому что море не любит трусов.

Ночь шла чернее черни, всю ночь насквозь бились рыбаки на-смерть, они застыли, заледенели, ногти их были сизы, люди постарели за одну ночь на много лет, и ночь, наконец, стала брезжить рассветом—осенним, ненастным, хлестаемым ветром рассветом. Низкий туман лежал на плечах, рыбаки не видели друг друга, они перекликались сквозь ветер, как птицы, за ночь унесло их на восток, компас показывал восток, на востоке была земля островов. Люди поверили в это утро в спасение, они разбивали воду хлопущими весел,—пять самых сильных и опытных рыбаков, и в тумане близко была земля, и были близко в тумане рифы... И на один такой риф нанесло карбас, его продержало на нем лишь мгновенье,—и разом глы-

бой воды смыло его вниз с треском и воем людей, увидевших смерть. Пять рыбаков погибло в этот рассвет в океане, и во всех становищах ждали других рыбаков, ушедших в море, и во всех становищах звякали колокола, и ревуны маяков напрасно ревели в туман.

В эту осень много рыбаков не вернулось домой, эта осень была осенью бед, и в эту осень вслед Эриксену ушла его жена. Она принесла миру мертвое существо, задушенное ее горем, родильная горячка сожгла ее в три дня без остатка, и в эту осень остался один на пустынной земле маленький человечек, который носил имя Томаса Эриксена. Маленький человечек знал, что отец ушел далеко в море на лов рыбы, и что далеко ушла мать, наверное, искать отца,—он видел, как другие рыбаки положили ее в ящик, она была бела и спокойна, губы ее были чуть раздвинуты и она улыбнулась ему, когда его приподняли к ней проститься. И маленького человечка скоро посадили на большой корабль, его тоже везли искать отца; он стоял на палубе корабля и махал платочком, с берега женщины-соседки тоже махали ему платочками, видел он еще дом с красными нарядными ставнями,—на ночь закрывал отец красные ставни, и сквозь сердечки в ставнях заползали утрами большие белые зайцы, они носились по стенам и потолкам, и он махал платочком белым проворным зайцам, которые оставались на берегу. Томас Эриксен плыл искать отца, корабль шел много дней, океан был тих, он журчал вечерами и никому не мог сделать горя.

Корабль пришел в далекий город; далекий город был ровно обложен серым камнем, в городе было множество красных и серых крыш, церквей и широких каменных ступеней. И Томаса Эриксена встретил на берегу краснолицый человек в большой рыжей шляпе; у краснолицего человека была колючая седая щетина на подбородке и огрызок сигары в зубах, и на груди у него лежал пепел. Он оцарапал ему щеку щетиной, чем-то был он похож на отца, и он повел его с собой в город. Лошади звонко били по камням подковами, на козлах сидели бритые люди в сапогах с отворотами, и кругом были серые дома, серые камни и ровные зеленые лужайки. Краснолицый человек привел его в дом, в доме на окнах висели тюлевые занавески, дымный день запутался в их сетях, высокие желтые столы стояли у окон, на круглых высоких стульях сидели люди, листали тяжелые книги и гоняли цветные костяшки; и желтый пол, и столы, и воротнички людей блестели, как оттертые раковины. Тогда Томас Эриксен понял, что никогда не найдет отца, что отец уплыл в далекие моря; он сел в уголку и заплакал.

И дни покатились,—за серым тюлем занавесок дни не были вовсе похожи на те просторные, громадные океанские дни, которые знал он доселе. За окном во дворе были ровные серые камни, выложенные узором, и он узнал затем, что город,

куда его привезли, зовут Христиания, он узнал, что краснолицего человека с сигарой тоже зовут Эриксен, что отец был ему братом, и что будет отныне краснолицый человек новым его отцом. Он узнал также и то, что есть у Эриксена много рыбацких карбасов, много рыбаков служат ему, они приходили в контору в тяжелых клумпах и сапогах; это были рыбаки и капитаны, те же, среди которых он жил на берегу; люди были осиплы от ветра и спирта, у них были лица из красного камня и они выбивали ладонью пепел из трубок. И отец-Эриксен сказал ему затем, что здесь, в конторе, будет он учиться понемногу, и когда научится он всему, станет он так же носить блестящие воротнички и так же, как и десятки других молодых людей в воротничках и проборах, будет он сидеть на желтом высоком стуле, размечать дни прихода и отхода судов, товары, какие должны они везти, и рыбу, которую привозят с улова рыбаки, а потом, наверное, сам станет хозяином, как станут хозяевами все молодые люди в воротничках, и другие капитаны и рыбаки будут служить ему,—так положено на этой земле. И вёсны на этой земле сменяют зимы.

## XI

Вёсны сменяли зимы. Годы шли. Годы слагались в десятилетия. Десятилетия проходили над океаном, и в десятилетиях—лежали становища. Новые люди приходили в становище, отстраивали дома, пароходы больших корабельных компаний шли по становищам, они везли рыбакам припасы и снасти и погружали взамен боченки с треской и звериным салом. Кто знал в становище о человеке, впервые пришедшем на эту землю, боровшемся с зверем, ветром и морем и строившем дом, который снес зимний ветер? Одни кресты по погибшим стоят на грудах камней, и груды камней с крестами стерегут острова, и десятилетия над ними.

В норд, в норд-ост, в морянку, в ветры востока и запада, и в южные теплые ветры выходят рыбаки в море на лов. В вёсны и осень многих уносит ветер и шторм в океан, и многих не досчитываются на берегу. Тогда ревут в туман ревуны маяков и жидко звякают в становищах колокола рыбацких церквей,—большие кладбища растут в становищах, и много зуйков расплетают на берегу сети и поют рыбацьи детские песни. Зуйки—дети рыбаков, будущие рыбаки, и зуйки причащаются к морю, к обидам моря и к радостям его, к просторам его, зовущим и в непогоду рыбачью обветренную душу. А когда идет непогода, знают об этом заранее лишь в корабельных конторах, но в корабельных конторах хранятся страховые полисы на суда, уходящие в море, а если есть полис на судно, должно спокойно идти оно в непогоду в назначенный рейс, как в день тишайшего штителя.

Большой циклон шел на Христианию с севера, с вечера замело город дождевою метелью, всю ночь бушевал ветер, и



утром за тюлем занавесок был грязный сивый день, хлестаемый ветром и ливнем. Люди на берегу в десять утра бежали на службы в конторы, банки и магазины. Они были аккуратно выбриты, воротники дождевых пальто подняты, все шли под мокрыми горбами зонтов; по мокрым улицам размеренно катились трамваи и желтые автобусы, и люди под горбами зонтов, вырываемых ветром, толпилась у остановок и лезли один за другим в мокрые вагоны.

В корабельных конторах сидели аккуратные молодые люди в воротничках; молодые люди в конторах отправляли в море множество пароходов, как каждый день, они знали названия всех пароходов, и сколько в каждом было сот и тысяч тонн, и какие сегодня стояли цены на рыбу и на звериное сало. У молодых людей были выцветше-синие глазки, и пальцы их с ровно подстриженными ногтями легко гдняли цветные косяшки счетов. И как каждый день, капитаны и рыбаки пришли в это утро в конторы. Были срочные рейсы, пароходы уходили своим путем, в конторах пахло вонючей сигарой, мокрой кожей, сыростью и дождем. Рыбаки и капитаны курили трубки и огрызки сигар и выбивали о ладонь пепел. Пароходы уходили в полдень, в день, в ночь. Пароходы были застрахованы в пароходных компаниях и шли в океан и в шторм— в назначенный рейс. В этот день рано сдвигались тяжелые шторы на окнах, чтобы не видно было мокрых улиц и непогоды, в каминах жарко рдел кокс, и женщины у каминов все никак не могли согреться, они кутались в меха, в пушистые меха дорогих зверей; женщины были бледны, у многих были тонкие лица, как драгоценный фарфор, и мужчины в дождевых пальто торопились в этот день со служб по домам, поскорее к камину, за тяжелые шторы, за которыми не слышны голоса ветров и гудки пароходов, уходящих в свой рейс, в просторы, в дождь, в океан.

Февралем ломает прибрежные льды, в феврале приходят звери на льдах в океан, и в феврале выходят в океан первые зверобой—бить зверя; многие месяцы треплет их среди льдов и возвращаются они с боченками тюленьего сала и с блестящими рыже-черными игольчатыми шкурами нерп. И вослед зверобоям идут в океан рыбацьи карбасы и пароходы, ибо наступила пора, когда выходят на труд рабочие моря—матросы и рыбаки. Десятилетиями уходят они в моря, и десятилетиями сторожат их моря и бьются с ними на-смерть, и десятилетиями в тихие ночи восходит над морями и океанами, над всеми ушедшими в море, тяжелая, винно-красная рыбацья звезда—водитель рыбаков.

## Б у к в а „И“.

**В** канцелярии одного из столичных учреждений около стола сидели три человека и, нагнувшись головами, уже с полчаса разбирали и разглядывали адрес на пакете.

— Вот тут и пойми,—сказал один, выпрямляя спину и поглаживая ее рукой.

— Да, загвоздка...

— Чорт ее знает, как будто начало по буквам сходится, а середку ни к чему чтой-то не пригадаешь.

— В Главполитпросвет ходил?

— Ась?..

— В Главполитпросвет ходил,—говорю.

— Ходил,—отвечал старичок в засаленной фуражке и с разносной книгой.—С самого утра бегаю, все вывески и двери обсмотрел. Прямо в глазах что-то уж вертеться стало.

— Завертится...

На пакете стояло несколько букв, написанных слитно в одно слово:

М О С Г И К О .

— Должно быть, длинное что-нибудь,—сказал делопроизводитель.—Чорт, некогда сейчас, на гулянках как-нибудь зашел,—но все-таки опять нагнулся над пакетом.—Ну-ка, подвинься. Сразу не сообразишь.

— Зачем это они выдумывают-то? Уж написали бы как оно есть, а то уж очень в голове мутится.

— Затем, чтобы короче было,—ответил недовольно делопроизводитель.—Что короче-то: семь букв или семь слов написать?

— Мы вот тут так пригадывали,—сказал маленький человек с горбом.—Московское губернское...

— А дальше что?.. Мало ли что первые буквы выходят, ты с последними соображайся. Ну, положим, московское губернское. А „И“ что такое?

— Вот, вот. Мы тоже на нем все садимся.

— А тебе не говорили, по какой это части? —спросил делопроизводитель, обращаясь к рассыльному.

— Нет, кажись, не говорили.

— То-то вот—„кажись“. Вот теперь и кувыркайся.

— А при тебе-то они читали?

— Ась?

— При тебе, говорю, читали?

— Читали, да вот из головы вон... Ничего не помню.

Подошел еще один человек в шапке с замотанным вокруг шеи шарфом. Заглянул через головы в бумагу и, заинтересовавшись, тоже наклонился над столом.

— Чорт его знает... А все-таки любопытно, что это может значить.

— Ты бы еще куда-нибудь пошел,—сказал делопроизводитель, обращаясь к рассыльному.—Может, в народное хозяйство сходил бы.

— В народное... Чтой-то, кажись, уж был там. Ткаюсь с этим конвертом, как с чумой, ко всем дверям приглядываюсь—нигде не сходится. Начало почесть ко всему подходит, это вот МОС-то и „гы“ подходит, а дальше—разногласица. У меня тут еще „И“, а „И“ нигде ни разу не попалося.

В канцелярию вошел курьер.

— Товарищ Белкин, к заведующему.

— Сейчас некогда. Видишь вот, ковыряемся.

Курьер тоже подошел к столу и заглянул через спины.

— Не по ученой ли части что-нибудь загнули? Эти самые окаянные меня послали в прошедшем году, три буквы только стояло: ГУС. Так я с этим гусем, как оголтелый, носился по всему городу, а он в нашем же этаже оказался.

— Может, и по ученой. В университете был?

— Был-с... Там до „И“ все сходится.

— Ишь, дьяволы, засели, огородились и никакими силами до них не доберешься. Главное дело, это „И“ мучает.

— Самая паскудная должность теперь,—сказал рассыльный, вытирая комочком платка вспотевший лоб.—Бывало, прочел и готово. А теперь прочесть можешь только до тех пор, пока помнишь, что написано. С плохой памятью не дай бог. Хуже безграмотного. Оно, конечно, для краткости требуется, да уж очень ноги бьются. Вот сапоги только прошлый месяц купил, а они уж каши просят.

Все в рассеянности посмотрели на сапоги.

— Чорт знает, к заведующему надо спешить,—сказал делопроизводитель.—А вот тянет разгадать, да и только.

— Это затягивает, что и говорить. Мы спервоначалу, бывало, как принесешь бумажку, так на картошку ее разыгрывать. Кто первый разгадает, тому фунт картошки сложимся и покупаем. Заведующий выйдет, посмотрит, мы все в кружок, ничего не скажет и уйдет. А потом, слышим, говорит: что они, чорт их возьми, в шашки там, что ли, режутся. И вот, братец ты мой,

был у нас такой один,— с одного маку разбирал. Потом уж принимать его не стали.

— Выигрывал все?— спросил рассылный.

— Выигрывал.

— Бывают такие головы.

— И всего-на-всего журналист, исходящие записывал.

— Бывают. Ему по теперешним временам заведующим в пору быть, а он в журналистах коптится.

— Ну, да такой недолго задержится. Да... Ну, что же мы,— спохватился делопроизводитель.— Ежели так: московский городской Коминтерна отдел.

— „И“ пропустили,— сказал рассылный, ткнув своим желтым от табака пальцем в пакет.

— Постой, не мешайся. Это я так пригадываю. Нет, ни чорта...

— Да отбросить ее к чорту, что, в самом деле, голову только забивает,— сказал возбужденно маленький человек с горбом.

— Нет уж, я по буквам смотрю, чтоб первое дело все буквы с вывеской сходились,— сказал рассылный.

— Что за чорт... что это может быть за „И“? Исполком, инстанция, иллюзия... Теперь привяжется, никак не отделается. Вот в руках, да не укусишь. МОСГИКО.

— Верно, верно. Иной раз спать ляжешь, а в голове все так и стоит: всероссийский... хозяйственный, московский губернский...

— Да, времячко...

— А занятая штука. Если бы так на свободе...

— Это в праздник надо как-нибудь.

— Нет, ну, ни чорта не выходит,— сказал делопроизводитель встал и бросил карандаш на стол.— Главное дело, „И“ лишнее. Совсем тут ни к чему.

Рассылный смотрел на него, как смотрит проситель на адвоката, взявшегося было защищать, но увидевшего полную безнадежность дела.

— Ежели бы у тебя этого „И“ не было, мы бы тебя сейчас направили, а теперь — куда ты пойдешь.

Все поднялись, собрали дела и стали расходиться. Рассылный постоял, посмотрел еще раз на пакет, потом зачем-то на свои сапоги и пошел по коридору. Он несколько раз останавливался перед дощечками на дверях, с обозначением учреждения, сверялся с пакетом, потом плюнул, махнул рукой и пошел к выходу.

Спустя полчаса задержавшийся делопроизводитель, пробегая куда-то по коридору и машинально бормоча что-то на ходу вроде: „губернский... московский... инстанция, изоляция“, — увидел рассылного внизу перед выходной дверью. Тот стоял и, подняв голову вверх, напряженно вглядывался в надпись на эмалевой дощечке, прибитой над дверью, и бормотал про себя:

В... Ы... Х... О... Д...

— Всероссийский хозяйственный... А тут «Ы» пропустил. На «Ы» ни одного слова не начинается.

— А ты все еще тут путаешься, крикнул ему делопроизводитель.

Рассыльный посмотрел на него мутными глазами и сказал:

— Не выйду никак. Какое слово на «Ы» начинается?

## Д О М О В О Й.

**У**же восьмой день по утрам и в обед по всей деревне стоял бабий крик и галдеж. Кто-то распорядился, чтобы пастух гонял стадо не на ближнее поле, как до этого, а в дальний лес. Поэтому бабы в обед должны были ходить за две версты по жаре с подойниками доить коров.

Откуда вышло такое распоряжение, было совершенно неизвестно.

— Вот дурная голова-то ногам покою не дает,—кричали все,—целую неделю бегаем, прямо измучились, как собаки.

— Да кто это выдумал-то?

— Собака его знает. И пастух-то сам не знает. Вякнул, говорит, кой-то. А кто—неизвестно.

И как только приходило время гнать скотину, так со всех концов кричали:

— Чтоб у него ноги отсохли, у окаянного!

— Да у кого—у него?

— А лихая его знает.

— Не гонять коров совсем, вот и все!—говорили бабы, идя сзади коров и подгоняя их по грязным от навоза бокам хворостинами.—Что это за мученье такое! А то—кто приказал,—неизвестно, зачем приказал,—тоже неизвестно, а они все прут...

— А сама-то зачем идешь?..

— Что ж я одна изделаю...

На девятый день бондарь, все время молчавший, вдруг выскочил из избы и с налитыми кровью глазами закричал на свою бабу:

— Не гоняй корову! Я его, сукина сына, измочалю. Кто это выдумал?!

— Кто его знает,—сказал сосед, сидевший перед своей избой на завалинке,—может, Семен, плотник, у него корова недойная, ему, конечно, все равно. Он кой-то с председателем намедни шел.

— Где он, чорт?... Я его сейчас отчитаю.

И бондарь, как был в фартуке и в валенках, побежал к плотнику. Тот стоял около строящегося амбара над бревном и тесал его по отмеченной мелом черте.

— Ты какого же чорта умничаешь! — крикнул кузнец, — только об себе и думаете, а об людях не надо?

Плотник воткнул топор и сел на бревно верхом, потом высморкался в сторону, утер полый нос и только тогда поднял голову.

— Ты что? Ай лихая укусила?

— Меня то не укусила, а вот ты распоряжения дурацкие даешь.

— Какие распоряжения?

— Какие... У тебя корова недойна!

— Ну, недойна.

— Ты с председателем наемни шел?

— Шел. Что дальше будет?

— Говорил?

— Говорил...

— Так какого же ты чорта?

— Да об чем говорил-то? Чорт! — крикнул плотник.

— Об чем? — спросил в свою очередь бондарь.

— Лесу просил.

— Лесу?...

— Ну, да!

— А коров в лес на весь день не ты приказывал гонять?

— Что ж я начальство, что ли?..

— Так какой же это домовый исхитрился? — спросил озадаченно бондарь.

— Чорт их знает... это, должно, шорник. Он что-то на жену наемни кричал, когда она коров доить шла.

— Так бы и говорил... Умники чортовы! — кричал бондарь еще издали, увидев шорника, который распялил на кольях горюхи шлею и мазал ее дегтем из баклажки.

Шорник, перестав мазать, оглянулся.

— Умники чортовы, что ж у вас голова-то работает? Раз она у вас не так затесана, значит, нечего соваться, куда не спрашивают.

Шорник воткнул помазок в баклажку.

— Об чем разговор?..

— Ты на жену наемни кричал?

— Я, может, каждый день на нее кричу. Тебе-то какое дело? Да бить еще буду, ежели захочу. И то ты мне не указ.

— За что ты на нее кричал?

— А ты что, начальство?

— Не начальство, а беспорядок из-за вас получается.

— Прежде били — не получался, а теперь только крикнешь — и получится? Ты еще придешь да скажешь, что я сплю с ней не так... С чего ты привязался-то, скажи на милость?

— С того, что из-за вас, чертей, коров за пять верст в лес гоняют, бабы с ног сбились, бегамши доить туда.

— Я-то при чем?

— Как при чем ты?

— Да так... я сам всю глотку ободрал, кричамши, чтоб туда не гоняли.

— Так кто же это исхитрился?

— Чорт их знает! Небось, какой-нибудь домовой с нижней слободы.

Бондарь побежал на нижнюю слободу и через несколько времени оттуда послышалась его ругань:

— Настроили этих советов чортовых, вот все дуром и идет.

Потом, хмурый и недовольный, он вернулся и на вопрос шорника, кто дал такое распоряжение, только махнул рукой и сказал:

— Никто не знает. Все отказываются. Прямо, чисто домовой подшутил.

— Что за оказия такая...— говорили мужики в недоумении.

— Значит, какая-нибудь собака вякнула, вот и пошло дело.

На утро бабы сгоняли к околице коров в сторону леса и, увидев бондаря, который стоял у порога своей избы, кричали:

— Дядя Прокофий, куда ж гнать-то?

— А я почем знаю...

— Ах, оглашенные, они опять туда гонят!—кричала какая-то баба.

— Дядя Прокофий, куда гнать?—спросил пробегавший мимо бондаря пастух,—в лес, что ли?

— Гоните в лес, ну, вас к чорту,—сказал бондарь,—какой-то умник выдумал.

— Говорят, в лес велено,—сказал пастух, подходя к бабам.

— Вот господь казнь-то египетскую послал. Чтоб у него ноги отсохли, у окаянного!

ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ.

## Юношеские стихи Валерия Брюсова.

**П**ечатаемые нами три стихотворения В. Я. Брюсова относятся к началу его литературной деятельности, к 1893—1894 г.г. Автографы стихотворений сохранились в архиве проф. А. Александрова, бывшего в то время редактором журнала «Русское Обозрение». Юноша-поэт, ученик последнего класса московской гимназии Полшванова, едва ли не впервые робко и застенчиво передал свои стихи для печати \*). Однако, в «Русск. Обзор.» стихи В. Брюсова напечатаны не были. Стихотворения, действительно, слабые по форме, могут представить интерес для изучения творческого пути Валерия Брюсова. По воспоминаниям проф. А. Александрова, юноша Брюсов был уже и в те годы восторженным ценителем поэзии Пушкина и Фета и проявлял особенный интерес к поэзии французских символистов.

Стихотворение «Первое свидание» в измененной редакции (под загл. «Одна») было напечатано В. Я. Брюсовым во 2 изд. первого сборника его оригинальных стихотворений «Chefs d'oeuvre» (М. 1896) и помечено 1893 годом. В этой же редакции стихотворение было перепечатано Брюсовым в его полном собр. соч. и переводов (том. I, СПб. 1913); год написания стихотворения обозначен—1894. Мы помещаем стих. в его первой редакции, в печати не появлявшейся. Стих. «За карточным столом» и «Колумб», насколько нам известно, напечатаны нигде не были. Последнее стихотворение особенно характерно для Брюсова, в дальнейшем неоднократно избиравшего темами своих стихов героические образы истории.

---

\*) Имя В. Я. Брюсова в печати впервые появилось в 1889 году, в № 37 журнала «Русский Спорт», где будущий глава русских символистов поместил специальную спортивную статью. Брюсов-поэт выступил в печати в 1894 году, поместив ряд стихотворений (переводных и оригинальных) в I и II сборнике «Русские символисты», вызвавших критическую заметку и пародии Вл. Соловьева в «Вестнике Европы».



## ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ.

Нет мне в молитве отрады,  
 Боже мой, как я грешна!  
 Даже с мерцаньем лампы  
 Борется светом луна.

Даже и в девичьей спальне  
 Помнится дремлющий сад...  
 А из киотов печальной  
 Лики святые глядят.

Боже мой, как я виновна!  
 Веру когда ж я пойму?  
 Все позабывшая словно,  
 Шла я тропинкой к нему.

С ним я ходила в аллее,  
 Слушала речи его...  
 Где же грехи тяжелее?  
 Кто же грешней моего?

Боже! в ответ на признанья  
 Я прошептала «люблю»...  
 Боже мой! где ж наказанья?  
 Как я свой грех искуплю? \*).

\* \* \*

За карточным столом, среди холодных дам,  
 Узнав нечаянно ту, кто молодым годам—

\*) В варианте, появившемся в печати, 1-я и 2-я строфа остались без изменения, следующие же строфы таковы:

Боже, зачем искушенье  
 Ты в красоте создашь!  
 В лунном немом освещеньи  
 Был он так дивно хорош.  
 Тихо склонялися клены,  
 С неба скользнула звезда...  
 Здесь, перед светом иконы,  
 Вся я дрожу от стыда.  
 Сжался, отец правосудный,  
 Дай утешенье в тоске...  
 В лунных лучах изумрудный  
 Луг опускался к реке.  
 Шли мы дорожкой... и словно  
 Я отвечала «люблю»...  
 Боже мой, как я греховна,  
 Чем я свой грех искуплю?

В этом печатном варианте, состоящем из шести строф, чувствуется уже более твердая рука поэта, который и позднее счел возможным в этой окончательной редакции поместить свое юношеское стихотворение в полное собрание сочинений.

Лет двадцать пять назад—любви дарила грезы,  
 Узнав поэзию за новой маской прозы,  
 Былую красоту за красками румян  
 И в грузной талии—полувоздушный стан,—  
 О, счастлив будешь ты, когда воспоминанья  
 Не пробудят в душе тяжелого сознанья,  
 И смело подтвердит минувшего мечта,  
 Что молодость твоя недаром прожита.

### КОЛУМБ.

Таков  
 И ты, поэт!..  
 Идешь, куда тебя влекут  
 Мечтанья тайные...  
 Пушкин.

С могучей верою во взоре  
 Он неподвижен у руля  
 И правит в гибельном просторе  
 Покорным ходом корабля.

Толпа—безумием объята—  
 Воротит смелую ладью,  
 С угрозой требует возврата  
 И шлет проклятия вождю.

А он не слышит злобной брани  
 И, вдохновением влеком,  
 Плывет в безбрежном океане  
 Ещё неведомым путем.

---

## Жизнеописание Н. А. Некрасова.

До последнего времени в сообщениях всех биографов Некрасова о раннем периоде его литературной деятельности наблюдался существенный пробел, именно этот момент жизни поэта до сих пор освещен далеко не полно, между тем, к исполняющемуся вскоре 50-летию смерти Некрасова пора было бы подготовить вполне подобающее собрание сочинений поэта, с тщательно проверенным текстом и хорошо, без недомолвок, выполненной биографией поэта. В настоящее время осуществить такое издание по многим причинам, очевидно, представляется невозможным. А между тем, Некрасов, как поэт, Некрасов, как человек, Некрасов, как бунтарь и гражданин, Некрасов, как редактор журнала «Современник» (1847—1866) и «Отечественных Записок» (1868—1877)—Некрасов во всех этих видах уже давно вызывает к себе довольно напряженный общественный интерес.

Полной автобиографии Некрасова, кроме автобиографических отрывочных заметок, продиктованных им незадолго до смерти, исследователи Некрасова не знают. Однако, известно, что поэт в 50-ых годах был занят мыслью написать свою автобиографию; свидетельство об этом мы находим в одном из его писем к Тургеневу от 30 июня 1865 года.

«Мне,—пишет Некрасов,—пришло в голову писать свою биографию, т.-е. нечто вроде признаний или записок о моей жизни—в довольно обширном размере. Скажи: не слишком ли это, так сказать, самолюбиво?»

Но эту свою мысль Некрасов полностью так и не осуществил, и только в 1872 г. он сообщил свою автобиографию, и ее под диктовку записали.

Работая над литературным архивом известного историка М. И. Семевского, частью принадлежащего мне, я 19 ноября 1924 года обнаружил в одной рукописной тетради Семевского, наряду с другими помещенными в ней статьями, воспоминаниями и заметками, запись, сделанную не его рукой. На верху первой страницы помечено «Некрасов», а ниже: «записано 7 июня 1872 г.».

Всего написано 10 страниц тетради мелким почерком, скорее всего женским.

Каким же образом очутилась эта записка в тетради Семевского? Некрасов хорошо был с ним знаком, и в богатом альбоме автографов М. И. Семевского, хранящемся в настоящее время в Пушкинском доме при Российской Академии Наук, имеется такая собственноручная записка Некрасова:

«Николай Алексеевич Некрасов. Родился 28 ноября 1822 года. Прибыл в Петербург в конце 1838 года».

Очевидно, тем или иным образом Семевскому удалось заручиться обещанием Некрасова записать свою автобиографию, что поэт и исполнил 7 июня 1872 г., и скорее всего под его диктовку Герениевича Семевского записала рассказ поэта, а что это делалось под диктовку, видно из того, что сплошь и рядом в рукописи встречаются обрывки слов и фраз, а также и торжливый почерк.

Новонайденная автобиография Некрасова, не сообщая для биографов поэта ничего существенно важного, все же дополняет живыми штрихами сведения о начале его литературной деятельности. Новостью является упоминание о 2.000 руб., выданных Некрасовым от издания петербургского сборника и отданных им больному Белинскому на поездку в Украину.

*С. Шницер.*

## Автобиография Н. А. Некрасова.

(Записана 7 июня 1872 г.)

**Я** родился в 1822 г. в Ярославской губернии<sup>1)</sup>. Мой отец, старший адъютант князя Витгенштейна<sup>2)</sup>, был капитан в отставке. Вышел я из 4 класса гимназии. Уверил старшего брата, что мне нужно ехать в Петербург и там продолжать учение. Прокурор Полозов дал рекомендательное письмо жандармскому генералу Полозову об определении в дворянский полк<sup>3)</sup>. Прибыл в Петербург в 1838 г.<sup>4)</sup> В кармане 150 р. ассигнациями. Отказ мой Полозову от дворянского полка. Генерал написал брату, брат пожаловался отцу. Грубое письмо отца. Грубый мой ответ отцу, заключение его. («Если вы, батюшка, намерены писать ко мне бранные письма, то не трудитесь продолжать, я, не читая, буду возвращать вам письма»).

«Со мной была тетрадка стихотворений, на нее возлагал я большие надежды. Перебиваясь изо дня в день, я насилу добыл место гувернера у офицера Бенецкого—содержателя пансиона—для поступления в Инженерное училище<sup>5)</sup>. За 100 р. ассигнациями в месяц я обучал его десяток мальчиков с утра до позднего вечера.

«В начале 1840 года я приступил к изданию привезенных стихов отдельной книжечкой. Имея ее еще в листах, пошел к Жуковскому<sup>6)</sup>, в Шепелевский двор, близ Зимнего Дворца. Он жил очень высоко. Вышел благообразный старик, весьма чисто одетый, с наклоненной вперед головой. Отдавая листы, просил его мнения. Сказано—притти через три дня. Явился. Указано мне два стихотворения из всех, как порядочные, о прочих сказано: «Если хотите печатать, то издавайте без имени, впоследствии вы напишете лучше, и вам будет стыдно за эти стихи».

«Не печатать было нельзя, около сотни экземпляров Бенецким было запрошено, и деньги я получил вперед. Книжечка вышла,

автор скрылся под буквами Н. Н. Роздал книгу на комиссию; прихожу в магазин через неделю—ни одного экземпляра не продано, через другую то же, через два месяца—то же. В огорчении отобрал все экземпляры и большую часть уничтожил. Отказался писать лирические и вообще нежные произведения в стихах<sup>7)</sup>.

«Н. Полевой издавал «Сын Отечества». Он поместил одно стихотворение<sup>8)</sup>. Дал мне работу, я переводил с французского, писал отзывы о театральных пьесах, о книгах—ничего о них не зная. Ходил в Смирдинскую библиотеку-кабинет, брал кое-какие материалы, и заметки составлялись. Так я писал и сам учился<sup>9)</sup>.

«Желание поступить в университет меня не покидало. Пугала латынь. На Итальянской встретил в увеселительном заведении Успенского—профессора Духовной академии<sup>10)</sup>. Оба пьяные. Ученый переводчик классиков для академии с откровенностью молодости рассказал о своей службе. «Я вас выучу латыни, приходите жить ко мне».

«Поселился у него на Охте. Подле столовой за перегородкой темный чулан был моей квартирой. Успенский в полосатом халате пил запоем по нескольку недель.

— «Давай, буду тебя учить».

«Две, три недели учит очень хорошо, а там опять запьет. Ходил с ним к дьякону Прохорову. Тот был правой рукой митрополита бывшего Серафима<sup>11)</sup>, все духовенство валялось у его ног. У отца дьякона вечный картеж. Тут я выучился играть в преферанс.

«Начались экзамены в университете. Латинист Фрейтаг<sup>12)</sup> был очень строг, но и он с латыни поставил мне 5. Устрялов<sup>13)</sup> экзаменовал по русской истории; экзамены шли хорошо, но профессор всеобщей истории Касторский поставил единицу; говорят, любил взятки<sup>14)</sup>. Мне нечего было дать. Оставался экзамен по физике, в ней я ничего не знал, подготовиться не у кого, заплатить нечем, рассчитывал получить единицу по этому предмету. При одной единице тогда в университет принимали. Но, уже имея единицу, пошел к ректору Плетневу<sup>15)</sup>; он посоветовал отложить физику до декабря и обещал принять при одной единице по всеобщей истории. Успокоенный словом ректора, я загулял. Через две недели прихожу, узнаю, что не принят. Плетнев забыл обо мне заявить конференции. Иду к нему. С горечью выругал его. Мое положение было трагическое. На поступлении в университет

я рассчитывал примириться с отцом. Плетнев принял вольнослушателем. Я ходил сюда читать, но учиться и зарабатывать хлеб трудно, и я бросил.

«Издавал Краевский «Литературную Газету»—прибавление к «Инвалиду»<sup>16)</sup>. Издатель был Иванов—книгопродавец. Сюда я писал очень много. Краевский по контракту взял на себя всю работу за 18.000 р. ассигнациями, а сдал мне всю ее за 6.000 р. в год. В газете был отдел дагеротип. Весь он исписывался мною и в стихах, и в прозе.

«Я как-то недавно расчел, что мною исписано всего журнальной работы до 300 печатных листов. Отзывы мои о книгах обратили внимание Белинского, мысли наши в отзывах отличались замечательным сходством, хотя мои заметки в газете по времени часто предшествовали отзывам Белинского в журнале. Я сблизился с Белинским. Принялся немного за стихи. Приношу к нему около 1844 г. стихотворение «Родина»; написано было только начало. Белинский пришел в восторг, ему понравились задатки отрицания и вообще зарождение слов и мыслей, которые получили свое развитие в дальнейших моих стихах. Он убеждал продолжать<sup>17)</sup>.

«Сижу дома, работаю. Прибегают от Белинского. Иду туда. Впервые встречаю Тургенева<sup>18)</sup>. Читаю ему «Родину». Он в восторге: «Я много читал стихов, но так написать не могу,—сказал Тургенев,—мне нравятся и мысли, и стих».

«В собрании моих стихотворений печатается «Родина» в начале издания. С 1844 г. дела мои шли хорошо. Я без особого затруднения до 700 р. ассигнациями выручал в месяц, в то время как Белинский, связанный по условию с Краевским, работая больше, получал 450 р. в месяц. Я стал подымать его на дыбы, указывая на свой заработок.

«В 1845 г. издал я в Петербурге сборник, в нем между прочим было начало романа Федора Достоевского «Бедные люди»<sup>19)</sup>. Сборник дал мне чистых 2.000 р. Я был тогда молод, деньги отдал Белинскому на поездку в Малороссию со Щепкиным<sup>20)</sup>. Здоровье Белинского было сильно расстроено<sup>21)</sup>.

«Летом 1846 г. я гостил в Казанской губернии у приятеля своего, помещика Григория Матвеевича Толстого; он бывал за границей, обладал некоторым либерализмом. Жили мы с ним в бане и, сидя на балконе, часто беседовали о литературе. В соседство приехал Панаев<sup>22)</sup> с семьей, у него было там имение. Я возбуждал вопрос об издании журнала. Дело остановилось за день-

гамш. Панаев заявил, что у него есть 25.000 рублей свободного капитала, Толстой обещал ссудить также 25.000 р. Тогда я поспешил в Петербург. Журнал «Сын Отечества» умирает, издатель его Масальский был в это время в Ревеле. Я ездил к нему, но дело ни к чему не привело, тогда я пошел к Плетневу—издателю «Современника», начатого Пушкиным в 1836-м году. Плетнев легко согласился, уступил мне и Панаеву журнал, написал контракт с каждого подписчика давать Плетневу рубль, а если журнал прекратится вследствие явного нарушения цензурных правил, то мы ему платим 30.000 р. неустойки. Первый год, 1847, успех блестящий. Было 2.000 подписчиков; вместо прежней платы по рублю мы в виду успеха журнала обязались платить 3.000 р. Плетневу в год. В 1848 г. было более 2.800 подписчиков, но тут начались страшные гонения цензуры. Затем наибольший успех «Современника» в 1861 г.—было 6.800 подписчиков<sup>23</sup>). От Краевского я получил «Отечественные Записки» с 3.000 подписчиков, а ныне до 6.000<sup>24</sup>).

#### ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ.

1. Дата рождения Некрасова, указываемая всеми его биографами,—22 ноября 1821 г. Некрасов родился не в Ярославской, а в Подольской губернии, в одном из местечек, где тогда квартировал полк, в котором служил его отец. Эти сведения о рождении Некрасова помещены и в одной из самых ранних его биографий, напеч. в «Русской Библиотеке», вып. VII. Спб. 1877. Начало биографической заметки «Русск. Библ.» (до оставления Некрасовым университета) было написано со слов самого поэта и «было прочтено для фактической проверки». В собственноручной записи Некрасова в альбоме Семевского то же самое указан 1822 год, 28 ноября. Поэт легко мог ошибиться в числе, но ошибка в годе, по всей вероятности, принадлежит лицу, переписывавшему автобиографию Некрасова в тетрадь Семевского.

2. Витгенштейн, Петр Христианович (1768—1842), граф, фельдмаршал. Княжеский титул получил в 1834 г. от прусского короля Фридриха-Вильгельма III. С 1818 г. состоял главнокомандующим 2-ю армией (на юге).

Отец Некрасова—Алексей Сергеевич—служил в армии, большую часть своей службы состоял в адъютантских должностях.

В автобиографических заметках Некрасова, незадолго до смерти продиктованных им своим близким, сказано, что «дослужившись до капитанского чина, отец вышел в отставку и поселился в родовом своем имении Ярославской губ. и уезда, в сельце Грешневе», и рукою Некрасова вставлено: «куда привез, конечно, и молодую жену, и нас, двух сыновей своих—Андрея и Николая» (В. Евгеньев. Н. А. Некрасов. Сборн. статей и материалов. М. 1916. Стр. 9). В Грешневе Некрасов провел все свое детство и раннюю юность, до отъезда в Петербург.



3. Дворянский полк—военно-учебное заведение (сущ. с 1807 по 1855 г.) для детей дворян не моложе 16 лет; здесь они получали строевую подготовку, а затем производились в офицеры. Полозов—ярославский прокурор, приятель отца Некрасова. Генерал Полозов—начальник третьего округа корпуса жандармов.

4. Сведения о годе приезда Некрасова в Петербург довольно разноречивы. Сам поэт в разговорах со своими знакомыми называл 1837 год—год смерти Пушкина. В биографии «Русской Библиотеки» указан 1839 г. По сообщению сестры поэта, он направился в Петербург 20-го июля 1838 г. (Биогр. Некрасова, написанная Скабичевским, т. I посмертного издания стих. Некрасова. Спб. 1879. Стр. 24).

5. Венецкий, Григорий Францович—наставник-наблюдатель в Пажеском корпусе и преподаватель в Дворянском полку. «Он содержал что-то вроде подготовительного пансиона для поступающих в Пажеск. корпус или Дворянский полк и предоставил Некрасову занятия при этом пансионе по всем русским предметам. Это избавило юношу, по крайней мере, от прелестей ночлегов под открытым небом» (Скабичевский, стр. 33).

6. Жуковский, Василий Андреевич—известный поэт (1783—1852).

7. Первый сборник стихотворений Некрасова «Мечты и Звуки» под инициалами Н. П. Это—небольшая книжка, в 8-ю долю листа, в 102 страницы. Цензурная отметка с подписью А. Фрейганга помечена 25-м июля 1839 года. Сборник давно стал библиографической редкостью. В своих автобиограф. заметках, о которых упоминается выше, Некрасов по поводу своей первой книжки говорит: «Меня обругали (за «Мечты и Звуки») в какой-то газете, я написал ответ, и это был единственный случай, что я заступился за себя и свое произведение. Ответ был глупый, глупее самой книги. Все это произошло в 1840 году. Белинский тоже обругал мою книгу, я роздал на комиссию экземпляры,—ни одного не продано. Это был лучший урок. Я перестал писать серьезные стихи и стал писать эгоистически». Приведя этот отрывок биограф. Некрасова, В. Евгеньев замечает, что «последними словами Некрасов, без сомнения, хотел сказать, что после решительного провала его сборника. провала не только у авторитетного критика, но и у публики, он стал смотреть на свой литературный труд исключительно с точки зрения столь необходимого ему заработка». (В. Евгеньев. Н. А. Некрасов. М. 1914, стр. 91).

Краткий отзыв В. Г. Белинского о сборнике Некрасова появился в «Отечеств. Записках», 1840 г. № 3. Не входя в разбор стихов Некрасова, Белинский в своей рецензии ограничился несколькими мыслями о том, какой промах делают люди, не одаренные поэтическим талантом, выступая на литературное поприще со стихами. Проза для них благодарнее стихов: «если в прозе нет даже чувства и воображения, то могут быть ум, остроумие, наблюдательность или хоть гладкий язык... Посредственность в стихах нестерпима».

8. Полевой, Николай Алексеевич (1796—1846)—журналист и критик, издатель знаменитого в свое время журнала «Московский Телеграф», который был запрещен правительством в 1834 году. После запрещения «Моск. Телеграфа» редактировал «Живописное Обозрение», «Сын Отечества», «Русский Вестник», «Литературную Газету», издававшуюся Краевским. Первое стих. Некрасова, появившееся в печати—«Мысль»—помещено в сентябрьской

книжке «Сына Отечества» за 1838 год с редакторским примечанием: «Первый опыт юного 16-летнего поэта».

«Редакция, повидимому, несколько ошиблась, называя автора «Мысли» 16-летним юношей, так как Некрасов, родившийся 22 ноября 1821 г., в сентябре 1838 г. считал себя уже не 16, а почти 17 лет. С другой стороны, нельзя забывать и того обстоятельства, что стих. могло быть написано несколько ранее его помещения на страницах журнала». (В. Максимов. Литературные дебюты Некрасова. Спб. 1908. Стр. 31).

9. В биографич. очерке Скабичевского (стр. 33) приводятся отрывочные воспоминания Некрасова о той полосе его жизни, когда он по приезде в Петербург вынужден был приняться «за черный литературный труд в виде разных срочных журнальных работ, подвертывавшихся ему случайно». «Разбирать приходилось,—рассказывал Некрасов,—всякие книги, какие только попадались под руки, не одни художественные, но подчас и самые ученые. Собственных-то благоприобретенных знаний на это, конечно, не хватало, зато выручала публичная библиотека. Пойдешь туда, подымеешь всю ученость по предмету книги, ну, и ничего, сходило с рук».

Смирдинская библиотека—кабинет для чтения при книжной лавке популярного книгопродавца и издателя А. Ф. Смирдина (1795—1857).

10. Профессор духовной академии Дмитрий Ивалович Успенский.

11. Серафим (Глаголевский)—митрополит Новгородский и Петербургский (1757—1843).

12. Фрейтаг, Ф. К. (1800—1859)—филолог; профессор Петербургского ун-та по кафедре римской словесности и древностей.

13. Устрялов, Н. Г. (1805—1870)—историк, с 1834 г. профессор Петербургск. ун-та по кафедре русской истории.

14. В биогр. Некрасова, помещ. в «Русск. Библ.», сказано, что на приемном экзамене поэт получил единицу из географии у проф. Касторского. Текст биограф. заметки «Русск. Библ.» был просмотрен Некрасовым только до поступления его в университет,—сведения об университетском экзамене, сообщаемые данной автобиографией, вернее: М. И. Касторский (1809—1866) с 1838 года был в Петербургском ун-те адъюнктом по кафедре всеобщей истории.

15. Плетнев, Петр Александрович (1792—1862)—известный критик, один из друзей Пушкина. Ректором Петербургского ун-та состоял с 1840 по 1861 г.

16. Краевский, Андрей Александрович (1810—1889)—журналист. С 1838 года был негласным редактором и издателем литературных прибавлений к «Русскому Инвалиду». В 1840 г. литературные прибавления были переименованы в «Литературную Газету», редактирование которой Краевский поручил Ф. А. Кони (ред. 1840—1843). В числе сотрудников «Лит. Газ.», кроме Некрасова, были Белинский, Даль, гр. Соллогуб, В. Бенедиктов, Кольцов.

17. Знакомство Некрасова с В. Г. Белинским (1811—1848) относится к началу 40-х годов (см. И. И. Панаев. Литературные воспоминания). «В начале 40-х годов,—пишет Панаев, к числу сотрудников «Отеч. Зап.» присоединился Некрасов: его рецензии обратили на него внимание Белинского, и он познакомился с ним.... Некрасов произвел на Белинского с самого начала очень приятное впечатление. Он полюбил его за его резкий, несколько жесто-

ченный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добываясь куска насущного хлеба, и за тот смелый, практический взгляд не по летам, который вынес он из своей труженической и страдальческой жизни и которому Белинский всегда мучительно завидовал... Литературная деятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особенного. Белинский полагал, что Н. навсегда останется не более как полезным журнальным сотрудником: но когда он прочел ему стих. «На дороге», у Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами на глазах:—Да знаете ли вы, что вы поэт—и поэт истинный!

С этой минуты Н. еще более возвысился в глазах его... Его стих. «Родина» привело Белинского в восторг. Он выучил его наизусть и послал в Москву к своим приятелям.

18. Тургенев, Ив. Серг. (1818—1883).

19. «Петербургский Сборник», изд. Некрасовым, где был напечатан роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди», вышел в 1846 г. (цензурн. разреш. 12 янв.)

20. Щепкин, Михаил Семенович (1786—1863),—знаменитый артист, сын крепостного дворового человека гр. Волькенштейна (Курск. губ.). В 1823 г. был принят в труппу Малого театра (в Москве). В 1825 г. дебютировал в Петербурге. Постоянно совершенствуясь и неутомимо работая над развитием своего таланта, Щепкин вскоре приобрел известность гениального актера. По выражению одного из его современников, Щепкин являлся «достойным помощником, дополнителем и истолкователем великих мастеров сцены от Шекспира и Мольера до наших отечественных писателей—Фонвизина, Капниста, Грибоедова, Гоголя, Шаховского, Загоскина и Островского». Он интересовал всех лучших представителей литературы, искусства и науки, которые дорожили его дружбою. Белинский признавал игру Щепкина гениальной. Пушкин, относившийся к Щепкину с глубоким уважением, убедил его вести «Записки».

21. «Желая доставить Белинскому возможность сколько-нибудь поправить свое здоровье, друзья устроили ему поездку на юг вместе с известным актером М. С. Щепкиным, отправлявшимся в провинцию на гастроли. Белинский был рад этому случаю: «сделать верст тысячи четыре на юг, дорогою спать, есть, пить, глазеть по сторонам, ни о чем не заботиться, не писать, даже не читать русских книг для библиографии,—да это для меня лучше магометова рая... Я еду не только за здоровьем, но и за жизнью...» (Н. О. Лернер. Белинский. П. 1922). 26 апреля Белинский с Некрасовым выехал в Москву, оттуда вместе с М. С. Щепкиным 16 мая выехал на юг (Летопись жизни Белинского. Под ред. Н. К. Пиксанова. М. 1924). Съехав ряд южных городов, Белинский вернулся в Петербург в первой половине октября сравнительно бодрым и свежим.

22. Панаев, Иван Иванович (1812—1862),—журналист и беллетрист.

23. Журн. «Современник» был основан в 1836 г. А. С. Пушкиным. После его смерти редактором-издателем журнала был П. А. Плетнев. С 1847 по 1866 г. издавал и редактировал «Совр.» Некрасов (по 1862 г.—вместе с Панаевым). В журн. принимали участие все наиболее известные тогда писатели—Тургенев, Л. Толстой, Достоевский, Гончаров, Салтыков, Добролюбов, Чернышевский и др. Успех журнала был огромный. В 1866 г. «Совр.» был

по высочайшему повелению прекращен «вследствие доказанного с давнего времени вредного его направления». (А. В. Никитенко. Записки и дневник. Спб. 1905, т. II, стр. 298).

24. Журн. «Отечествен. Записки», основанный в 1820 г. Л. Свиньиным, прекратился в 1830 году; в 1839 г. право на издание журнала перешло к А. А. Краевскому. В 1846 г. Беллиеский, заведывавший критическим отделом журнала, прекратил в нем свое сотрудничество; «Отеч. Зап.» стали бесцветными. С 1868 г. фактическими редакторами «Отеч. Зап.» сделались Некрасов, Салтыков и Г. З. Елисеев, арендовавшие после запрещения «Современника» журнал у Краевского,—с этого времени наступила эпоха расцвета «Отеч. Записок».

---

## Анатоль Франс.

**Т**о, что прежде всего бросается в Анатоле Франсе в глаза нам, коммунистам, так сказать, в общественном явлении «Анатоль Франс»,—это факт перехода по эту сторону баррикады одного из культурнейших людей, одного из самых тонких хозяев старой культуры, человека, всеми фибрами сросшегося с нею. Но мало того,—особую значительность этому социальному факту придает то обстоятельство, что Анатоль Франс в значительной степени потому-то и проклял капиталистическое общество, потому-то и сблизился с его могильщиками, что был человеком старой культуры во всем ее объеме.

Разве это не интересно?

Ведь у нас до сих пор еще, несмотря на сердитый окрик великого Ленина, распространено представление о том, что культура, вплоть до возникновения элементов культуры пролетарской, сплошь «буржуазна», что она представляет собою опасный яд для всякого правоверного коммуниста, и что следует всемерно ограждать таких правоверных не только от «совета нечестивых», т.-е. людей старой культуры, но и от всего того, что они произведи. Порою, слушая таких людей, можно подумать, что мы не ученики Маркса, в колоссальной степени владевшего старой культурой и ценившего ее, между прочим, также и в области искусства (вспомним его отношение к Гомеру, Шекспиру, Бальзаку, Гете и Гейне), а ученики какого-то своеобразного Саванароллы, чуть-чуть не его «Плаксы», боящиеся всякой радости жизни и готовые собрать на площади им. Свердлова большой костер для сожжения «суеты сует».

Как это ни странно, еще и сейчас приходится доказывать, что наша радостная, языческая, больше того—безбожно-телесная, в жизнь влюбленная, культура, пролетарская культура, мощно продолжит как раз те стороны старой культуры, которые и составляют ее подлинную сущность, борющуюся через века и века со всякими формами жизнеотрицания.

И вот вам яркий пример. Человек до мозга костей культурный, даже как будто сверхкультурный (потому что Франс не столько жил непосредственной жизнью, соприкосновением с природой,

живыми людьми и так далее, как культурничеством, т. е. соприкосновением со всем этим через книгу, через художественные вещи и т. п.), все-таки отнюдь не оказался пленником буржуазии, которую иные из наших товарищей чуть ли не склонны рядить носителем этой культуры прошлого. Ведь кому же быть носителем «буржуазной» культуры, как не буржуазии? Разумеется, ни на одну минуту ни один коммунист не станет отрицать того факта, что культура носит классовый характер, что в общечеловеческую культуру, создававшуюся веками и столетиями, каждый могучий класс вносит свои элементы и, кроме того, старается весь объем культуры, им унаследованной, окрасить в свою окраску, использовать в своих целях. Но отсюда далеко до того прямолинейного и поверхностного вывода, что в каждую данную эпоху культура целиком является детищем, рабом и зеркалом господствующего класса. Припомним хотя бы то, что говорил Лассаль о науке. Можно было бы без большого труда доказать, что и Маркс стоял на той же точке зрения.

Лассаль был убежден, что наука находится в плену у буржуазии, что наука урезана, извращена, prostituiрована буржуазией. Он знал, конечно, что некоторые ученые представляют собою сознательных сутенеров этой prostituiрованной науки. Он знал, что другие испорчены, так сказать, до мозга костей и с полной наивностью воображают, что творят науку с большой буквы, в сущности говоря, подлаживаясь под том господствующего класса. Но знал он и то, что иные ученые смутно чувствуют, иногда догадываются, а иногда прямо-таки знают, что находятся в плену. И Лассаль был тысячу раз прав, когда, исходя из коренной объективности пролетарского класса, обусловленной его социальным положением, звал ученых к союзу с «четвертым сословием», предсказывал такой союз и уверял, что наука расцветет в полной свободе лишь в социалистическом обществе.

Нельзя видеть противоречия в том, что машинная индустрия, созданная буржуазией и в этом смысле глубоко буржуазная, нужна так же точно и нам и является, между прочим, как раз той силой, которая рвется из рук капитализма, которая стремится похоронить его, своего отца и пока еще хозяина. Нельзя видеть противоречий в том, что великие материалисты XVIII века или великие идеалисты начала XIX, или Дарвин, будучи в известной мере отравлены буржуазными соками, являются тем не менее совершенно необходимыми устоями главного в нашей собственной культуре, т. е. марксизма. Все это вовсе не противоречия. Вдумчивый марксист прекрасно видит, в каких взаимоотношениях все это находится.

Каждая культура, вернее, культура каждой эпохи, не имеет своей целью исключительно политические достижения, *исключительно* защиту власти господствующего класса. В огромной мере она есть разрешение объективных задач, поставленных обществу на данной стадии развития. Ни одно общество не может

существовать, не может победить другие предшествующие формы общества, если оно не разрешает более или менее удовлетворительно коренных экономических вопросов, если оно не разрешает их наиболее удовлетворительным для данного времени способом. Ведь именно тогда, когда жизнь подготавливает другие способы разрешения экономических вопросов, уже не вмещающиеся в рамки данного общества, оно и разваливается. Но невозможно себе представить, чтобы параллельно скачку, каким является переход качества в количество в политической жизни, таким же скачком изменялась, например, техника. Она, разумеется, не разворачивается по-черепашьи или эволюционно, как утверждает буржуазный ученый,—чем дальше, тем острее растет и изменяется техника, чем дальше, тем чаще встречаются в ней великие изобретения и отдельное быстрое продвижение вперед. Но даже этот ускоренный темп был бы немыслим, если бы он не знаменовал собой аккумуляции в данном случае технической культуры из века в век. То же самое относится и к тем частям культуры, которые носят наименование надстроек. Совершенно очевидно, что в них требуются два условия. С одной стороны, они должны отвечать своему фундаменту, т.-е. каждая экономика и в соответствии с этим интересы господствующих при ней классов—требуют от идеологии соответствия этим интересам. Но рядом с этим идеология должна отвечать и непосредственным задачам, которые перед ней стоят. Если бы, например, государственный строй, право, религия, мораль данной эпохи соответствовали интересам господствующего класса, но были бы явно бессмысленны, нецелесообразны с точки зрения жизненного уклада всех остальных классов, соседей и т. д., если бы они возбуждали на каждом шагу противоречия с данными всем очевидного опыта, с элементарными правилами мышления и т. д., то такая неуклюжесть их была бы их огромной слабостью. При таких условиях получилась бы некоторая *contradictio in adjecto*, ибо такая неуклюжая система не могла бы соответствовать классовым интересам господствующих, компрометировала бы их. Как ни парадоксальны и ни нелепы были в некоторые времена эти надстройки, тем не менее они всегда должны были иметь в виду не только интересы класса, но и наибольшую внутреннюю стройность, наибольшую силу убедительности и известного приспособления к другим классам, поскольку эта культура была обращена и к ним. Думается, не парадоксально будет сказать, что конституция в лассалевском смысле слова существовала всегда, что даже мало-мальски умный рабовладелец стремился считаться в какой-то мере с психологией раба,—запугивал ли он его или опутывал идеологическими путями,—чтобы добиться от него службы «не токмо за страх, но и за совесть». Чем больше осложняется культура, чем больше накапливается в ней прошлого, т.-е. былых достижений, тем совершеннее должны быть и идеологические формы, тем важнее, чтобы они в рамках интереса господствующего класса могли бы претендовать на

некоторую неизбежность, на некоторую, якобы, абсолютную логичность и т. д.

Если говорить об искусстве, то, можно сказать, искусство каждого сильного класса, стремясь, с одной стороны, организовать его чувства, рекламировать его образ мысли и жизни и т. д. и т. п., вместе с тем стремится достигнуть наиболее законченного стиля, наибольшей степени воздействия на психологию воспринимающего. Другими словами, искусство каждого крепкого руководящего класса претендует на то, чтобы быть абсолютным, классическим, чтобы отражать некоторый фактом, именуемый «идеальной» красотой.

История человеческой культуры есть длинный ряд разнообразных решений естественных и общественных проблем, и поскольку в общем и целом, независимо от отдельных волн упадка культура эта идет вверх вплоть до капиталистического общества, включая и его, постольку, конечно, каждое последующее разрешение этих вопросов считается с предыдущим, принимает их в некоторых отношениях за образец или за материал, словом, культура, несмотря на вступление в нее разных классов, преемственна. Правда, конечно, часто новый класс, только что приступивший к власти, с особенной ненавистью относится к тому, что создал до него класс-предшественник, но это не противоречит преемственности, ибо все же новый класс воспринимает целый ряд нейтральных элементов культуры. Кроме того, обыкновенно сейчас же начинает он искать корни в прошлом помимо непосредственных предшественников.

Интереснее же всего то, что, когда данный класс клонится к упадку, то, естественно, его требования перестают отвечать восходящей линии техники и всех зависящих от нее культурных форм. Культура, отражающая интересы падающего класса, входит в противоречия даже с культурой того же класса, но эпохи его расцвета. В этом случае мы неизбежно должны наткнуться на усиливающуюся внутреннюю борьбу в области надстроек. С одной стороны—общество вырабатывает спецов по этим надстройкам: ученых, публицистов, художников и т. д. В наше время—так называемую интеллигенцию. Эта интеллигенция, согласно раздробленному сознанию нашего времени, вовсе не сознает своей роли, как организатора известных сторон господства руководящего класса. Она полагает, что служит определенным идеалам, определенному глубокому и самостоятельному делу. Поэтому декаданс, в который впадает руководящий класс, может встретить сопротивление со стороны носителей собственной культуры, юристов, которые во имя выработанных норм права вооружаются против его порчи, художников, с ненавистью относящихся к новым нелепым модам, явным образом нарушающим достигнутой высоте вкуса и творчества, ученых, сопротивляющихся отходу от научной честности в сторону ее фальсификации. Но такое сопротивление носителей культуры против того, кому она служит,—т.-е. гос-



подстывающего класса, может породить разного рода благородные конфликты и порою бесплодное мученичество, но осуждено на слом, если в недрах общества, и это обыкновенно так и бывает, к этому времени нарождается новый класс—класс-наследник, класс, стремящийся переделать все общество на новый лад в соответствии прежде всего с новой технической базой всей общественной жизни.

Что же здесь получится?

Каковы будут отношения нового класса к старой культуре?

Прежде всего новый класс знает, что в технике производства он должен целиком базироваться на тот момент, который он нашел. Техника, производственные силы упруго поднимаются и поднимают вместе с тем его наследника. Такой класс прекрасно понимает, что техника будет развиваться дальше, но может развиваться только на уже достигнутой базе. С другой стороны, инженер, искренно и объективно настроенный, не зачужденный окончательно господствующими, не потерявший свою инженерскую совесть, в этих случаях особенно близок к тому, чтобы заключить союз с новым классом, в особенности в момент, когда он поверит в его действительные победившие силы.

Сложнее дело с идеологическими надстройками. Прежде всего, конечно, новый класс полностью отметет всю ту гниль, которая нагромождается в области культуры в результате упадочности одряхлевшего класса, но он иногда не чувствует союзной силы и здоровых элементов культуры, он попросту плохо их знает. Он привык видеть их, так сказать, на службе у господствующих классов. Отсюда, естественно,—дух некоторого иконоборчества, а рядом с этим молодой задор, порою стремление разрушить всю старинную храмину и в три дня ее воссоздать. Однако, такое настроение до крайности опрометчиво. В него особенно легко впадают анархисты и анархистствующие; менее всего в него должны впадать марксисты, которые должны стоять на исторической почве, которые не могут ослепляться классовою ненавистью вплоть до разрушения каких бы то ни было полезных орудий низвергаемого класса. Появляются элементы, наступают дни, когда новый революционный класс анализирует старую культуру и отбирает в ней то, что может служить непосредственно на потребу ему или фундаментом для грядущего строительства. Здесь уместно припомнить, как непрестанно и как подчеркнуто возвращается Владимир Ильич к идее о необходимости усвоить старую культуру вплоть до старого искусства, о чем совершенно определенно гласит составленный им соответствующий параграф нашей программы.

В свою очередь, культурные люди, т.-е. интеллигенция предшествовавшей эпохи, непременно должны разделиться на два лагеря: людей, окончательно прилипших к падающему классу и переживших декаданс вместе с ним, и вышеупомянутых мною людей «объективного» искусства и науки (сравни употребление этого слова Марксом в характеристике Рикардо в противоположность

Мальтусу). Надо сказать, однако, что вторые не идут целиком навстречу новому революционному классу, они против всяческого декаданса времени упадка своего класса, но они больше видят в прошлом главные ценности, в то время как революционный класс видит их, главным образом, в будущем. Чем больше революционный класс отбрасывает неразборчиво всю старую культуру, тем более отталкивает он от себя этих ценнейших союзников. Чем больше, наоборот, он будет разбираться в старой культуре, чем внимательнее, чем любовнее относится он к своему культурному наследию, к его хранителям и его работникам, тем скорее наступает все более крепкий сговор, все более определенная смычка между лучшей частью интеллигенции и революционным классом. И это является залогом наиболее легкого возникновения в недрах самого революционного класса собственной интеллигенции, т. е. усвоения всего итательного и в составе старой культуры.

После этого предисловия мне почти нечего говорить об Анатоле Франсе. Ибо с той стороны, с которой я в данной статье подошел к нему, все становится ясным. Конечно, Анатоль Франс является таким взбунтовавшимся культурником в эпоху, когда французская буржуазия стала изменять культуре, в частности, даже своей собственной культуре эпохи расцвета. Почувствовав в коммунизме силу, не только разрушительную, но и в глубочайшей степени культурную, Анатоль Франс, естественно, связал себя с будущим, которое он несет.

Проверим это на нескольких фактах биографии Франса.

С самого детства своего Анатоль Тибо (Франс), как сын антиквара и библиофила, окружен был лучшим и отборнейшим, что есть в культуре веков. Это, с одной стороны, делает из него глубоко проникновенного ценителя красоты мысли, красоты формы, с другой стороны,—приучает его к свободе от всякой конкретной мысли и формы. Он чрезвычайно широко обследовал ценности любой эпохи, любого народа, он знает, как меняются моды, их течения, стили, он смолоду привык не считать, что победитель непременно прав. Для него это—сменяющийся поток своеобразных красот и своеобразных полуистин, которые были подлинными истинами для своей эпохи и стали ложью в эпоху последующую. Отсюда—уменье Франса наслаждаться всеми культурными ценностями и его скептицизм, его глубоко-отрицательное отношение ко всякому септантству.

В свое время многие думали, что Анатоль Франс исчерпывается этой характеристикой, что это дегустатор разных культурных ликеров, наслажденщик, скептический и тонкий чичероне по мировому музею. Однако, будущее показало, что это не так. В годы, когда буржуазия явно обозначила свою тенденцию к упадку, не менее ярко сказалось то, о чем, впрочем, и раньше внимательный читатель Франса мог бы догадаться, и именно: его далеко не безразличное отношение к вышеозначенным цен-

ностям культуры. Скептик-то—скептик, но, во всяком случае, страстный и преданный друг полнокровной жизни, свободы чувства и наслаждения, с одной стороны, и свободы мысли, с другой. Под скептической улыбкой—страстный противник обскурантизма, в особенности поповства, в котором соединяются ненавистный Франсу аскетизм и ненавистная для него тирания над мыслью.

Будучи одним из последних представителей здоровой эпохи буржуазной культуры, Франс легко и просто стал атеистом. Материал XVIII века казался ему «истинно здоровой» философией. Необыкновенно схоже миросозерцание Франса тех годов, когда вообще о нем уже можно говорить, с миросозерцанием Гете. Характерно, что Франс полюбил знаменитую «Коринфскую невесту» Гете, в которой Гете с такой сдержанной яростью противопоставляет языческую правду христианской лжи. Анатолий Франс переработал эту балладу Гете в целую поэму «Коринфская свадьба».

Учителями Франса были в значительной степени Ренан и Тэн.

Кто такие Ренан и Тэн? Мы, конечно, не можем поставить их только в один ряд с великими философами зари буржуазии. Мы равным образом не можем отвести им места рядом с еще более великими провозвестниками наступающей пролетарской культуры. В Ренане навсегда сохранилась некоторая поповская елейность, вынесенная им из семинарии, какие-то черты обходительности, мягкости и круглости. Ни одной проблемы он не ставит остро. В нем было очень много барства, эстетства, улыбающегося эгоизма и примиренчества, но все же Ренан—горячий сторонник свободы мысли, разрушитель многих и многих христианских легенд, человек, ненавистный попам, и, как говорит о нем Анатолий Франс, «человек глубокой науки, богатого мышления, в котором даже сомнения действовали, как верования». Двойственен и Тэн. Одной своей стороной это порядочный реакционер, написавший целый ряд исторических книг, направленных против французской революции, но, с другой стороны, это последовательный материалист, автор выдающейся книги по психологии, в которой последовательно проводятся идеи психологии без души, а также замечательной истории искусства, формулы которой не доросли, правда, до формул Маркса, но исследования остаются важной опорой для всякой работы марксиста.

Таким образом, Франс был учеником и другом лучших эпигонов *буржуазной культуры*. Первые произведения Анатолия Франса были целиком тем дегустаторством, о котором я говорил. Он так вчитался в старые книги, что умел великолепно стилизовать под них. Он охотно занимался этим, внося известный модернизм и свои собственные наклонности в рамки своих восхитительных исторических миниатюр. Но скоро Франс переходит к современности. Его «Современная история» есть длинный ряд романов, связанных единством лица неким провинциальным умником, двойником Франса,—Бержере, который, переживая тонко нарисованные личные драмы, интересен, главным образом,

как беспристрастный, культурный, благородный, в стороне стоящий, летописец современности. Бержере судит во многом, как буржуа, но как свободный, умный, позитивистически мыслящий сторонник демократии, в подлинном смысле слова, сторонник свободы, гениально наблюдающий постепенное разложение всех этих принципов, постепенное падение современной ему буржуазии. Он протестует только критикуя, только лукаво, а порою желчно насмехаясь.

В «Острове пингвинов» Анатоль Франс решительно уже переходит в наступление. «Остров пингвинов» уже сатира. Французская буржуазия и ее писатели сильно обиделись на Анатоля Франса за эту пародию на их национальный характер и на то сплетение предрассудков, в которое стала обращаться их житейская культура. В некоторых отдельных рассказах, в особенности в «Приключении Кренкебиля», Анатоль Франс подымается, так сказать, до пощечины обществу, на маленьком факте раскрывая всю глубину его безобразия. Франс все более начинает переходить от критики буржуазного упадничества к критике частной собственности вообще, ибо ему более или менее ясным становится, что именно частная собственность и порождаемый ею эгоизм—единичный и групповой—являются корнем порчи культуры. Конечно, Франс настолько мало сектант, даже принимая это слово в самом благородном смысле, что, создавая изумительную по внешней правдивости картину великой революции в своем романе «Боги жаждут»,—он, хотя и может в некоторой степени признать благородство революционеров-сектантов, тем не менее, с большей симпатией противопоставляет им себе подобного эпикурейца-скептика. В своем «Восстании ангелов», книге необычайного юмора и свежести, поражающих под пером почти семидесятилетнего старца, Анатоль Франс не выходит за границу чудесного балагурства, но под этим балагурством, во всяком случае, блещет дух вольтерьянства в самом лучшем смысле этого слова.

К этому надо прибавить ряд критических и публицистических работ Анатоля Франса. В них заметна та же самая параболла. Вначале это—только эстет, потом это—эстет, протестующий против наступления поповства, против буржуазной безвкусицы, против мещанских предрассудков, наконец, это высокий интеллигент, начинающий разбираться в социальных корнях окружающей его неправды и все ближе подходящий к идеалу социализма. В своем произведении «На белом камне» Анатоль Франс написал даже во многих отношениях очаровательную социалистическую утопию.

Этот путь Анатоля Франса не является, однако, ровной параболой, о которой я говорю. В двух местах он резко сломан. В двух местах направление меняется под более или менее значительным уклоном. Первым эпизодом этого порядка было дело Дрейфуса. Оно раскрыло Анатолю Франсу всю глубину реакционного подкопа, ведь тогда затрещала даже республика, даже масонское свободомыслие, затрещала декоративная буржуазная демократия.

Генералы и попы вкупе и влюбле шли к полному внешнему выявлению своей внутренне уже очень могучей власти.

Анатоль Франс не просто сентиментально вступился за узника «Чортова острова», он сразу рассмотрел антидрейфусаров, своих истонных врагов, как губителей подлинной культуры, вот почему он присоединился не к дрейфусарам вообще, а заключил дружбу с Жоресом.

Очень характерно, что молодому Франсу Золя казался чудовищем безвкусица, погонщиком грубых эффектов, порнографом на широкую продажу. Дело Дрейфуса заставило Анатоля Франса пересмотреть свое отношение к Эмилю Золя. Прежде всего он понял, какой это необыкновенно честный человек. Он почувствовал в нем такого же интеллигента-протестанта, каким был он сам, ибо Золя в научном натурализме своего искусства поднял знамя бунтаря против декадентствующей буржуазии. Но это раскрыло глаза Анатолю Франсу и на глубокую прелесть великого писателя, на потрясающую правдивость его картин, на безжалостную твердость его хирургической руки, на богатство результатов его аналитических приемов. Дружба Анатоля Франса второго периода с Эмилем Золя естественна, как естественно то, что Эмиль Золя насильно шел к социализму. Мы можем с уверенностью казать, что, каковы бы ни были заблуждения Золя, как и Жореса,—оба эти человека были бы теперь по меньшей мере на той же позиции горячей симпатии к коммунизму, на которой стоял перед смертью Франс и, может быть, пошли бы дальше его.

Вторым переломным пунктом для Анатоля Франса была империалистическая война. Вначале он был ошеломлен ею, вначале ему показалось, что грубые «боши» идут окончательно разрушать дорожку ему культуру, но острый взгляд великого старика скоро разобрал, что боши-то имеются по обе стороны траншей, что национальная война есть только омерзительная и бесконечно опасная декорация подлинной, скрывающейся за ней, войны, войны классово. Вдумавшись в нее, Франс определил свое место. Он—хранитель культуры, он—друг ее дальнейшего вольного развития, он—сторонник широкой, свободной, счастливой жизни, расцвета свободной мысли, свободной науки,—он должен быть бесспорно вместе с коммунистами. Его запугивали, ему говорили, что коммунисты—отрицатели культуры, разрушители ее ценностей, что они—тираны, отвергающие всякую свободу, но Анатоль Франс был умен, он понимал, что в военное время коммунизм не может расцветать розами без шипов и воображать, будто он может почить на победных лаврах. Он прекрасно понимал, как необходим меч подлинному антимилитаристу, как необходима беспощадная борьба против лживой прессы сторонников подлинной свободы слова. Он не поколебался. Рядом с прекрасными немеркнущими творениями его он завещал нам еще и практическое разрешение проблем о взаимоотношениях между подлинной и живой старой культурой, с одной стороны, и революционной—с другой.

А. ЛУНАЧАРСКИЙ.

# Российские царисты и германские империалисты.

(Из истории германской интервенции.)

*И. Чья бы корова мычала, а германская бы молчала.*

**И**звестно, что крайним и последним аргументом против большевиков, когда уже нехватает никаких других, является обвинение их в попытках вызвать мировую революцию и во вмешательстве во внутренние дела других государств. Особенно усердствуют в этом отношении немецкие социал-демократы. Мы хорошо помним, как гнусно они вели себя в 1924 году во время инцидента, вызванного налетом берлинской полиции на наше торговое представительство в Германии,—налетом, который в значительной мере был спровоцирован, чтобы не сказать—организован—именно социал-демократами. Чтобы оправдать берлинских охранников, действовавших по инспирациям социал-демократии, эсдековские писаксы проливали бочки чернил, чтобы доказать наши попытки вмешаться в германские внутренние дела и вызвать в Германии социальную революцию. Что все это было наглейшей ложью и притом заведомой, доказали дальнейшие события, в результате которых германское правительство вынуждено было представить свои извинения. Но пикантная сторона всей этой истории заключается в том, что германским-то социал-демократам уж во всяком случае нужно держать язык за зубами, ибо если когда-либо кто и вмешивался во внутренние дела другого народа, так это не русские коммунисты, а именно германские социал-демократы, и вмешивались не с революционными, а с контр-революционными целями.

Известно, что первая интервенция в 1918 году исходила от императорской Германии, соучастником которой социал-демократия была не за страх, а за совесть. Мы видели интервенцию германцев в Финляндии, в Прибалтике, на Украине, на Дону, в Крыму и т. д. Первую основу нашей контр-революции положила именно германская интервенция, против которой социал-

демократы не только не считали нужным протестовать, но кеторую, напротив, они всячески поддерживали.

Но даже после низвержения Гогенцоллернов, после установления германской республики да еще не простой, а «социалистической», германские социал-демократы продолжали вести по отношению к Советской Республике не просто враждебную, а прямо интервенционистскую политику. Достаточно только вспомнить поведение социал-демократа Виннига, бывшего тогда германским комиссаром в Прибалтике. Здесь социал-демократия поддерживала самых ярых черносотенных немецких помещиков, пресловутых балтийских баронов; здесь она помогла местной буржуазии разгромить пролетариат. Но и в других местах социал-демократическое правительство германской республики вело по отношению к нам политику интервенции. По приказу Антанты, с которой социал-демократы надеялись спеться за наш счет, они задерживали на Украине и в Крыму свои гарнизоны, чтобы помешать провозглашению там советской власти. Пусть это была интервенция вынужденная—от этого ее характер по существу не меняется.

Про германскую буржуазию и говорить не приходится. Ясно, что если социал-демократы повинны в интервенции империалистической Германии в наши внутренние дела, то уж германская буржуазия несет всецело историческую ответственность за нее.

Уже после полного поражения Германии, после того, как она была поставлена Антантой на колени, как на ее шее была захлестнута мертвая петля, германские империалисты услужливо предлагали свою шпагу империалистам Согласия, а генералы Гофман, Людендорф и братья пытались выступить в роли новых наемных кондотьеров, чтобы мечом подавить советскую власть и за эту услугу получить от Антанты клочок медвежьего ушка.

Мы говорим о вещах, получивших всеобщую огласку и всем известных. Но ведь очень многое из этих событий, особенно из закулисной истории последних лет, пока еще хранится в дипломатических тайниках и не успело выйти наружу. Надо думать, что когда все, ныне еще тайное, делается явным, мы получим много новых пикантных доказательств германской буржуазной и соц.-демократической интервенции в наши дела.

Одно такое разоблачение недавно сделано в мемуарах известного российского контр-революционера В. И. Гурко, напечатанных в 15-м томе издаваемого Гессеном «Архива русской революции». Это разоблачение в сильнейшей степени компрометирует немецкие империалистические круги. Но надо думать, что рассказ г. Гурко соответствует действительности, ибо упомянутый «Архив» издается как раз в Берлине, и вряд ли г. Гессен посмел бы компрометировать покровительствующую ему германскую буржуазию выдуманными сообщениями.

## 2. Германо-русский заговор 1918 года.

Итак, вот что сообщает г-н Гурко.

В начале 1918 года в Москве образовалась контр-революционная группировка под названием «правый центр». В ней участвовали кадеты, черносотенцы, октябристы, дружески сотрудничавшие в общем деле борьбы с рабоче-крестьянской властью. Сознывая, что у них нет никакой опоры в народе, что рабочие массы решительно идут за большевиками, и что крестьянство в массе тоже сочувствует им вследствие страха перед помещичьей реставрацией, эта белогвардейская группа поспешила связаться с немцами.

Нужно помнить, что один из главных аргументов белогвардейцев против большевиков заключался и заключается в том, что большевики будто являются агентами германского империализма, и что октябрьская революция совершена чуть ли не по наущению германского генерального штаба. Но, как известно, на деле единственной сильной партией, которая в меру своих сил давала отпор притязаниям германского империализма, была большевистская партия. Те же буржуазные группы, которые объявляли большевикам войну не на живот, а на смерть, не поцеремонились, когда им это понадобилось, поклониться германскому бронированному кулаку и попытаться его милостью вернуться к власти.

Нужно помнить, что в начале 1918 года, после выхода России из мировой войны, многим казалось, что все шансы на победу находятся на стороне немцев. Так как для буржуазии важнее всего сохранить свои экономические привилегии и политическое господство, то для нее на первом плане стоит удержание трудящихся масс в рабстве какою бы то ни было ценой. Так как в ее устах патриотические мотивы являются лишь одним из орудий господства и одурачения рабочих масс, то неудивительно, что побитая буржуазия скоро сменила союзническую ориентацию на германскую. Так поступили и «кадеты» во главе с лидером кадетской партии г-ном Милюковым. Но особенно легко было принять германскую ориентацию реакционерам-монархистам, которые, как известно, всегда склонялись к союзу с императорской Германией и были преданы и за страх, и за совесть непобедимому, как им казалось, германскому кайзеру.

Г-н Гурко курьезно объясняет, почему он и подобные ему так легко приняли германскую ориентацию. Он доказывал своим собеседникам, что «у правого центра нет иной ориентации кроме русской <sup>1)</sup>», и что в выборе между державами Согласия и Германией единственное начало, которым центр этот руководствуется,—

<sup>1)</sup> Ясно, что под «русской ориентацией» здесь нужно разуметь ориентацию на восстановление помещичье-буржуазного господства.



это польза государственная (читай: помещичья). Приводил я и известные слова Пальмерстона, некогда сказавшего, что у Англии нет постоянных союзников, а есть лишь постоянные интересы (хорошо сказано, и ясно, что здесь имеются в виду помещичьи интересы). Чувства неприязни и даже вражды к нации, с которой вели ожесточенную войну в течение трех слишком лет, вполне понятны, но руководствоваться чувствами в политике нельзя. Точно также немислимо говорить о какой-то верности союзникам, когда эти же самые союзники заявили готовность (?) поддерживать у власти поработителей России, лишь бы они согласились продолжать борьбу с Германией. Следует помнить, что согласно латинскому изречению *vetita privatim, publice jubentur*—запрещенное в частных отношениях, в отношениях общественных обязательно. Когда верность государства принятым им на себя обязательствам смертельно вредна интересам народа, соблюдение этой верности правителями является ни чем иным, как предательством по отношению к своему народу. Честь правителей зиждется не на соблюдении принятых ими международных обязательств, а на всемерном охранении интересов своего народа. Иной образ действий—не только не разумный, но и преступный. Люди, взявшие на себя бремя охраны интересов своего народа, не имеют права руководствоваться иными соображениями, кроме отвечающих этим интересам <sup>1)</sup>. Тут вопросам чести не место. На международном рынке расценивается не честь народов, а лишь степень их мощи. Соблюдая во что бы то ни стало принятые государством обязательства, правители в сущности ограждают не честь народа, свойства которого от этого не изменятся, а лишь собственную, личную честь, иначе говоря, действуют, сами того, быть может, не сознавая, в высшей степени эгоистично».

Таковыми соображениями г. Гурко пытался убедить Савинкова в целесообразности для контр-революции поворота к германской ориентации.

«Союз Возрождения», состоявший из кадетов и эсеров с некоторой примесью меньшевиков, не соглашался с этим. Он стоял еще на союзнической ориентации, т.-е. надеялся вернуть буржуазию и помещиков к власти штыками не германцев, а союзников. С этой целью деятели этого «Союза», как рассказывает Гурко, решили привлечь японцев к высадке своих войск на Дальнем Востоке и к продвижению их до Урала, присоединив к себе чехословацких военнопленных и русских добровольцев. Все это под предлогом создания нового анти-германского фронта. По сообщению Гурко, инициатива японской интервенции принадлежит французскому правительству. «Предположение это возникло в Париже и было протелеграфировано В. А. Маклаковым через

<sup>1)</sup> Господин Гурко в данном случае, подобно библейскому Валааму, против своей воли оправдывает целый ряд актов, осуществленных советским правительством в интересах трудящихся масс, хотя и в ущерб обязательствам, принятым на себя царским и временным правительствами.

посредство французского консула в Москве Гренара члену правого центра, кн. Е. Н. Трубецкому. Идея эта была совершенно фантастична и могла возникнуть лишь в охваченных страхом от крушения русского восточного фронта французских правительственных кругах. Совершенно неосведомленный об истинном положении дел в России, при котором *ни о каком продолжении нашей борьбы с Германией не могло быть и речи*<sup>1)</sup>, Маклаков горячо поддерживал эту мысль. Союз Возрождения... также присоединился к этой несуразной, с точки зрения русских национальных интересов, мысли». Гурко сообщает, что мысль о привлечении японцев «смущала» правых контр-революционеров. По его словам, предполагалось, что японские войска поведут не только борьбу против Германии, но и помогут свергнуть большевистскую власть. Но, видите ли, черносотенные патриоты боялись, что Япония в результате этого захватит Владивосток и весь Уссурийский край, а это не улыбалось их патриотическому сердцу, и потому они, дескать, предпочитали германскую интервенцию.

На самом деле (если самый факт верен) объяснялось это несколько иначе. Реакционеры опасались, что японская интервенция, которая будет, мол, происходить под контролем Антанты, доставит торжество «демократическим» элементам, т.-е. эсерам и кадетам. А в случае низвержения большевиков с помощью германских штыков реакционеры были уверены в том, что тогда власть достанется им и что будет восстановлено помещичье самодержавие. Вот почему правые круги белогвардейщины начали склоняться к мысли о желательности германской интервенции.

И вот белогвардейцы вступили в тайные сношения с германскими военными и чиновниками, находившимися в России на основании Брест-Литовского договора. «Как раз в то время,— сообщает г. Гурко,—когда велись переговоры с Францией об образовании Уральского фронта, некоторые представители германского правительства завязали сношения с группой политических деятелей умеренно-правого направления в Петербурге».

Г-н Гурко выражается нарочито неясно. У него нельзя понять, кому же принадлежала инициатива этих сношений—представителям германского правительства или же русским политическим деятелям реакционного направления. Можно думать, что инициатива шла с обеих сторон. Ведь известно, что хорошие умы встречаются. Германские империалисты заключили договор с большевиками в надежде, что таким образом они одержат победу на западном фронте, продиктуют свои условия Англии и Франции, установят в Европе германскую гегемонию, а затем, освободившись от фронтов, примутся за монархическую реставрацию повсюду. Не подлежит сомнению, что германский империализм мечтал о восстановлении в России царской власти. Царизм, вос-

<sup>1)</sup> Это подчеркнутое нами признание не мешает запомнить.

кресный благодаря германским штыкам, был бы верным рабом германского императора. Наш царизм всегда был лакеем императорской Германии, но теперь он уже окончательно попал бы под ее влияние и был бы ее послушным орудием на востоке Европы и в Азии. Поэтому можно допустить, что инициатива переговоров, направленных к низвержению рабоче-крестьянской власти и к восстановлению буржуазно-помещичьей власти, могла исходить и от самих германцев.

Как бы то ни было, группа белогвардейцев повела с германцами переговоры. Со стороны этой группы, по словам Гурко, наиболее деятельное участие принимал В. С. Трепов (впоследствии расстрелянный во время ликвидации контр-революционеров в связи с убийством тов. Урицкого) и барон Б. Э. Нольде. «Об этих переговорах был осведомлен московский правый центр, и тут впервые возник вопрос о возможности опереться на германцев в деле свержения большевиков. Вопрос этот вызвал весьма горячие споры и довольно продолжительное время оставался открытым. За сговор с немцами весьма решительно с места высказался А. В. Кривошеин» (бывший царский министр, впоследствии сотрудник Врангеля).

Сам Гурко в первое время будто бы высказывался против сговора с немцами, но теперь он признает, что его доводы, «сами по себе бесспорные, не отвечали, однако, условиям и требованиям момента». В середине 1918 года, по словам Гурко, Германия убедилась, что, не опираясь на естественные богатства России, она не в состоянии продолжать борьбу с державами Согласия (этим он косвенно признает, что *белогвардейцы обещали предоставить германцам в их распоряжение естественные богатства России*). «Это в особенности ясно сознавали германские военные круги, и посему именно в их среде господствовала мысль о восстановлении России (читай: монархии) и о свержении большевиков, дабы таким путем создать в России власть, ей (Германии) дружественную».

Итак, г. Гурко откровенно признает, что *германские военные круги хотели восстановить в России царскую власть*. Далее, он неосторожно пробалтывается и устнавливает, что *германские военные круги считали дружественной себе власть не большевиков, а буржуазных дельцов и монархистов*. Таким образом, сам Гурко подтверждает тот факт, который для нас всегда был ясен, но который наши белогвардейцы отрицали, а именно, что *агентами германского империализма,—и именно кайзеровского империализма,—являлись вовсе не большевики, которых этот империализм собирался задушить, несмотря на существовавший между ними договор, а наши российские белогвардейцы-монархисты*. Что и требовалось доказать!

После этого совершенно неубедительным является соображение г. Гурко о том, что германское правительство якобы смотрело на вопрос иначе, что оно поддерживало тесную связь с боль-

шевиками и т. д. Разумеется, поддерживало и должно было поддерживать, потому что между ними существовал договор, советский посол сидел в Берлине, а германский в Москве. Но, по внешности поддерживая сношения, германское правительство, которое напрасно г. Гурко пытается отделить от германских военных кругов, собиралось в удобный момент задуть большевистскую власть.

Судя по запоздалому откровению г. Гурко, за которое его не поблагодарят наши белогвардейцы, *переговоры между Германией и нашими контр-революционерами зашли довольно далеко*. «Для меня,—пишет г. Гурко,—не подлежит сомнению, что если бы в момент этих переговоров русская общественность не раскололась по вопросу об «ориентации», если бы она пошла навстречу немецким предложениям, если бы Добровольческая армия не задрапировалась в тогу скудоумного ламанчского рыцаря Дон-Кихота, а последовала бы мудрой государственной политике донского атамана Краснова, то Германия исполнила бы свои обещания, а именно—пересмотрела бы Брест-Литовский договор, вернула бы нам наши владения, за исключением губерний Царства Польского, от которых мы уже сами, в бытность временного правительства, отказались, и восстановила бы в России русскую государственную власть. О большевиках давно бы не было и помину».

Итак, ясно, что дело дошло уже и до обещаний. Мы, разумеется, не придаем никакой цены обещаниям германского генерального правительства, хотя возможно, что оно вернуло бы восстановленному царизму часть захваченных Германией российских территорий. Для Германии это было бы даже выгодно. Восстановленный царизм был бы вполне ее слугой. Население всех этих возвращенных территорий в случае войны было бы мобилизовано царизмом на помощь Германии, а потому для Германии было бы даже выгодно, чтобы управлял этими территориями царизм, так как это было бы равносильно управлению этими территориями самой Германии через посредство своих российских ставленников. И не только этими территориями, но и всей территорией России.

Выше мы видели, что правые круги, по словам Гурко, отвергли японскую интервенцию под тем предлогом, что Япония, дескать, не вмешается даром, ради прекрасных глаз наших контр-революционеров. Но неужели же г. Гурко и присные его были так наивны, что надеялись на бескорыстную интервенцию со стороны Германии? Ничуть не бывало. Они прекрасно знали, что Германия потребует дорогой цены за свою услугу, но *они охотно шли на предательство интересов русского народа в пользу Германии, а не в пользу Японии, по той простой причине, что были уверены в том, что германская интервенция восстановит царизм, а японская, т.-е. союзническая, пожалуй, обнаружит некоторую слабость к «демократическим» элементам*.

«Конечно,—говорит Гурко,—сделала бы она (Германия) это не даром, а в обмен потребовала бы от нас прекращения военных сношений с Антантой, определенно зная, что мы от всякого дальнейшего участия в мировой войне отказываемся и что одновременно мы предоставляем Германии возможность черпать из наших пределов продовольственные продукты и необходимое для их военной промышленности сырье». Этого уже достаточно для характеристики наших реакционеров. Но для всякого, даже не учившегося в семинарии, ясно, что требовательность Германии этим не ограничилась бы.

Белогвардейцы всех мастей и реакционеры в особенности до сих пор не перестают вопить по поводу небывало позорных условий Брест-Литовского договора, который они объявляют неслыханной капитуляцией большевиков перед Германией. Но стоит сравнить то, что Германия получила от большевиков, с тем, что ей предлагали монархисты, чтобы понять, кто действительно заслуживает почтенного звания «агентов германского генерального штаба» и «слуг германского империализма».

Дальше г. Гурко рассказывает, что в июне 1918 года (эту дату необходимо хорошенько запомнить) «германское правительство перешло на точку зрения германских военных кругов о необходимости в германских интересах воссоздать порядок в России и покончить с большевиками». Правда, г. Гурко спешит прибавить, что тут «произошло перемещение ролей», что теперь уже верховное германское командование, наткнувшись на вражду Добровольческой армии и осведомленное об усиленной тяге русского офицерства в Сибирь и на Урал для образования нового, враждебного германцам, фронта, изменило свою точку зрения и будто бы «решительно заявило, что ни о каком восстановлении России не может быть и речи, что, наоборот, необходимо разваливать Россию и в этих (!) видах поддерживать советскую власть».

Где и когда об этом заявило германское военное командование, остается секретом г-на Гурко. В данном случае он очевидным образом бесстыдно лжет и пытается замести следы. Как он же сам признает, никогда германское правительство или германское командование не поддерживали большевистской власти. Наоборот, они все время были ей решительно враждебны и, сохраняя видимость корректности, держа свое посольство в Москве, как оказывается, вели тайные переговоры с заклятыми врагами советской власти и подготавливали ее ниспровержение вооруженной рукой. Именно в июне месяце отношения между Германией и Советской Россией казались вполне нормальными, а, как теперь признается г. Гурко, как раз в это время германское правительство спелось с нашими реакционерами по вопросу о низвержении большевиков. И это то самое германское правительство, которое через пару недель после этого подняло страшный вопль по поводу убийства Мирбаха левыми эсерами, а несколько позже подняло еще более громкий гвалт насчет мнимого вмешательства совет-

**ского правительства во внутренние дела Германии и выслало советского посла Иоффе из германских пределов!! Надо же иметь нахальство!..**

Что г-н Гурко говорит неправду, когда пытается уверить нас, будто с июня 1918 года в германских военных кругах произошел какой-то поворот, видно из его же дальнейшего сообщения о том, что переговоры между нашими белогвардейцами и германскими официальными лицами относительно вооруженной интервенции в русские дела продолжались.

«Московский правый центр,—говорит г. Гурко,—довольно продолжительное время верил в возможность сговориться с немцами и при их помощи свергнуть большевиков. Велись по этому поводу двумя командированными с этой целью членами центра переговоры с советником германского посольства Ритцлером (просим читателя обратить внимание на это имя). Были, впрочем, и другие посредники между представителями Германии и русскими общественными деятелями. Живое участие принимал в этом деле, между прочим, и бывший обер-прокурор святейшего синода в кабинете Витте, кн. Алексей Д. Оболенский, выказывавший даже во время войны германофильские чувства<sup>1)</sup>. В частном совещании по этому вопросу в квартире Оболенского принимал между прочим участие специально приехавший с этой целью из Петрограда барон Б. Э. Нольде».

По словам Гурко, *вступая в тайные сношения с германским правительством, черносотенцы надеялись таким образом спасти жизнь Николая Романова и его семьи*. Зная, что среди самого русского народа эта семейка не пользовалась никакими симпатиями, понимая, что в самой России за нее никто не вступится, черносотенцы пришли к тому убеждению, что отвлечь угрожавшую романовской семье опасность «возможно было только мощной иностранной интервенцией». Для этого, разумеется, они поспешили обратиться к Германии, так как на союзников в этом отношении мало полагались. Это неудивительно для нас, знающих тайную историю романовского двора. Дружба между петербургским тираном и берлинским деспотом была всем известна. Оба они являлись носителями монархического легитимного начала. Естественно, что наши черносотенцы не надеялись разнежить по поводу участи Николая Романова ни Клемансо, ни Ллойд Джорджа. Зато они знали, что к сердцу Вильгельма они в этом вопросе легче пробьют себе дорогу. Вот чем объяснялось их обращение к Германии для спасения царской семьи, а вовсе не тем, будто, как пытается уверить нас лживый г. Гурко, они думали, что «Германия, зависимость (?) от которой советской власти была очевидна, в состоянии была оказать эту защиту».

<sup>1)</sup> Такие-то господа, действительно германские агенты, громче всех кричали о том, что большевики являются якобы агентами Германии.

Вот что сообщает г. Гурко по этому поводу: «В этих видах (т.-е. в видах спасения царской семьи) некоторые члены правого центра во главе с Кривошеиным вели переговоры с германским представителем в Москве (т.-е., заметьте, с самим Мирбахом). В переговорах этих я не участвовал и в подробности их не был посвящен, однако, отчетливо помню, что хотя немцы и говорили, как это упомянуто в показании Кривошеина, приведенном в книге Соколова, излагающей произведенное им следствие о гибели царской семьи, что их интересует лишь судьба великих княгинь немецкого происхождения, однако, одновременно они утверждали, что царь находится в безопасности, и что они имеют при нем своих людей, которые его охраняют. По целому ряду мелких подробностей, которые теперь ни воссоздать, ни припомнить я не в состоянии, у меня тогда создалось определенное убеждение, что немцы были весьма заинтересованы охранением жизни тех членов царской семьи, которые могли занять русский престол (это нужно запомнить). Все опубликованные с тех пор данные лишь укрепили меня в этом убеждении. Для меня совершенно ясно, что вывоз царской семьи из Тобольска произошел по германской инициативе, и что ездивший в Тобольск за государем Яковлев был в связи с германцами. Не оценили лишь немцы той опасности, которой подвергался государь при проезде через захваченные большевиками края.

«Мне сдается, что дело происходило так: германцы неоднократно требовали от московской центральной власти доставления к ним государя. В последний раз произошло это как раз после убийства их посла Мирбаха, когда они заявили намерение ввести в Москву часть своих войск. Большевики этому самым решительным образом воспротивились. Тогда немцы отказались от этого намерения под условием передачи им русского императора. Большевики на это согласились, одновременно тогда же решив, что уничтожат всю царскую семью, сваливши ответственность на какие-нибудь местные учреждения. Так они и сделали, своевременно уведомив екатеринбургский большевистский комитет о предстоящем отъезде царя. Действительно, если бы Яковлев, везший государя, был только агентом большевиков и действовал на основании их искренних намерений, то ему не было никакой надобности утверждать, что везет государя в Москву, и затем усиленно стараться это исполнить. Он бы прямо сказал, что везет его в Екатеринбург. Московская большевистская власть, с другой стороны, никогда не могла сама возыметь мысль о переводе государя в Москву—слишком это был рискованный для них шаг. Пошли на это, да и то лишь на словах, только по настоянию германцев».

Разумеется, девять десятых того, что рассказывает здесь г. Гурко, составляет плод его пылкого воображения. Никогда германцы не «требовали» от московского правительства доставления к ним государя или перевода его куда бы то ни было. Официаль-

ных переговоров между германцами и советским правительством на эту тему никогда не происходило. Насколько нам известно, велись при случае частные разговоры между некоторыми чинами германского посольства (кажется, Ритцлером) и некоторыми лицами, не являвшимися официальными представителями советской власти. В крайнем случае, этим беседам можно было бы приписать официозный характер, но, повидимому, не было даже и этого. В упомянутых частных беседах немцы осторожно давали понять, что их интересует участь немецких членов царской семьи, и выражали надежду, что судьба романовской династии не отразится на женщинах германского происхождения, к ней принадлежащих. Они намекали на то, что им было бы не неприятно получить в свои руки Алису Гессенскую (б. царицу Александру Федоровну), ее дочерей, и, пожалуй, также мальчика—наследника (всех их они, видимо, тоже причисляли к лицам немецкого происхождения!). Но все это, повторяем, не выходило из области частных бесед и намеков, на которые советское правительство не обращало никакого внимания. Перевод романовской семьи из Tobольска в Екатеринбург предпринят был вследствие наступления чехо-словаков. Мы не знаем, был ли Яковлев, впоследствии очутившийся в стане Колчака и игравший там какую-то темную, до сих пор невыясненную, роль, германским агентом. Но в виду авантюристического характера этого человека возможно, что здесь есть какое-нибудь зерно истины, хотя столь же возможно, что Гурко и на этот счет сочиняет или повторяет неосновательные слухи. Во всяком случае, вся его версия относительно перевода романовской семьи из Tobольска в Екатеринбург ни на чем не основана. Это, однако, не значит, чтобы столь же необоснованно было его утверждение относительно «огорчения», доставленного германским правящим кругам расстрелом царской семьи. Несомненно, что *этот факт нанес сильнейший удар их интервенционистским замыслам.*

«Во всяком случае,—говорит Гурко,—я утверждаю, что убийство государя было для германцев не только совершенно неожиданным, но и весьма нежелательным событием. *Именно гибель царя изменила их отношение к вопросу о свержении большевиков!* Немцы тогда уже вполне понимали то, чего вожди белого движения понять не сумели, а именно, что всякое анти-большевистское движение, не возглавляемое непререкаемым в представлении народных масс, да и не их одних, авторитетом, не сулит успеха. Их отношение к группе, ведшей с ними переговоры об оказании помощи в деле свержения большевиков, резко изменилось именно со времени получения известия о гибели государя. *До этого момента они говорили о возможности прибытия в Москву из Смоленска, где они находились, некоторых немецких воинских частей для непосредственного участия в перевороте;* после этого они определенно заявили, что непосредственного участия в перевороте принять они не могут, и лишь усиленно



*убеждали представителей правого центра произвести его собственными силами, говоря, что они, с своей стороны, лишь помогут косвенно, дав возможность русским контр-революционным силам проникнуть в склады оружия, а также заставив к ним примкнуть, будто бы всецело от них зависящий, один из латышских батальонов.*

«Что же касается убийства государя, то германцы не скрывали своего крайнего смущения по этому поводу и даже огорчения.

«Повторяю, таковы были намерения лишь одной части германских правящих кругов, намерения, основанные именно на убеждении, что, при наличности в их власти русского императора, они могут обеспечить прочное восстановление порядка в России без опасения, что в таком случае страна эта в той или иной мере вновь станет в ряды противников Германии.

«Коль скоро непререкаемого представителя центральной власти в России не стало, и эта часть германских правителей отступилась от мысли сменить в России большевистскую власть какой-нибудь иной».

Вот признание, чрезвычайно важное для характеристики добросовестности германской империалистической дипломатии. Оказывается, что *германские правящие круги, поддерживая по внешности нормальные дипломатические отношения с советской властью, одновременно тайком вели переговоры с ее врагами, направленные к низвержению этой самой власти.* Более того, в этом направлении был выработан целый план действий. Намечены уже были определенные германские воинские части, которые должны были принять непосредственное участие в контр-революционном перевороте, т.-е. проделать в более широком масштабе то, что проделано было немцами в Киеве при восстановлении там монархии под видом «гетманства» Скоропадского. И даже в тот момент, когда германцы, по каким-то неизвестным нам причинам, принуждены были отказаться от мысли о непосредственном вооруженном выступлении против советского правительства, с которым они поддерживали дипломатические сношения, они все же подстрекали русских белогвардейцев к выступлению и обещали оказать им «косвенную» помощь, открыв им доступ в склады оружия.

Наконец, из сообщения Гурко определенно выясняется, что *германские империалисты подготавливали в России не просто контр-революционный переворот, а именно монархический переворот, который должен был восстановить царское самодержавие и обеспечить германцам рабское подчинение царской России их интересам.* В том, что восстановленный царизм будет агентом Германии, в этом они ни на минуту не сомневались.

*Это кстати показывает, как благоразумно поступила советская власть, покончив с царской семьей и таким образом раз навсегда отняв у врагов русских трудящихся масс возможность*

*спекулировать этой преступной семейкой и использовать ее в качестве орудия для угнетения русского народа и для превращения России в вассальное государство империалистической Германии.*

Уверенность в реставрации монархии с помощью немецкого оружия была настолько велика, что *контр-революционеры уже подыскивали кандидата в диктаторы* на время вооруженной борьбы с большевиками и в ожидании восстановления Николая на престоле. «Между тем,—повествует г. Гурко,—правый центр, в связи с надеждой на германскую помощь, вновь принялся за поиски такого лица из русских военных, которое могло бы возглавить предполагаемое движение. Пытались с этой целью связаться с ген. Лукомским, находившимся в ту пору в Харькове. Поддерживали одновременно сношения с киевской организацией, носившей название «Азбуки», где наиболее видными членами были Шульгин и ген. А. М. Драгомиров, однако, сочувствия своим германским планам и здесь не встретили. Наконец, решили обратиться либо к Рузскому, либо к Юденичу, находившимся, по слухам, в Петрограде. С этой целью отправился я и еще один из членов правого центра в самых первых числах июля в Петроград. Поездка эта совпала с выступлением, почти одновременно в обеих столицах, соц.-революционеров и последовавшими вслед за этим первыми проявлениями террора»<sup>1)</sup>.

Так или иначе, заговор германских империалистов, составленный ими совместно с русскими белогвардейцами, не удался. Убийство Мирбаха могло бы дать толчок вооруженному выступлению германцев против большевиков, но до этого дело не дошло. Положение германцев на западном фронте становилось все хуже. Они в достаточной мере увязли на Украине, и им было не до того, чтобы вступать в новую, весьма рискованную, авантюру, начав войну с Советской Россией. Во всяком случае, мы знаем, что *они пытались использовать убийство Мирбаха левыми эсерами для сведения в Москву своей воинской части под предлогом охраны германского посольства*. Мы помним, как решительно восстала против этого наша партия и в частности тов. Ленин. *На этом пункте мы готовы были разойтись с немцами*. Хотя мы не были так досконально осведомлены о сговоре германцев с нашими «патриотами», как это выясняется теперь, но уже в то время мы имели основание подозревать, что такие переговоры ведутся, а мы слишком хорошо понимали, что германские империалисты нас ненавидят и воспользуются первым удобным случаем, чтобы нас задуть. Поэтому мы дали решительный отпор домогательствам германского правительства и категорически отказались впустить в Москву германскую воинскую часть.

<sup>1)</sup> Кстати, г. Гурко, при всей своей реакционности, все-таки неоднократно отмечает в своих записках, что вначале большевики не применяли красного террора, и что лишь ряд контр-революционных восстаний принудил их к этому. Факт, который пытается всячески оспорить и извратить «демократ» г. Мельгунов.

Вскоре после этого последовал разрыв дипломатических сношений между советским правительством и германским и высылка советского представителя Иоффе из Берлина под предлогом вмешательства его во внутренние германские дела. *Это обвинение звучит особенно пикантно в устах правительства, которое, как теперь признает и г. Гурко, подготовляло у нас вооруженный переворот и насильственное ниспровержение советской власти, и дипломатические представители которого принимали самое деятельное участие в этом заговоре, являвшемся уже бесспорно наглым вмешательством в наши внутренние дела!*

Итак, осуществить задуманное гнусное дело германским империалистам в Советской России не удалось. Но зато они нанесли ей достаточно вреда своей открытой интервенцией в других местах. На Украине, как известно, их интервенция привела не только к изгнанию оттуда большевиков, но и к насильственному ниспровержению петлюровской Рады и к замене ее монархией под маской гетманства. Даже Гурко признает, что этот переворот был совершен «по немецкому велению»<sup>1)</sup>. По тому же велению возникло крымское правительство генерала Сулькевича, явного немецкого агента.

С помощью же немцев монархический генерал Краснов на Дону основал свое государство под названием «Всевеликого Войска Донского». Более того, мы вправе сказать, что именно благодаря немецкой интервенции развилось и добровольческое движение. Начавшись при Корнилове в очень слабой форме; оно окрепло благодаря скрытой поддержке немцев, которые через посредство Краснова снабжали добровольцев оружием. Это признает в своих записках сам Краснов. Добровольцы валяли дурака, разыгрывая роль непримиримых противников германской ориентации, но преспокойно брали патроны, оружие, пушки, которые заведомо доставлялись Краснову именно германским командованием. Вообще, какую роль играла германская интервенция на юге, видно из того, что с уходом немцев все эти контрреволюционные правительства моментально провалились, ибо они и держались только силою германского оружия против воли народных масс<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> В высшей степени характерно, что германцы на Украине вмешивались не только в политическую жизнь страны, но и в отношения между различными классами, оказывая, разумеется, поддержку помещикам против трудящихся масс. По этому поводу г. Гурко пишет: «Настроение народных низов в Киеве было определенно большевистским, и на базарах открыто велись разговоры на тему о распространении на Украину райских, по их представлению, условий народной жизни в Совдепии. Не лучше, если не хуже, было настроение сельских масс, подвергавшихся усиленным денежным взысканиям при содействии германских войск за учиненные ими аграрные бесчинства». Итак, помещики, вернувшиеся в свои имения и выколачивавшие из крестьян «недоимки», пользовались помощью германского оружия.

<sup>2)</sup> Впоследствии возникли другие белогвардейские правительства уже при помощи Антанты (Колчак, Деникин, Юденич, Миллер, Врангель), т.-е. опять-таки с помощью иностранцев.

Не только в Великороссии крайние правые белогвардейцы возлагали все свои надежды на немцев. *На юге было то же самое.* Так, Гурко рассказывает, что в *Киеве* монархическая группа, во главе которой стоял пресловутый черносотенец, бывший одесский городской голова Пеликан, «находилась в связи с герцогом Г. Лейхтенбергским, никакой самостоятельной Украины, конечно, не признавала и придерживалась германской ориентации». Эта группа старалась организовать белую армию, отдельную от добровольческой и получившую название «южной». Разумеется, и здесь не обошлось без германской руки. «Затая эта,—услужливо сообщает г. Гурко,—до известной степени *поощрялась немцами, предоставлявшими образуемой армии некоторое, в общем ничтожное, количество вооружения, равно как и некоторые денежные средства*». Это та самая «армия», во главе которой стоял граф Келлер (впоследствии предполагалось поставить во главе ее генерала Н. И. Иванова), и в которую вербовались гвардейские офицеры, определенные сторонники самодержавия, с заверением, что «армия эта предназначена для *восстановления монархии*». Вот она, германская рука!

В *Киеве* же провозгласил свою «германскую ориентацию» Милоков. Здесь он встретился между прочим с *Пуришкевичем*, с которым дружно беседовал и строил общие планы. По сообщению Гурко, *все эти господа стояли за восстановление монархии и именно легитимной, романовской, самодержавной, причем рассчитывали tacitu consensu (по молчаливому согласию) преимущественно на германскую помощь*, но открыто высказываться за германскую ориентацию никто не решался. Впрочем, как мы знаем, Милоков решился.

Неудивительно, что *германские империалисты и наши контрреволюционеры чувствовали себя друзьями* независимо от удач сочинявшихся ими заговоров против русского народа. Казалось бы, что люди, взявшие патент на патриотизм, должны были негодовать при виде торжествующих победителей, распоряжавшихся на захваченных ими территориях, как у себя дома, по произволу менявших там «правительства», выкачивавших из захваченных областей все, что можно было, и беспощадно давивших своим сапогом местное население. На самом же деле эти «патриоты» чувствовали себя прекрасно как раз в занятых германцами местностях. Зато в самой России, где у власти стояли рабочие и крестьяне, они чувствовали себя как на чужбине.

По этому поводу г. Гурко пишет:

«Да, тяжело было видеть торжествующего немца, распоряжающегося в наших исконных пределах, но должен признаться, что тяжело было это в умственном представлении, а не по испытываемому чувству. Развитию чувств негодования и ненависти к немцам препятствовало, с одной стороны, *весьма корректное, скажу даже, любезное отношение их к нам*... С другой стороны, мы и в России не чувствовали себя со времени властвования

большевиков у себя дома, а, наоборот, испытывали чувство состояния в неволе (у) какой-то враждебной, чуждой, перусской силы».

Ну, еще бы! Русские мужики и рабочие—это для наших белогвардейцев «чужие» люди, зато немецкие офицеры и генералы—это свои «любезные» приятели...

### 3. Германская авантюра в Прибалтике в 1919 г.

Фактически интервенция германцев не ограничилась югом. Она захватила и наш северо-запад. Пресловутая авантюра Бермондта-Авалова имеет чисто германское происхождение <sup>1)</sup>. Она замечательна еще и тем, что на этот раз интервенция в наши дела осуществлялась уже не германской монархией, а германской «народной», «социалистической» республикой, во главе которой стояли социал-демократы. В частности, военным министром Германии были тогда пресловутый Носке.

Крупные немецкие помещики Прибалтийского края, знаменитые «балтийские бароны», сговорились с реакционными помещиками Геомании и при поддержке германского правительства совместными силами оборудовали «русско-германскую» армию Бермондта-Авалова, в которую, с одной стороны, входили русские черносотенные офицеры, набранные в германских лагерях военнопленных, а с другой, и даже в большинстве, немецкие офицеры и солдаты, набранные из подонков населения и прельщенные обещанием земельных наделов в случае успеха этого разбойничьего предприятия. Во главе этих немцев стоял пресловутый фон-дер-Гольц, известный монархический погромщик, а ныне фашист.

Почему во главе этих «русско-германских» войск поставлено было такое темное ничтожество, как Бермондт (мнимый «полковник» и «князь Авалов»), это, как говорит Н. Бережанский, «тайна

<sup>1)</sup> Кстати, кто такой этот авантюрист, в точности до сих пор неизвестно. По сведениям, опубликованным в статье Н. Бережанского, Павел Рафаилович Бермондт, лютеранин (надо думать, из прибалтийских немцев?), состоял до японской войны в 1904 г. капельмейстером в Приморском драгунском полку, квартировавшем во Владивостоке (это, кстати, тот же полк, в котором тогда служил т. Буденный). Поступив добровольцем-рядовым в 1 Чигинский казачий полк, он дослужился до чина подхорунжего. Какими-то непонятными путями он, несмотря на свое «повыское происхождение», пробрался в 1 С.-Петербургский уланский полк (не был ли он просто полицейским агентом?). Тогда о его «княжеском» звании никто не слышал. Через два года он почему-то из полка вылетел, и где с тех пор окопачивался, неизвестно. В 1915—16 г.г. корнет Бермондт снова выплыл в качестве личного адъютанта командира 31 корпуса, генерала Мищенко. Сослуживцы его недолюбливали. Гражданская война оказалась благоприятной для этого темного проходимца. Летом 1918 г. он очутился в Клеве уже в качестве «полковника». Когда он сделался Аваловым, да еще «князем», покрыто мраком неизвестности. Словом, это—типичный авантюрист, способный на всякое грязное дело, достойный агент германского монархическо-социал-демократического империализма.

берлинских политических салонов»<sup>4)</sup>. Судя по приводимым в статье Н. Бережанского разоблачениям с.д. Гаазе, напечатанным в сентябре 1919 года в «Таймсе», эта авантюра была задумана в политическом салоне графини К., где после продолжительного обсуждения были выработаны следующие основы соглашения между германскими и российскими монархистами: «Россия (т.е. в случае удачного монархического переворота) получает свободу действий в Персии и Турции, Прибалтика на известных условиях вновь присоединяется к России, но Финляндия остается независимой. Германия даст на осуществление похода в Прибалтику 200 миллионов марок (это после проигранной войны!) и армию в 120 тысяч человек для борьбы с большевиками. Компенсацией должен явиться *выгодный торговый договор между Россией и Германией*».

С германской стороны в переговорах участвовали прусские реакционеры (несомненно, с ведома социал-демократов, по крайней мере, таких, как Винниг и особенно военный министр Носке, без которого и не могли братья такие обязательства), а с русской стороны—балтийские бароны и монархисты типа отпетых, вроде ген. Бискупского, сенатора Римского-Корсакова, вероятно, сенатора Бельгарда, Маркова II и проч. (Деникин, Колчак, Юденич к этим переговорам, повидимому, отношения не имели). В противовес «северо-западному правительству» в Ревеле (Лянозов-Юденич), явившемуся креатурой Антанты, германские империалисты задумали создать «западное правительство» (Пален-Бермондт), которое было бы их собственной агентурой и служило бы их интересам.

Предприимчивая эту чисто-завоевательную авантюру, германские империалисты не могли сбывать на какую-либо «большевистскую угрозу», ибо советской власти, окруженной врагами со всех сторон, было не до каких-либо диверсий в сторону Европы. Точно так же мало могли германские монархисты интересоваться участием родственных им балтийских баронов и пускаться на риск из-за желания вернуть этим господам потерянные ими земли (сами-то балтийские бароны, игравшие огромную роль в бермондтовской аванюре, интересовались, главным образом, именно этим). Балтийские бароны нужны были немцам, как подспорье для осуществления *их собственной цели*. А целью этой было, говоря словами Н. Бережанского, «желание сделать русскую (??) анти-большевистскую армию тем фундаментом, который впоследствии мог бы послужить базой для осуществления русско-германского политического и экономического союза», другими словами, вековечное стремление германского империализма подчинить себе политически и поработить экономически «варварскую» Рос-

<sup>4)</sup> Русские черносотенные круги в Германии выдвигали более «серьезную» кандидатуру монархиста ген. Бискупского. Но германские заправилы предпочли ничтожную фигуру проходимца Бермондта, более подходившего, повидимому, для их целей.

сию. Орудием для этого завоевания избрана была восстановленная царская монархия.

Российские монархисты, ведшие с немцами переговоры, все это им пообещали (и исполнили бы в случае удачи), а германцы выложили денежки, людей и оружие.

Итак, снова спрашиваем: с кем же германские империалисты вели дружбу и кто действительно был агентом германского империализма?!

Сам Бермондт официально вскрывает германское происхождение своей авантюры в опубликованных им документах <sup>1)</sup>.

В рапорте Колчаку и Деникину от 1/14 августа 1919 года полковник Бермондт, сообщая о том, что в Германии ему (!) пришла в голову идея сформировать партизанский отряд для борьбы с советской властью, продолжает:

«Для осуществления этой идеи я вошел в сношение с германскими коммерческими кругами и германским командованием, причем как те, так и другие всецело пошли мне навстречу и оказали полную поддержку и содействие, снабжая отряд всем необходимым, а командование даже разрешило вступить в ряды партизан своим добровольческим, монархически настроенным, организациям, кои и стали примыкать к моему отряду целыми частями. Вполне сочувственно откликнулось и немецкое общество.

К сожалению, мало содействия и поддержки встретил со стороны русской военной миссии в Берлине и главы ее генерала Монкевича, оказывавшего больше внимания пассивной части офицерства, пекущейся о собственном благополучии на германских курортах или избирающей далекие фронты, связанные с большими и далекими путешествиями, вместо немедленного приложения своих сил на ближайшем направлении для действия на жизненные центры противника <sup>2)</sup>. Эти заботливо выделяются в особые группы и помещаются на курорты вместе со своими семьями, пользуясь особым попечением со стороны миссии.

«Между тем, зарождавшая мною идея формирования партизанского отряда росла и ширилась, захватывая и другие лагеря и привлекая больше и больше г. г. офицеров. Понадобились средства, обмундирование, вооружение, снаряжение, кои мне и предоставлены германскими военными кругами и финансистами. Не считая допустимым избивать исключительно офицерский состав, решил использовать также и наиболее благона-

<sup>1)</sup> Выдержки из этих документов мы заимствуем из статьи «Бермондтовская эпопея в Прибалтике», напечатанной в № 7 сборника «На чужой стороне» (Прага, 1924, стр. 201—219). Подробно авантюра Бермондта освещена в статье Ник. Бережанского «П. Бермондт в Прибалтике в 1919 г.», напечатанной в сборнике «Историк и Современник» (Берлин, 1922, I, стр. 5—87).

<sup>2)</sup> Вот к чему стремилось германское командование и совет народных комиссаров германской социалистической республики, состоявший из социал-демократов! Им нужно было, видите ли, разрушить наши «жизненные центры».

строенных пленных, коих (опять эсе при содействии германского командования) и влил в состав отряда».

В «совершенно секретном» документе «О предполагаемых действиях западного добровольческого корпуса» от того же числа Бермондт снова пишет: *«Люди вооружаются и снаряжаются германцами, от них эсе получают все технические средства и деньги, что будет производиться и в будущем. Приток живой силы также является обеспеченным. С началом движения вперед он должен резко увеличиваться, на чем также основываются расчеты дальнейшего разворачивания корпуса, базирующегося и на дальнейшем германском снабжении».*

В докладе генералу Деникину от 4 октября 1919 года Бермондт сообщает, что ему удалось (заметьте, с германской помощью) сформировать отряд силою в шесть батальонов, шесть батарей, четыре пеших эскадрона, три саперных роты и три авиационных отряда, в общем до восьми с половиною тысяч человек, 140 пулеметов, 24 легких и гаубичных орудия, 18 аэропланов, а с добровольческими частями около 20 тысяч человек. Общей задачей этой бермондтовской «русско-германской» армии являлось *«разъединение действий петроградской и московской групп большевиков, а затем совместно с другими добровольческими армиями нанесение полного разгрома противнику в направлении Петрограда или Москвы, в зависимости от обстановки»*<sup>1)</sup>. Бермондт с похвальной откровенностью прибавляет:

*«Вопросы транспорта, торговли и заводской деятельности будут организовываться при ближайшем участии германцев. В настоящее время в Германии уже работают два завода по изготовлению всего необходимого (запасные части, части машин и пр.) для приведения в порядок подвижных составов. Это дает возможность восстановить деятельность жел. дорог, что в свою очередь осуществит приток из Германии (замен всякого сырья) различных необходимых фабрикатов, отсутствующих ныне на местах, причем обратный транспорт в Германию выразится в различном сырье. В связи с вышеизложенным развитием транспорта представляется возможным постепенное восстановление заводской деятельности и сокращение числа безработных. Необходимо оговорить, что участие германцев в общем деле восстановления мощи нашей родины отличается высокою искренностью и верностью (ну, еще бы!). Разнообразная помощь, оказываемая ими, во всех отношениях постоянна и неиссякаема и дает возможность проводить постепенно в жизнь все намеченное. Помощь эта в той эсе действительной форме обеспечена нам и в будущем. В искренности их желаний сомневаться не приходится, ибо, очутившись в том же положении, как и наша великая Россия,*

<sup>1)</sup> Таковы были планы германских империалистов, в том числе социал-демократов, в трудный для них момент. На что же они способны, когда снова усилятся и подучат развязанные руки! Об этом не мешает заранее подумать.



они борются за то же, что и мы. Совместность усилий лишь приближит конец этой борьбы».

Главная сила бермондтовской армии, носившей еще название «русско-германских войск», состояла из германских добровольцев, набранных в Германии. *Авантюре этой содействовали все слои германского общества, начиная от черносотенных монархистов*, в лице фон-дер-Гольца, рассчитывавших путем восстановления монархии в России добиться монархической реставрации у себя дома, *и кончая социал-демократами*, в лице пресловутого прибалтийского комиссара Виннига, которые, с одной стороны, хотели вознаградить себя на наш счет за потери, понесенные в пользу Антанты, а с другой—надеялись снискать антантовские милости за их карательный поход против советской власти. Неудивительно, что Авалов, который сам по себе был совершенно ничтожной личностью и временно мог играть роль только потому, что был *агентом германского империализма*, издавал напыщенные воззвания «*Ко всем немцам корпуса графа Келлера, Вырголича, железной дивизии, немецкого легиона, ко всем перешедшим и переходящим на русскую службу*». В этом воззвании он, между прочим, писал: «Каждому (т.-е. каждому немецкому бандиту, вступившему в его «армию» для борьбы с большевиками, точнее, для похода на Россию) дана возможность получить русские права гражданства и вступления на государственную военную службу соответственно служебному положению. Каждому будет дана земля для поселения за половину стоимости до 1914 г. Правительство <sup>1)</sup> принимает на себя возмещение убытков пострадавшим в войне и оставшимся за фронтом семьям, выплату пенсий офицерам и солдатам». *А в ноте к германскому правительству*(!) от 7 октября этот авантюрист пишет: «Как представитель государственной власти России, я не хочу упустить случая, чтобы не высказать германскому правительству своей благодарности за неоценимые услуги, оказанные германскими частями при освобождении окраинных провинций России от большевиков».

Вся эта германская авантюра сорвалась, с одной стороны; вследствие сопротивления латышей, которые очень хорошо понимали, что Бермондт-Авалов является простой ширмой для балтийских баронов, желающих вернуть себе господство в Прибалтийском крае, а с другой стороны, вследствие вмешательства союзников, и особенно английской эскадры, которые не хотели допустить, чтобы германские империалисты снова стали твердой ногой в Прибалтийском крае, а может быть, и в России вообще, в случае успешности этого похода, снаряженного на германские деньги и с помощью германских наемников. Пришлось убираться

<sup>1)</sup> Речь идет о созданном по немецкой указке при «командующем западной добровольческой армией», т.-е. при Авалове-Бермондте, совете управления, состоявшем из нескольких балтийских баронов, как граф Пален, барон Энгельгарт и т. п., и из пары заведомых русских монархистов, вроде сенатора Римского-Корсакова, инженера Пльина и проч.

назад в Германию, и 24 декабря 1919 года в Берлине издан был прощальный приказ Бермондта, фигурирующего на сей раз уже под именем князя Авалова: «Борьба (вследствие вмешательства Антанты и сопротивления латышей) стала бессмысленной, невозможной,—пишет Авалов Бермондт.—Затруднения того народа (т.-е. германского), который *помогал нам всем, чем только мог*, стали из-за блокады почти невозможными. Чтобы сохранить вас, чтобы сохранить честь родины, я должен был дать согласие на увод вас в Германию. Вы видели, как приняла вас благородная страна (т.-е. Германия). Вас встретили, как друзей, а не как иностранные войска—и вы должны быть *благодарны народу Германии* и навсегда сохранить благодарность эту в своем сердце».

Такова была эта *вторая германская авантюра, направленная против жизни и свободы русского народа*. И опять-таки, если она не удалась, то во всяком случае произошло это не по вине германских империалистов, в том числе и германских социал-демократов, бесстыдно кричащих теперь о нашем *«вмешательстве в германские дела»*.

#### 4. Есть ли гарантии на будущее?

Итак, *германская интервенция, начавшись при Гогенцоллернах, продолжалась при социал-демократах*. Она распространилась почти на все области нашей Республики. На севере и на юге, на юго-востоке и на северо-западе,—всюду мы видим вмешательство германского бронированного кулака, направленного к подавлению наших трудящихся масс, к разгрому нашей народной революции, к восстановлению власти помещиков и буржуазии, к реставрации царской монархии. Эта интервенция была как во все стороны—в сторону захвата богатейших областей, как Украины, Крыма и Юго-Востока, не говоря уже о Кавказе (через меньшевистскую Грузию), так и по обеим нашим красным столицам: по Москве—в лице заговора Мирбаха-Ритцлера, по Петрограду—в лице авантюры Бермондта-Авалова. *И если германским генералам, буржуям и социал-демократам не удалось нанести смертельного удара нашей рабоче-крестьянской революции, то не потому, что они этого не хотели, а потому, что, к счастью, руки у них оказались коротки*.

Вот что говорит *факты*. А известно, что все проходит, но факты остаются. И эти самые люди, столько раз заносившие нож над горлом русского народа, и заносившие не в переносном, а в буквальном смысле, страшно обиделись, когда в одном из ящиков, адресованных на имя советского посла в Берлине т. Иоффе, оказались какие-то невинные прокламации! Правда, эти прокламации, как известно, были подброшены германскими охранниками. Но если бы этого даже не было, то разве можно сравнить невинные бумажки с теми орудиями и штыками, которые германцы дуптели в ход против Советской Республики?!

Много выводов можно было бы сделать из всего изложенных нами фактов и относительно прошлого, и на будущее время. Но мы пока воздержимся от этих выводов. Достаточно одних фактов, которые сами говорят громко за себя.

Скажут: стоит ли ворошить старое и вспоминать о том, что прошло и былшем поросло? Но дело в том, что мы *и сейчас не можем по совести сказать, что подобные тенденции к активному вмешательству в наши дела окончательно утратили в Германии всякую почву*. Мы, например, отлично знаем, что за последние годы именно в Германии российские монархисты нашли благоприятную почву для своей деятельности, что здесь они встретили самый дружеский прием и материальную помощь. Именно в Германии произошел первый монархический съезд (в Рейхенгалле, в Баварии), где положено было начало организации монархических сил для нового наступления на Советскую Республику. Именно в Германии до сих пор крайние правые элементы активно поддерживают наших монархистов. И, может быть, не одни только крайние монархические элементы. Мы знаем, с какой ненавистью относятся довольно широкие круги германской торгово-промышленной буржуазии к монополии внешней торговли, для срыва которой они готовы объединиться с чертом и с его бабушкой, с капиталистами Антанты, а если понадобится, то и с русскими монархистами. У нас имеются кое-какие сведения, показывающие, что *и сейчас определенные круги германского общества активно поддерживают наших черносотенцев,—все с той же целью низвержения советской власти*.

Известно, что претендент на всероссийский престол, Кирилл Владимирович Романов проживает в Германии, в Кобурге. Там он объявил себя императором, оттуда рассылает свои смехотворные приказы и указы; там же получает и материальные средства на свою контр-революционную работу.

Откуда идут эти средства? По нашим сведениям, отчасти из Америки, отчасти из Германии. Что американские миллиардеры, не знающие, куда девать свои деньги и на какие причуды их выбросить, готовы помогать даже Кириллу,—это нас не удивляет. Говорят, что будто бы к делу субсидирования наших монархистов стоит близко и пресловутый миллиардер Морган, хотя, по правде сказать, мы, зная наклонности этого делового господина, несколько сомневаемся в том, чтобы он бросал деньги на такое заведомо безнадежное дело. Но нам известно, что с германскими националистами, т.е. монархистами, Кирилл состоит в сношениях. Разумеется, он обещает немцам всякие блага в случае, если они помогут ему взойти на «прародительский престол». Несомненно, что в первую голову он обещает им отменить монополию внешней торговли. И вот, в частности, ходят слухи, что очень влиятельные германские круги являются посредниками при передаче американских миллионов в руки претендента Кирилла! Не знаем, насколько это верно, но что Кирилл и другие монар-

хисты пользуются в Германии всяческим содействием,—это несомненно. Во всяком случае, этот *Кирилла считается определенным сторонником Германии.*

Но поддержка Кирилла это, конечно, мелочь, и, если угодно, анекдотическая мелочь. Имеются более серьезные симптомы, свидетельствующие о *враждебных замыслах части германской буржуазии против Советского Союза.*

В начале октября 1924 года в органе германских горнопромышленников «*Дейтше Бергверкерцейтунг*» была напечатана статья Эккарта, разбивавшая целый план экономического порабощения Советской Республики в духе плана Дауэса, навязанного Антантою Германии. Проект сводился к захвату нашей внешней торговли синдикатом иностранных капиталистов, к установлению иностранного контроля над нашими железными дорогами, к превращению России в страну исключительно земледельческую и к уничтожению нашей обрабатывающей промышленности, представляющей для Советского Союза, по мнению развязного немецкого экономиста, ненужную «роскошь». Разумеется, осуществление такого плана возможно только после низвержения или сильнейшего разгрома Советской власти, следовательно, после похода на Советскую Республику, и притом похода успешного. А это одно предполагает уже не только своего рода всеобщую экономическую интервенцию, но и некоторую общую военную интервенцию буржуазных государств против Советского Союза. Некоторые группы германских капиталистов договорились в последнее время и до этого.

В той же газете, уже в конце ноября 1924 года, т.-е. после победы консерваторов на английских выборах, появилась статья промышленника Рехберга, излагавшая беседу, которую автор имел с одним из видных английских консерваторов. Англичанин, принадлежащий к той группе британских консерваторов, которые являются решительными сторонниками боевой политики по отношению к Советскому Союзу, развил перед своим германским собеседником *план общего военного наступления на Советскую Республику, возгласяемого английским империализмом.* В этом плане британские империалисты отводят определенную роль и Германии, которую они намереваются привлечь к участию в военных операциях против Советской Республики, поручив ей «охрану тыла» (очевидно, во время наступления лимитрофов, т.-е. окраинных государств, с Польшей во главе, на Советский Союз). За это Германии обещаны «соответствующие компенсации», т.-е., повидимому, наряду с некоторыми политическими выгодами, и участие в экономическом расширении естественных богатств Советской Федерации. И в высшей степени характерно, что автор статьи, известный германский промышленник, выражает на столбцах этой буржуазной газеты свое полное согласие с вышеизложенными рассуждениями английского консерватора, с той только оговоркой, что, по его словам, Германия лишь в том случае последует за

Англией в деле вооруженного нападения на Советский Союз, если и Франция присоединится к нему!

Надо думать, что не вся германская буржуазия питает такие планы. Но достаточно и того, что известная часть ее разделяет их и имеет наглость высказывать их открыто.

Как мы видим, и настоящее мешает нам забыть о прошлом. Во всяком случае, пусть все знают, что мы внимательно следим за происками наших врагов и не дадим застигнуть себя врасплох.

*Ю. Стеклов.*

## Наследие Ленина.

Прошел год со времени смерти Ленина. Казалось бы, за это время фигура покойного вождя должна была отойти несколько в даль. Но, странное дело, этого не замечается. Ленин попрежнему как бы живет среди нас. Как-то недавно один старый партиец спросил другого, близкого к Ленину, человека: «Верите ли вы, что Ленин умер?» И тот, не колеблясь, ответил: «Конечно, нет. Эта мысль как-то не вмещается в голову».

Зарубежная белая печать возмущается фактом творимой вокруг имени Ленина легенды. Да, о Ленине, действительно, уже творится легенда. Но, в отличие от других легенд, *ленинская легенда является правдой*. История знает много легенд, создававшихся вокруг имен тех или иных выдающихся деятелей, а иногда даже несуществовавших личностей, в роде различных баснословных основателей религий. Но вот что замечательно. С течением времени другие легендарные герои истории бледнеют и уходят в туманную даль. Чем сознательнее становится человечество, чем в большей мере оно само становится творцом истории, тем хуже приходится большинству легендарных героев. Напротив, по мере того, как человечество постепенно выходит из бессознательного состояния и становится все более активным и творческим участником исторического процесса, фигуры таких людей, как Ленин, не умалются, а становятся все величественнее, не забываются, а делаются все ближе миллионным массам людей.

Был момент, когда Ленина знала только небольшая группа его ближайших сторонников. Затем он стал известен всей России. После октябрьской революции известность его перешагнула через национальные границы, и о нем узнал весь мир. На земле нет теперь политически грамотного человека, который не слышал бы имени Ленина, который так или иначе не определил бы своего отношения к нему. И чем дальше, тем популярность его будет расти.

В чем же здесь дело?

Что *Ленин был гением*,—это бесспорно. Вначале только небольшая группа большевиков, ближайших сторонников Ленина, правильно оценила эту историческую фигуру. Но и они

должны признать, что во всем объеме и они не понимали Ленина и его значения. Только теперь, после его смерти, фигура его выступает во всей своей величине. И с каждым днем, по мере ознакомления с работою его жизни, по мере перечитывания его старых статей и речей, по мере развертывания исторических событий, все более подтверждающих его необычайную прозорливость и проницательность, Ленин начинает вырастать во весь свой рост. И конца-края не видно этому росту.

Это абсолютное величие фигуры, разумеется, отчасти объясняет происхождение и развитие ленинской легенды, но только отчасти. История знает многих выдающихся деятелей в различных областях жизни, в науке, политике, общественной работе и проч. Но ни один из них с Лениным сравниться не может. В отдельных отраслях работы многие из них могут превосходить Ленина своими достижениями и открытиями, особенно в области науки, которой Ленин, как практический политик, мог отдавать сравнительно небольшую часть своих сил. Но *с Ленине поражает гармоническое соединение всех талантов*. Он и теоретик, и кабинетный мыслитель, и боевой журналист, и политический деятель, и практический организатор, и глава правительства, и военный стратег, и организатор хозяйства, и искусный дипломат, и т. д., и т. п. Это гений разносторонний, чтобы не сказать—всесторонний.

И однако не этим одним объясняется популярность Ленина, не этим целиком исчерпывается его право на почетнейшее место в Пантеоне великих людей. Суть дела заключается в том, что, в отличие от других великих исторических героев, Ленин поставил себе задачу *освобождение трудящихся масс, а, значит, и освобождение всего человечества, уничтожение гнета и эксплуатации во всех их формах и разновидностях*. Не только поставил себе эту задачу, но *и начал осуществлять ее на практике*. И не просто начал осуществлять ее в жизни, но и создал условия, при которых дело освобождения человечества впервые поставлено *на твердую почву*.

С тех пор, как существует человеческая история, с тех пор, как началась борьба классов из среды поработанных непрерывно выдвигались все новые и новые борцы и вожди. История знает тысячи имен славных героев борьбы за человеческое счастье, а еще больше их было неизвестных. Начиная с XVI века, выдвигаются крупнейшие фигуры борцов за освобождение эксплуатируемых масс: Томас Мюнцер, Иоанн Лейденский, Грахх Бабеф, Огюст Блан и, Лассаль, Бакунин, Чернышевский, Энгельс, Гед, Жорес, деятели Парижской Коммуны и величайший из них, Карл Маркс,—много их было, и не перечислить их заслуг в короткой заметке. И вот все то, что принесли с собою в мир эти выдающиеся деятели и стоявшие за ними многомиллионные угнетенные массы, *все это об'единил в своей душе и сознании Ленин для того, чтобы претворить принципы в дело и открыть этим новую, славнейшую страницу мировой истории*. То, о чем великие рево-

инициаторы мечтали, то, что лучшие и проникательнейшие из них подготовили, Ленин начал первый осуществлять на практике. Начинали и другие, пыгались строить и другие, не останавливаясь ни перед какими жертвами, отдавая свою жизнь за дело порабощения братьев, но Ленин первый положил угловой камень в здание мирового освобождения, Ленин первый положил начало делу, которого не одолеть никаким возвратным приступом реакции.

Не только те, для кого жил и работал Ленин, не только мировой пролетариат, но и очень многие враги ленинского дела принуждены признать его величие, его истинную гениальность. *В чем же заключается гений политического деятеля?* Поскольку можно формулировать основные черты, выделяющие человека в разряд гениальных исторических деятелей, их можно определить приблизительно так.

Гений должен прежде всего *суметь понять ход исторического процесса*, выдвигаемые им задачи, взаимное отношение борющихся социальных сил, найти точку приложения накопившейся социальной энергии. Это Ленин умел делать, как никто. Маркс и его школа подготовили в этом отношении путь для Ленина. Гениальный анализ развития капиталистического общества, который дан в работах Маркса и Энгельса, подвел прочный теоретический и отчасти практический фундамент под растущее движение международного пролетариата. Ленин не остановился на достигнутых его предшественниками результатах. *Он пошел дальше из теоретический анализ.* Он применил основные выработанные ими положения к новой стадии развития капитализма, к эпохе так называемого империализма, и сумел разглядеть те комбинации, которые создавались этою новою стадиею капиталистического процесса. Даже в этой чисто научной и исследовательской области Ленин сумел проявить оригинальность и самобытность, развивая дальнейшие основные принципы марксизма и подробно исследовав ту сторону марксова учения, которая имеет непосредственное отношение к пролетарской революции, — *вопрос о диктатуре пролетариата и о рабочем государстве.*

Ленин сумел не только понять ход исторического процесса и выдвигаемые им на очередь дня задачи, но он сумел и *подготовить условия победы рабочего класса.* История знает многочисленные примеры народных революций, восстаний угнетенных масс, которые все кончались поражением. Этой участи не избегли и первые пролетарские восстания, как мятеж «национальных мастеровых» в июне 1848 года в Париже, как Парижская Коммуна 1871 года и т. д. Ленин хотел *такой* рабочей революции, которая, в отличие от предыдущих, закончилась бы не поражением, а победой. *И вся его работа, теоретическая и организационная, с юных лет и до самой смерти, свелась к тому, чтобы найти и осуществить те условия, при которых раз отвоеванные пролетариатом позиции не могли бы быть вырваны из его рук враждебными классами.* И это, пожалуй, *одна из главных заслуг Ленина.*



Поняв ход исторического процесса, подготовив условия, при которых революция может избежать неудачи, необходимо было осуществить программу пролетарской революции *на практике*. Ленин первый показал, что *это возможно осуществить*. Возглавив стихийное движение рабочих и крестьянских масс, он сумел нанести смертельный удар буржуазии и привести к власти пролетариат, а затем в течение шести лет, стоя во главе первого рабочего государства, он сумел обеспечить достигнутую победу и охранить завоевания революции от всех покушений внутренней контр-революции и коалиции мирового капитала. То, что казалось фантастической сказкой—осуществление социалистической революции в одной из самых отсталых экономических стран, то, что прежде представлялось абсолютно невозможным—защита революции против всего об'единенного буржуазного общества,— *Ленин сделал, и сделал так хорошо, что даже с его исчезновением из мира живых дело его не умерло и умереть не может.*

На посту руководителя и организатора первой удачной социалистической революции Ленин проявил необычайную *гибкость* истинного политического вождя. Враги его говорили по этому поводу о ленинском «оппортунизме». Мы не боимся слов, но нам кажется, что в применении к Ленину этот термин не совсем удачен. Оппортунизм заключается не в простом учете окружающих обстоятельств, а в капитуляции перед ними, в отказе от своих основных принципов и стремлений в угоду временно господствующим силам и течениям. Ленин же умел, *лавируя, а в случае нужды и отступая, сохранить целиком свои основные задачи* и среди величайшей запутанности исторической кон'юнктуры упорно и систематически *проводить свое дело.*

Кроме всех вышеуказанных качеств, гений характеризуется еще и тем, что работа его не исчезает бесследно, что она оставляет в истории *прочный след*, что она дает *результаты осязательные и способные к дальнейшему развитию*. Все это Ленин сделал. И можно прямо сказать, что ни один исторический деятель в этом отношении не создал ничего подобного тому, что создал Ленин, ни один не оставил таких богатых и плодотворных следов своей работы, какие удалось оставить Ленину.

В самом деле. Он завещал нам так много, что как бы подробно и полно мы ни перечисляли результаты его деятельности, мы всегда рискуем, по крайней мере, столько же, если не больше, упустить. Он дал грядущим поколениям и учение, и оружие, и заступ для расчистки исторической нови и для прочного социалистического строительства. И чем дальше, тем все яснее и нагляднее выступает весь об'ем и величие ленинского наследства.

Он дал мировому движению пролетариата *программу*. Теперь уже ясно, что ленинская программа есть не только программа чисто русского движения, но программа мировая. Эта мировая коммунистическая программа еще не сформулирована окончательно, но в основных своих чертах она не только теоретически

ясна для всех, но уже вошла в плоть и кровь международного революционного движения, уже указывает ему пути и освещает перед ним историческую дорогу в запутанном лабиринте современной социально-политической действительности.

Но Ленин дал революционному движению международного пролетариата не только теоретическую программу, как нельзя лучше вскрывающую основные черты капитализма в эпоху империализма и вытекающие отсюда для рабочего класса задачи, но он дал ему и *тактику*, вернейшим образом обеспечивающую постепенный рост движения и сулящую ему в грядущем неизбежную победу. Тактика ленинизма или большевизма все более становится тактикой международного пролетарского движения.

Одновременно Ленин создал *аппарат*, приспособленный к проведению тех политических задач, которые современное развитие капитализма выдвигает перед международным пролетариатом. Ленин, учитывая исторический опыт, прекрасно понимал, что самое великое и самое правое дело неминуемо обречено на поражение, если за ним не стоит организованная, сплоченная и дисциплинированная сила, способная дать ему правильное развитие и отстоять его от покушений многочисленных врагов. Все предшествовавшие революции, окрашенные пролетарским духом, неизбежно кончались поражением, потому что не существовало истинно-народной партии, способной возглавить стихийные порывы масс и твердой рукой повести их к победе через все исторические препятствия. *Создание и воспитание коммунистической партии*, возглавляющей движение пролетариата в процессе его продолжительной борьбы, подготавливающей рабочий класс к решительному бою и к длительной защите революционных завоеваний,—вот то *великое и исторически оригинальное дело Ленина*, которое, пожалуй, более резко, чем что бы то ни было другое, отличает его от предшествовавших общественных деятелей.

Ленин показал, как руководить социальной революцией. Это, пожалуй, наиболее сложное из всех исторических дел. А, главное, в этом отношении Ленин совершенно не имел предшественников. Тот опыт, который в этой области имелся, говорил скорее о том, как можно провалить рабочую революцию, чем о том, как можно ее направить и спасти. Здесь Ленину приходилось работать на совершенно девственном поле. И он сумел в самой затруднительной исторической обстановке не только провести социалистическую революцию, но утвердить ее и настолько укрепить, что отныне ей не страшны никакие исторические бури. Если первому рабочему государству даже придется еще в течение длительного исторического периода оставаться еще одиноким в капиталистическом окружении, мы можем с уверенностью сказать, что в худшем случае оно будет развиваться замедленным темпом, но убито и уничтожено оно быть не может.

В этой области защиты революционных завоеваний Ленин в числе прочих методов и приемов, которые еще будут в свое время

изучаться историей и применяться на практике другими коммунистическими партиями; указал один, в данном случае *основной, способ* упрочения рабочего государства и обеспечения революционных завоеваний. Это—*союз рабочих и крестьян*, смычка города и деревни, об'единение усилий двух основных группировок трудящихся масс, из которых первая—пролетариат—зачинает и направляет социальную революцию, придавая ей свой специфический характер, но может обеспечить ей победу и отразить натиск всех контр-революционных сил лишь при активном содействии второй, т.е. крестьянства. Об'единить стремления этих двух социальных категорий, до тех пор, казалось, непримиримые, Ленину удалось, и это одно из тех завоеваний, которые войдут в сокровищницу международного пролетарского движения. И в той мере, в какой другие коммунистические партии сумеют проводить на деле ленинскую политику в этой области, они будут расти, крепнуть и побеждать.

Как мы уже говорили, *наследие Ленина имеет международный характер*. Вопреки тому, что говорят наши противники, ленинизм не есть какое-либо специфически русское учение или направление, а теория, об'ясняющая развитие мирового капитализма в ее нынешней империалистической стадии и указывающая всему международному пролетариату вернейший путь к освобождению. Что это так, видно из того, что *основные начала ленинизма уже начинают все больше усваиваться и применяться в мировом масштабе*. Ленин был одним из главных создателей того нового международного об'единения пролетарского авангарда, который известен под именем Коммунистического Интернационала. Что движение этого авангарда встречает сильнейшее сопротивление со стороны всех групп капиталистического класса, а иногда даже со стороны отсталых слоев трудящихся, это естественно. Поэтому отдельные отряды Коминтерна могут временно терпеть неудачи, слабость и отступать, но в общем и целом ясно уже теперь, что Коминтерну предстоит в будущем победоносное шествие, колоссальное развитие, решающая историческая роль. Что ленинизм есть явление мировое, видно из того, что по мере созревания коммунистических партий они все более и более усваивают и большевистскую программу, и большевистскую тактику. В настоящее время мы присутствуем при процессе «большевизации» почти всех коммунистических партий мира. И можно было бы сказать, что история приурочила эту «большевизацию» к жервой годовщине смерти Ленина как бы для того, чтобы наглядно продемонстрировать мировой характер ленинского наследия.

Этот мировой характер наследия Ленина еще больше подтверждается пробуждением так называемых народов Востока, до сих пор спавших почти непробудным сном. Ленинские ловушки, даже в том неизбежно зародышевом виде, в каком они проникают в сознание этих угнетенных народов, возбуждают их к деятельности и борьбе. И опять-таки, как бы для того, чтобы сделать

это особенно очевидным к годовщине смерти Ленина, мировая буржуазия по инициативе британских империалистов организует сейчас новый крестовый поход против Советской Республики в виду той угрозы, которую для нее создает развитие национально-революционных движений среди угнетенных народов, приписываемое ею влиянию ленинизма.

Вот что обуславливает величие исторической фигуры нашего покойного вождя. Заветы Ленина бессмертны. В России ленинизм уже победил. Его грядущая победа во всем мире несомненна, и ясно, что эта победа будет обеспечена в той мере, в какой международный пролетариат сумеет провести на практике «заветы Ильича».

И вот почему ленинизм бессмертен.

Ю. С.

---

# Неопубликованные рукописи В. И. Ленина о диктатуре пролетариата \*)

## Справка.

В настоящий отдел вошло четыре рукописи Владимира Ильича на тему о диктатуре пролетариата. Рукописи, условно обозначенные редакцией номерами 1—4, представляют из себя конспекты и планы ненаписанной брошюры. Рукописи имеют в подлиннике следующие заголовки:

1. (Некоторые стороны вопроса о диктатуре пролетариата.) Вопрос о диктатуре пролетариата.
2. Некоторые теоретические стороны вопроса о диктатуре пролетариата.
3. Темы о диктатуре пролетариата.
4. *О диктатуре пролетариата.*

Датировка на рукописях отсутствует. Несомненно, однако, что все указанные здесь черновые наброски Владимира Ильича относятся ко второй половине 1919 года и началу 1920 г. В небольшом вступлении Владимира Ильича к его статье «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата» (статья написана 30 октября 1919 года, перепечатана в собр. соч., том XV, стр. 347—356) находим указание Владимира Ильича на подготовку им к печати брошюры о диктатуре пролетариата. Владимир Ильич пишет здесь следующее: «К двухлетнему юбилею советской власти я задумал написать небольшую брошюру, указанную в заглавии. Но в суетолоке повседневной работы мне не удалось до сих пор пойти дальше предварительной подготовки отдельных частей. Поэтому я решил сделать опыт краткого, конспективного изложения самых существенных, на мой взгляд, мыслей по данному вопросу». Цитируемая статья имела пометку «продолжение сле-

---

\*) От Редакции «Нового Мира». — Напечатанные ниже неизданные рукописи В. И. Ленина любезно представлены нам Институтом имени Ленина и должны появиться в третьем Ленинском сборнике, издаваемом этим Институтом. Считаем нужным указать, что для удобства наших читателей мы печатаем эти рукописи в дополненном (по смыслу) виде, но без скобок. Примечания звездочкой—ред. „Нов. Мира“, цифрами—Инст. им. Ленина

дует», однако продолжение не было напечатано, и статья осталась неоконченной.

Печатаемые ниже рукописи представляют из себя как раз тот предварительный материал и притом незаконченный (вопрос об «экономике» почти совершенно не разработан; может быть, впрочем, на эту тему имелись еще не найденные нами заметки Владимира Ильича) черновой материал, который должен был лечь в основу задуманной Владимиром Ильичем брошюры о диктатуре пролетариата (намерение это, однако осталось невыполненным), и который частично вошел в статью «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата». Сопоставление этой статьи (особенно 4 и 5 параграфов, трактующих о политике) с приводимыми здесь планами и конспектами вполне подтверждают это предположение.

Первые три рукописи написаны в 1919 году, повидимому, до 30 октября; четвертая рукопись (самая большая и вполне законченная, «отделанная») — в начале 1920 года; по своему содержанию она представляет дальнейшую систематизацию и упорядочение материала третьей рукописи, но в то время, как третья рукопись упоминает в тексте 1919 год, в четвертой уже есть ссылка на 1920 год.

## I.

### Вопрос о диктатуре пролетариата \*)

Выход из классового общества к неклассовому, бесклассовому.

Три основные группы класса: эксплуатируемые, эксплуататоры, средние; рабочие, капиталисты, мелкая буржуазия.

Как выйти? «Большинство» вообще из разных классов. Не классовая борьба, а большинство? Продолжение классовой борьбы в иной форме: господствующий класс (эксплуатируемые; пролетариат, а не эксплуатируемые вообще).

Средние, колеблющиеся, ведомые.

Капиталисты (эксплуатирующие), *подавляемые*, подавляется их сопротивление.

Диктатура пролетариата, как новая форма классовой борьбы, перехода (переходной стадии общества) от капитализма к социализму.

Два основных, дальше возникающих, вопроса:

а) Большинство пролетариата в населении, как условие, т.-е. диктатура пролетариата допустима *тогда*, когда пролетариат составил большинство населения.

б) Формы классовой борьбы в этой особой стадии. Старые формы или новые? В чем новизна?

\*) Цифры 1—31 в этой рукописи означают ссылки на соответствующие параграфы рукописей № 3 и 4.—Возможно потому, что рукопись № 1 была составлена позже их; но возможно также, что эти цифры просто были нанесены на рукопись № 1 после составления последних двух.—

Ad. α. 51% Minimum?\*) (сгwa \*\*)

40% средней и мелкой буржуазии, капиталистов { сгwa \*\*\*\*\* }

9% капиталистов  
100%)

Пролетариат в империалистской стране; % империалистов среди пролетариата? à l'anglais: \*\*\* (сравни Engels \*\*\*\*) 1852—1892).

а если сгwa: 20% пролетариата

75% мелкой буржуазии { 30 бедных, 30 средних, 15 богатых }

5% капиталистов  
100%)

Новое и существенное, конкретное отменяют, а жуют зады о «пролетариате» вообще.

Четыре главные отдела (А, В, С, Д); А В С—общие; Д—«русское».

Диктатура пролетариата как [есть] \*\*\*\*\*) продолжение классовой борьбы пролетариата (1.

Государство, при диктатуре пролетариата, есть лишь новое орудие его классовой борьбы (2.

Диктатура пролетариата означает новые задачи и новые формы экономической борьбы (3, 4.

Четыре главнейшие новые задачи классовой борьбы при диктатуре пролетариата (5. 6. 7. 8)+26.

А

Диктатура пролетариата как новая форма классовой борьбы пролетариата и новая стадия с новыми задачами.

\*) Минимум.

\*\*\*) Около.

\*\*\*\*) Пример Англии.

\*\*\*\*\*) Энгельс.

\*\*\*\*\*) Около.

\*\*\*\*\*) В рукописи над словом «есть» надписано слово «как». (Судя по построению дальнейших фраз, предполагалось вместо «есть» поставить «как». — Ред. «Нового Мира».

1) Слева от этого абзаца имеются карандашные заметки Влад. Ильича на рукописи.

$$\begin{array}{r} + 51 \\ 10 \\ \hline 61 \end{array} < \text{бедняков из 40.}$$

2) Слева от этого абзаца имеются карандашные заметки Влад. Ильича на рукописи.

$$\begin{array}{r} + 20 \\ + 30 \\ \hline 15\frac{1}{2} \quad 30 \\ \hline 55 \quad [65] \end{array}$$

Диктатура пролетариата как отрицание буржуазной демократии (9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20.+32.

Диктатура пролетариата как создание пролетарской демократии.

Успехи демократизма при диктатуре пролетариата (19).

Ad β. Диктатура пролетариата и колеблющаяся мелкая буржуазия, особенно крестьянство (15. 21. 22+25. 28. 29. 30.

Диктатура пролетариата есть диктатура революционных элементов эксплуатируемого класса (есть раскол с оппортунистической верхушкой пролетариата) (23. 24.

С. Диктатура пролетариата и особенности империализма (30.

1) колонии

1) раскол социализма

Диктатура пролетариата и гражданская война (31.

сравни 27.

Диктатура пролетариата и «уничтожение» революционной партии пролетариата (сравни Каутского).

Д. Диктатура пролетариата и советская конституция (25.

В

Диктатура пролетариата как разрушение [отрицание]\*) буржуазной и создание пролетарской демократии.

§ 9. Диктатура гс. (и) демократия («чистая демократия») Allgemeines \*\*) 3).

10. (α) Равенство (11).

11. (β) Политическая свобода (12).

12. (γ) и свободы вообще.

13. (δ) Решение по большинству (13) голосованием.

14. Его условия равенство.

15. добросовестность.

16. обман.

17. бюрократизм.

18. Диктатура буржуазии.

19. Решение борьбой в наиболее острых формах (16).

20. Большинство и сила.

21. Успехи демократизма (19).

\*) «Отрицание» в рукописи вычеркнуто.

\*\*\*) Общее.

3) §§ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 в подлиннике вычеркнуты В. И.



## II.

## Некоторые теоретические стороны вопроса о диктатуре пролетариата.

Диктатура пролетариата—*руководство* трудящимися массами (и всем обществом) со стороны пролетариата.

Две основные задачи (и, соответственно, две новые формы) классовой борьбы при диктатуре пролетариата:

(1) подавление сопротивления эксплуататоров (и всякого рецидива, возврата к капитализму и к капиталистическим традициям);

(2) систематическое руководящее *воздействие* (тоже = борьба, но особого рода, преодоление известного, правда, совсем иного сопротивления и совсем иного рода преодоление) на *всех* трудящихся, кроме пролетариев.

Диктатура пролетариата есть превращение его в *господствующий* [матер.] \*) класс. Господство одного класса исключает свободу и равенство.

К освобождению от эксплуатации «вообще».

NB \*\*)

Свобода и равенство—либо *kritiklose*\*\*\*) повторение буржуазной демократии, либо туманно-мечтательное *echt kleinbürgerlich* \*\*\*\*) стремление к *какому-то* совершенно новому строю, к социализму *in abstracto* \*\*\*\*\*).

А революционному пролетариату нужно (и вообще, и теперь сугубо) конкретное определение его задач *перехода, постепенных шагов от старого к новому*.

*Реальные шаги к «свободе и равенству», ТО-ЕСТЬ (sonst Phrase, laute Phrase!) \*\*\*\*\*) 25) к уничтожению классов.* Одним способом, по одной линии, можно и должно уничтожить класс (и классы) эксплуататоров.

Их можно «скинуть».

Нельзя «скинуть» НЕ-эксплуататорские или НЕ-ПРЯМО эксплуататорские классы (буржуазная интеллигенция; мелкая буржуазия, которая *qua Eigentümerin der Produktionsmittel*\*\*\*\*\*)) является *постольку* эксплуататоршей *in potentia et partialiter in praxi* \*\*\*\*\*).

\*) Слово „матер“. (вероятно, материальное) в рукописи вычеркнуто.

\*\*\*) Нотабене.

\*\*\*\*) Некритическое.

\*\*\*\*\*) Чисто мещанское.

\*\*\*\*\*) В абстракции.

\*\*\*\*\*) В противном случае фразы, пустые фразы!

\*\*\*\*\*) Как собственница средств производства.

\*\*\*\*\*) В возможности и отчасти на практике.

## III.

## Темы о диктатуре пролетариата.

1. Диктатура пролетариата есть продолжение **классовой борьбы** (в новой форме).

2. Государство — *только* орудие в ней.

3. Форма этого орудия не может быть прежней. В особенности, формальное равенство не может быть формой борьбы за материальное равенство, против фактического неравенства.

4. Две основные линии (или формы или типа) классовой борьбы при диктатуре пролетариата.

5. А) Подавление эксплуататоров. Война более беспощадная, чем иные.

6. В) «Нейтрализация» средних элементов мелкой буржуазии, крестьянства. Нейтрализация складывается из убеждения, примера, обучения опытом, пресечения уклонений насильем и т. п.

7. С) Подчинение себе враждебного для позитивной работы («спецы»).

8. D) Воспитание новой дисциплины.

9. Диктатура [и] демократия. Диктатура есть отрицание демократии (вообще). Диктатура угнетенного класса есть отрицание демократии для угнетающего класса, расширение ее для угнетенного.

10. Демократия, конкретно, =

11. α) равенство всех граждан перед законом. — Не может быть равенства с эксплуататором при его свержении.

12. β) политическая свобода для всех граждан. — Не может быть политической свободы для эксплуататоров.

13. γ) решение по большинству всех граждан. — Нет: кроме эксплуататоров и *вопреки колеблющимся*.

14. Решение *голосованием*, такова суть мирной или чистой демократии. На деле *деньгами* при буржуазной демократии. Классовой борьбой, гражданской войной при освобождении от капитала, при свержении капитала.

15. *Один* класс ведет, при капитализме, классовую борьбу с капиталом. *Idem* \*) при ее продолжении в форме диктатуры пролетариата. Мелкая буржуазия — «*постолюку — поскольку*» (сравни Коммунистический Манифест <sup>4</sup>).

16. Решение *голосованием*, т.-е. *формальным волеизъявлением* при сохранении капиталистических определителей (мотиваций) воли = буржуазная демократия. Решение *классовой борьбой* и

\*) То же самое.

<sup>4</sup>) Маркс и Энгельс. Коммунистический Манифест. Госиздат. Под редакцией Д. Рязанова, стр. 75.

гражданской войны против эксплуататоров = пролетарская демократия. Пролетариат своей борьбой, революционной борьбой *разрушает* капиталистические отношения собственности, *ergo* \*) капиталистические определители (мотивации) воли и решения для колеблющихся <sup>5)</sup>.

17. Решение голосованием = все равны, «не считая» денег, капитала, частной собственности. Решение классовой борьбой и гражданской войной: сначала разрушить гнет денег, капитала, частной собственности, потом голосовать не-эксплоататорам. По мере первого—второе. В связи с успехом первого—второе.

18. Решение голосованием до конца было бы возможно при всеобщей добросовестности (*ergo*\*) *уже* в внеклассовом обществе), при отсутствии сопротивления эксплуататоров. = Утопия реформизма.

19. Демократия при диктатуре пролетариата: съезды, собрания, местные самоуправления, решение волей трудящихся, религия, женщина, угнетенные нации: «Небо и земля». Обучение трудящихся обходиться без капиталистов = демократия при диктатуре пролетариата.

20. Обман трудящихся формальным равенством при сохранении гнета, ига, рабства капиталистического = буржуазная демократия.

21. Диктатура пролетариата есть обучение *одним* классом, пролетариатом, всех трудящихся, руководство. Вести. Господствующий класс = пролетариат, *один*. Господство исключает свободу и равенство.

22. Крестьянство как трудящиеся = союзник; как собственники и спекулянты = враг.

«Постольку—поскольку». Это не голосования, а ход революции, ход гражданской войны, ее уроки, ее итог.

23. Пролетариат не вообще, не *in abstracto*\*\*), а в XX веке, после империалистской войны. Неизбежен *раскол* с верхушками. Обход. конкретного, обман абстракциями (Диалектика герр.\*\*\*) эклектицизм).

24. Энгельс 1852 об Англии 1852—1892. Сравни 1914—9. Диктатура пролетариата = свержение его оппортунистических верхушек, переход от аристократии рабочего класса к массе, «борьба за влияние». Не без раскола.

25. Советы = пролетарская демократия = диктатура пролетариата. Рабочие и крестьяне в советской конституции. Равен-

\*) Следовательно.

<sup>5)</sup> Маркс и Энгельс в течение ряда десятилетий (1852—1892) разоблачали «обуржуазение» аристократической верхушки рабочего класса в Англии. См. Ленин, Собр. соч., т. XIII, стр. 474—476, т. XVI, стр. 326.

\*\*\*) Абстрактно.

\*\*\*) А с другой стороны.

ство = трудовой «демократии». § 23 конституции <sup>6)</sup>. «Диктатура одной партии».

26. Сопротивление эксплуататоров начинается раньше их свержения и усиливается свержением. Обострение борьбы с 2 сторон или уклонение от борьбы (Каутский).

27. Была пора. etwa \*) 1871—1914, когда надо было развивать отсталых всеобщим голосованием, без революции (+ стачки etc. \*\*).— Пришла пора революции (1917— ), когда развивается ход революции пролетариата его гражданская война.

28. Развитый пролетариат и «Moderne Barbaren» \*\*\*). Опыт революции. Увлечь и направлять. Авторитет революционного пролетариата среди трудящихся.

29. Колеблящиеся и усталые гсрр. \*\*\*\*) пролетариат.

30. Империализм = огрубление капитализма, гниение его, военная власть над отсталыми (сравни Hobson \*\*\*\*\*) и мой «Империализм»<sup>7)</sup>.

31) Превращение империалистской войны в гражданскую. 1870: обучил владеть оружием<sup>8)</sup>. Сравни—Каутский 1914—8.

32) «Большинство»? 51% пролетариата меньше чем 20% (ββ) пролетариата, если в αα больше империалистского заражения и сопротивления мелкой буржуазии.

33) «Одна реакционная масса». Eng ls NB \*\*\*\*\*) 1875 относится к Коммуне и ко всякой диктатуре пролетариата<sup>9)</sup>.

<sup>6)</sup> § 23. «Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, РСФСР лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции» (Конституция. Изд. ВЦИК, 1918 г.).

\*) Около.

\*\* ) И проч.

\*\*\* ) „Нравские варвары“.

\*\*\*\* ) А с другой стороны.

\*\*\*\*\* ) Гобсон.

<sup>7)</sup> А. Гобсон, автор книги «Империализм». Социал-реформист и пацифист. Дал «очень хорошее и обстоятельное описание основных экономических и политических особенностей империализма» (Ленин, Собр. соч., т. XIII, стр. 245).

<sup>8)</sup> Маркс. Гражданская война во Франции. Перев. Ленина, 1919, стр. 19.

\*\*\*\*\* ) Энгельс нотабене.

<sup>9)</sup> Энгельс опровергал положение Лассалья, будто по отношению к рабочему классу все остальные слои общества, следовательно и мелкая буржуазия, представляют одну сплошную реакционную массу. См. письмо Энгельса Бебелю 18—28 марта 1875 г. по поводу проекта Готской программы (это письмо напечатано в виде приложения к брошюре Маркса «Критика готской программы», предисловие К. Корша, перевод Н. Алексеева, Госиздат, 1923 г.).

## IV.

## О диктатуре пролетариата.

Для разработки в брошюре вопрос распадается на 4 крупные отдела:

А) Диктатура пролетариата как новые формы классовой борьбы пролетариата (иначе: новая стадия ее, с новыми задачами).

В) Диктатура пролетариата как разрушение буржуазной и создание пролетарской демократии.

С) Диктатура пролетариата и особенности империализма (или империалистской стадии капитализма).

Д) Диктатура пролетариата и Советская [конституция РСФСР] власть \*).

План разработки по этим 4 отделам:

(А) *Диктатура пролетариата как новые формы классовой борьбы пролетариата.*

1. Основной источник непонимания диктатуры пролетариата «социалистами» это недведение ими до конца идеи классовой борьбы (сравни Магх 1852).<sup>10)</sup>

Диктатура пролетариата есть продолжение классовой борьбы пролетариата в новых формах. В этом — гвоздь, этого не понимают. Пролетариат, как ~~собыл~~ класс, один *продолжает* вести свою классовую борьбу.

2. Государство лишь = орудие пролетариата в его классовой борьбе. Особая *дубинка*, rien de plus \*\*) <sup>11)</sup>.

Старые предрассудки насчет государства (сравни «Государство и революция»). Новые формы государства = тема отдела В; здесь лишь *подгод* к этому.

\*) В рукописи вычеркнуто «конституция РСФСР» и надписано «власть».

<sup>10)</sup> Каутский об уничтожении.

\*\*\*) Ничего болше.

<sup>11)</sup> Письмо Маркса к Вейдемейеру от 5 марта 1852 г. (К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. Перевод В. Адоратского, стр. 40—42). Об этом письме см. Ленин, Собр. соч., т. XVI, ч. 2. Государство и революция, стр. 323.

3. Формы классовой борьбы пролетариата, при его диктатуре, не могут быть прежние. Пять новых (главнейших) задач и respective \*) новых форм:

4. (1). Подавление с প্রতিবেশীত্বা এক্সপ্লো-таторов. Об этом, как задаче (и содержании) эпохи, вообще забывают оппортунисты и «социалисты».

Отсюда:

(αα) особая (высшая) ожесточенность классовой борьбы.

(ββ) новые формы сопротивления, соответствующие капитализму и его высшей стадии (заговоры + саботаж + воздействие на мелкую буржуазию, etc. etc.

и \*\*) в частности.

5. (2) (γγ)

Сопротивление эксплуататоров начинается до их свержения и **сбост яется** после с 2-х сторон. Борьба до конца или «отболтаться» (как мелкая буржуазия, «социалисты»).

### Гражданская война.

Революция вообще и гражданская война (1649. 1793.), сравни **Карл Каутский** 1902 в «Социальной революции»<sup>12)</sup>.

Гражданская война в эпоху международных связей капитализма.

Гражданская война и «уничтожение» партии (Карл Каутский). Террор и гражданская война.

Превращение империалистской войны в гражданскую. (Невежество и подлая трусость «социалистов».)

{ α **РОССИЯ**, *Венгрия*,  
*Финляндия*, *Германия*.  
β Швейцария и Америка.

Сравни **Маркс** \*\*\*) 1870: научит пролетариат владеть оружием. Эпоха 1871—1914 и Эпоха гражданских войн.

+ Неизбежность соединения гражданской войны с революционными войнами (сравни программу **Р.К.П.**).

\*) Соответственно.

\*\*\*) Владимир Ильич начинает с маленького и (после точки).

<sup>12)</sup> К. Каутский. «Социальная революция». Изд. **ВЦИК**. 1918 г., стр. 3—12, 52—53.

\*\*\*) Маркс.

6. (3) «Нейтрализация» мелкой буржуазии, особенно крестьянства.

Коммунистический Манифест (реакционна и революционна «постольку, поскольку»).

Карл Каутский в «Agrarfrage»\*)<sup>13)</sup> нейтрализация—та же мысль verballhornt<sup>14)</sup>.

{ «Нейтрализация» на практике пресечение насиллием (Энгельс 1895)<sup>15)</sup>.  
 Пример  
 Убеждение etc. etc.\*\*)  
 Привлечение + пресечение, «постольку—поскольку».

«Господствующий класс». Господство исключает «свободу и равенство».

«Вести», «руководить», «увлекать за собой», классовое содержание этих понятий.

NB | Крестьянин и рабочий. Крестьянин как труженик и крестьянин как эксплуататор (спекулянт, собственник). «Постольку—поскольку». Колебания в ходе борьбы. Опыт борьбы.

«Одна реакционная масса»: Энгельс 1875, отношение к Коммуне.

7. (4) «Испльззование» буржуазии.

«Спецы». Не только подавление сопротивления, не только «нейтрализация», но взятие на работу, принуждение служить пролетариату.

Сравни Программа Р. К. П. «Военспецы».

\*) Аграрный вопрос.

<sup>13)</sup> «Аграрный вопрос» К. Каутского. См. Ленин, Собр. соч., т. II—Рецензия на книгу Каутского. Том IX—Капитализм в сельском хозяйстве (о книге Каутского и статье г-на Булганова).

<sup>14)</sup> Ухудшена под видом исправления (о слове см. Ленин, Собр. соч., т. V, стр. 173).

<sup>15)</sup> Точнее 1894 г., когда Энгельс опубликовал в «Neue Zeit» свою работу «Крестьянский вопрос во Франции и Германии» (см. русск. перев. В. Величкиной, 1920, стр. 37, 41, 42).

\*\*\*) И проч., и проч.

## 8. (5) Воспитание новой дисциплины.

α) Диктатура пролетариата и профессиональные союзы.

β) Коммунистические «субботники».

γ) Очистка партии и ее роль.

δ) Премии и сдельная плата.

Государство и  
«свобода» (сравни  
Энгельс 1875)<sup>16)</sup>

I. (B) Диктатура пролетариата, как разрушение буржуазной и создание пролетарской демократии.

9. Диктатура и демократия, как «общие» («чистые» по Карлу Каутскому) понятия.

Диктатура как отрицание демократии.  
Для кого?

Абстрактная мелко-буржуазная демократическая точка зрения и марксизм \*) (классовая борьба). Дефиниция \*\*). Насилие (Энгельс).

10. «Свобода». = Товаровладельца.

Реальная свобода для наемных рабочих,—для крестьян.

Свобода для эксплуататоров.

Свобода для кого?

» от кого? от чего?

» в чем?

11. «Равенство». Энгельс в Анти-Дюринге (предрассудок, если сверх уничтожения классов).

Равенство товаровладельцев.

Равенство эксплуатируемого с эксплуататором.

» голодного с сытым.

» рабочего с крестьянином.

Равенство кого с кем? в чем?

12. Решение по большинству.

Его условия: равенство фактическое (культура), свобода фактическая,—сравни печать, собрания etc. \*\*\*) Все равны, не считая денег, капитала, земли...

<sup>16)</sup> См. письмо Энгельса Бебелю 18—28 марта 1875 г. (примеч. 17), а также Ленин, Собр. соч., т. XIV, ч. 2. Государство и революция, стр. 349.

\*) В рукописи стоит: «мзм».

\*\*\*) Определение.

\*\*\*) И проч.



13. Решение по большинству. Его другое условие = «добросовестность» подчинения. Утопия реформизма. Подкрашивание капитализма.

14. Реальность буржуазно-демократической республики.

Engels о связи правительства с биржей и с капиталом.

Подкуп

обман

пресса

соборания

парламент

привычка

давление капитала (общественное мнение) и т. д.

15. Империалистская война 1914—1918, как «последнее слово» буржуазной демократии.

«Мир» 1918—1919.

Внешняя политика.

Армия и флот.

16. Бюрократия. Суды. Militarизм. Диктатура буржуазии, прикрытая правовыми формами.

17. Решение большинством и сла большинства. 51% «пролетариата».

{ Империалистское влияние, положение мел- кой буржуазии etc. 1/2 пролетариата.	}	res. *) 20 про- центов + 40 1/2
		} процентов.

18. Мирное голосование и обостренная классовая борьба. Экономические и политические условия обострения классовой борьбы.

19. Реальность демократизма пролетарской демократии.

Сначала свергнуть гнет денег, власть капитала, частную собственность, потом *длинный рост* «добросовестности» на этой новой почве.

Формальное равенство при сохранении буржуазного гнета, ига капитала, наемного рабства.

Решение «всех»? вопреки колеблющимся и кроме эксплуататоров.

Мотивы волеизъявлений (буржуазная обстановка).

Сначала «решить», потом мирно голосовать?

Сначала развитие классовой борьбы.

Разрушение буржуазной обстановки, ее реальных условий мотивации воли.

\*) Соответственно.

Успехи демократизма: съезды, собрания, пресса, религия, женщины, угнетенные нации.

20. Исторический перелом от буржуазной к пролетарской демократии.

«Переростание», «вползание» или ломка первой, рождение второй? = Революция или без революции? Завоевание политической власти новым классом, свержение буржуазии или сделка, соглашение классов?

### III. (С) Диктатура пролетариата и особенности империализма.

21. Империализм как высшая стадия капитализма.

Резюме моей книги.

Дефиниция.

22. Колонии и зависимые страны. Восстание пролетариата против буржуазии своей страны + восстание народов в колониях и зависимых странах.

Революционный пролетариат и национальные войны. (Сравни Программа РКП.).

23. Захват земли «Лигой Наций» «Единый» угнетатель. Концентрация борьбы.

Разнообразии этапов.

24. Буржуазная верхушка пролетариата.

1852 — 1892 Энгельс и Маркс. 1872 Маркс о вождах английского тред-юнионизма.<sup>17)</sup> Labor lient of the capitalist class\*).

Социал-шовинизм.

Раскол 1915—1917 «центр».

1917—1919 (сравни программу Р. К. П.).

2 главные «струи»: продажные и филлисты.

Vorwärts («Radicalisierung der englischen Arbeiter-Partei»)... «eine gewisse Grösse»\*\*). большевиков.

<sup>17)</sup> Маркс заявил в Совете Интернационала, что «английские рабочие вожжи продались буржуазии». См. Ленин, Собр. соч., т. XIII, стр. 475.

\*) Рабочие подголоски класса капиталистов (надо полагать, что слово lient есть сокращенное слово lieutenant).

\*\*\*) Форвертс «Радикализация английской рабочей партии»)... «Некоторое количество».

25. 2 *Интернационала*. Диктатура революционных элементов класса.

Одна страна и весь мир.

IV. (Д) Диктатура пролетариата и советская власть.

26. Происхождение советов 1905 и 1917.

27. Особенности России. Каутский: «Славяне и революция». <sup>19)</sup>

28. Советы и «соглашательство». III—X. 1917.  
Меньшевики и эсеры.

29. Невежество и тупость *всё* II Интернационала. Nil \*\*) о советах.

Каутский в брошюре *анг.* \*\*\*) 1918.

Советы для борьбы, но не для государственной власти!!

30. Иначе *пролетарская масса*: классовый инстинкт!

31. Триумфальное шествие советской идеи по всему миру.

Открытая массовым движением пролетариата форма диктатуры пролетариата!!

III Интернационал.

32. Советская конституция РСФСР. § 23 ее №

Wiener Arbeiter-Zeitung № 180 (2/VII.1919) (Friedrich Adler \*) <sup>18)</sup> в докладе. {{{ софизмы изменника.

{ 1894 (Струве) <sup>20)</sup> и  
1899 Бернштейн <sup>21)</sup>  
меньшевики и социалисты-революционеры (1917)—  
1918 — 9 — 1920...  
(в Европе.)

Прямая и КОСВЕННАЯ (включение в германскую конституцию) победа советской идеи.

Идея овладела массами.

1793 — 4 г.с. \*\*\*\*)  
1917—9.

\*) Венская «Рабочая Газета» № 180 (2/VII 1919) Фридрих Адлер.

<sup>18)</sup> Венская «Рабочая Газета». В № 180 (от 2 июля 1919 г.) и № 181 напечатан доклад Фридриха Адлера «Задачи рабочих Советов и политическое положение», в котором Адлер доказывает нецелесообразность овладения властью для пролетариата в Австрии.

<sup>19)</sup> К. Каутский в статье «Славяне и революция» («Искра», 1902 г. № 18, 10 марта) высказал свое убеждение в том, что в XX веке центром революционного движения станет Россия. См. Ленин, Собр. соч., т. XIII, стр. 110—111, 116—117.

<sup>20)</sup> П. Струве. «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» (1894).

<sup>21)</sup> А. Бернштейн. «Предпосылки социализма и задачи соц.-демократии» (1899).

\*\*) Ничего.

\*\*\*) Англ. (?)

\*\*\*\*) Соответственно.

# По Советской земле.

(По пермским деревням.)

## Ржаной народ у сельсовета.

**О**бычно по воскресеньям и вообще по праздникам в деревню Мо-стовую отовсюду, с окружающих деревень и хуторов, с утра собирается ржаной народ к Сыринскому сельсовету.

В самом сельсовете в эти дни отдыха происходят заседания по текущим делам,—заседают человек 16.

В той же избе бывают собрания членов кооперации.

Здесь же бойко торгует кооперативная лавочка.

На улице, около сельсовета, то на бревнах, то на полянке, то на приступках—всюду размещаются отдельные кучки крестьян.

Шумно, пестро, весело, деловито.

Тут около сельсовета—главной силы притяжения—обсуждаются, начиная с местных, всяческие события за неделю, любых размеров, из любой области.

Кто во что горазд,—все интересно.

Иные за эту неделю побывали с возом в Перми, послушали базарных разговоров, иные читали газетку «Звезду» или «Страду» или даже московские газеты.

И вот поводов потолковать сообща всерьез—сколько угодно.

Нынешний крестьянин настолько сильно взбудоражен советской общественной культурой, что не принимать участия хотя бы в разговорах около сельсовета он не может.

Нынешний молодой крестьянин превосходно начинает разбираться в различных делах советского строительства, обнаруживая этим самым яркую жизнеспособность и рост политического сознания.

Правда,—таких сознательных пока меньшинство, но зато в этом стане—самые умные, самые энергичные, самые дельные, самые грамотные.

Значит, в будущем победа за ними.

И если бы не отцы-старики, которые упрямо гнут свою старорежимную линию, запугивая непослушных сыновей божьими бедствиями,—это сильное меньшинство могло бы от разумных разговоров перейти к делу.

Впрочем, это скоро так и будет.

А пока экономические обстоятельства требуют не ссор и крайностей меж отцами и детьми, а чисто делового примирения с верным расчетом (со стороны сыновей), что так или иначе, все равно, непримиримые старики уйдут своей естественной дорогой.

Пожалуй, кроме этих двух лагерей, т.-е. красных сыновей и белых отцов, есть еще третий лагерь, не менее огромный и очень интересный.

Это лагерь молчалников-нейтралитетчиков.

Эта третья армия молчаливников образовалась только за эти последние два года после очевидного несокрушимого укрепления советского строя, когда у многих отнялись языки гордиться чепуху против своей рабоче-крестьянской власти.

Главная масса молчаливников составила из хитрых мужичков, что «себе на уме».

Каждый, мол, знай про себя, а пока молчи.

Молчи и поглядывай, что будет дальше.

Молчи и жди, пока другие товарищи из лагеря сознательных, выбываясь из сил, сделают за тебя великую работу общего строительства.

Молчи и слушай, слушай и молчи.

Молчи так, как будто не понимаешь, что делается кругом и для кого делается и с кем делается.

Молчи и делай вид, что все, вокруг происходящее, как будто тебя особенно не касается и не волнует и говорить, мол, тут не о чем.

Молчи и никаких,—за тебя сделают.

Ох, и вообще велика эта армия молчаливников в СССР.

А только подумать: что если бы эта армия нейтралитета вдруг чистосердечно призналась в глупости, в трусости, в преступности своего дипломатического молчания и взялась за дело всеобщего блага Трудового Союза.

То-то бы нашего полку прибыло!

Ведь несомненно, что всех молчаливников объединяет одно состояние—психология поджидания: «поживем, увидим».

И, конечно, настанет момент и очень близкий, когда и этот лагерь молчания заговорит.

Тем более, что с каждым днем все тверже и могущественнее крепнет советская власть.

Чего ждать еще?

Тихой походочкой молчаливники обходят то одну группу, то другую,—прислушиваются, принохиваются, приглядываются, думают про себя, в землю поглядывают, мигают, покашливают.

— Михалыч, ты почему не пошел в члены сельсовета,—спрашивает рыжего молчаливника парень,—тебя ведь выбирали, ну, и шел бы, а?

— Будет время—пойду,—был мрачный ответ.

— А теперь разве не время,—продолжал парень,—теперь-то только и время, а?

— Не приставай,—отрезал молчаливник, уходя к другой кучке.

— Какого другого времени он ждет,—не унимался парень,—не понимаю, чорт его знает! А Михалыч—мужик толковый, ловкий, изворотливый. Зря пропадает для общества, зря. Говорят, что будто баба его задалила, сбила с толку, затормозила поповскими предсказаниями о страшном суде. Сковороды боится! Х-ха!

Вот другой молчаливник медленно подошел к крыльцу кооперативной лавки, которая битком-набита потребителями.

— Видишь, Иван Андреевич,—заговорил ему навстречу Викул из деревни Шардино,—како товар хороший в кооперации и недорого, совсем недорого. Заходи, покупай.

— Успею, потом когда-нибудь,—обещал тихий сосед-молчаливник, переходя к бабам, которые говорили о драконах.

Старуха Савельевна уверяла баб:

— Да ей богу, бабоньки, крест святой, что этого человека, Егоршу из Путанки, я вчера видела и, значит, Егорша сказывал, что тех драконов на дороге сам встретил.

— Ой, да что это, ой, ой!—охлали бабы.

— Вот вам и ой да ой,—доказывала Савельевна,—а тех драконов трое было и все с коровьими головами, а глаза кровавые, краснушие, А раз с коровьими башками—значит, к перемене... Перед переменной драконы, слышь, появляются... В библии это предсказано... Ей богу!

— Эй, ты, Савельевна, брось пугать баб драконами,—советовал подошедший мужичок,—брось. Егорша кумышки обожрался—вот ему и привиделись драконы с коровьими головами. И как тебе не совестно врать, тут в сельсовете заседание идет, а ты с драконами прилегла. Эх, тьма наша непроходимая!

Слова мужичка привлекли других мужичков, и Савельевна предпечла уползти.

— За такие бы вредные разговоры,—предложил кто-то из кучки.—эту Савельевну да Егоршу посадить недельки на две—опомнились бы.

На полянке кружком сидели охотники и спорили о том, каким способом лучше обставить охоту на куниц и лисиц.

Тут же около охотников собрались рыбаки и обсуждали рыбацкие дела.

В стороне на бревнах разыгрался шумный скандал.

Один бедняк упрекал своего зажиточного соседа за его темное недалекое прошлое.

— Вот погоди,—предупреждал бедняк богатого,—ты думаешь, советские власти не дознаются, как ты при наступлении белых сам убил двух укрывавшихся у тебя красноармейцев и потом отвез и бросил их в шахты. Дознаются, брат, дойдут. Увидишь. Раскопают.

— А ты докажи, дурак,—кричал богатый,—докажи! Кто тебе, дураку, поверит!

— Ты думал,—продолжал бедняк,—что у нас будут царствовать твои белые банды, а ошибся. Угодил, да невпопад! Погоди!

— Эх, ребята, бросьте,—уговаривал скандалистов бывший торговец,—право, не надо это дело поднимать, ни к чему. Бросьте!

— Может, через тебя, окаянного,—продолжал горячиться бедняк,—и наш первый председатель сельсовета Андрей Олипыч погиб при белых! Это ваша проклятая компания извела его, обязательно ваша!

— Докажи, дурак, докажи,—продолжал свое богатый.

— Вы, богачье,—волновался бедняк,—вы при белых хуже всяких жандармов были и выдавали крестьян-коммунистов, а теперь, когда наша взяла, вы расхаживаете, как ни в чем не бывало, сволочи! Погоди!

Разошедшегося бедняка вызвали по его какому-то хозяйскому делу в сельсовет, и скандал прекратился.

Теперь речь на бревнах пошла о Ленине, о Калининe, о Троцком, о Зиновьеве, о Камеене, о Рыкове.

Потом договорились до Англии.

— Нет, товарищи, что ни толкуйте,—говорил один мужичок,—а наши советские вожди здорово обрабатывали Англию и сумели заставить ее признать нашу власть. Да еще, пожалуй, нам денег на машины дадут.

И общий разговор застрял на машинах и на многополье.

Это два вопроса—самые острые, важные.

— Машины надо заводить артелью,—убеждал один из малоземельных,—так будет вернее, легче и скорее. Покупать в одиночку ни у кого нехватит средств, а артели могут продать даже в кредит. Так и объяснял нам и председатель.

И все сосредоточенно приходило к жизненному выводу, что коллективная покупка машин—дело верное и неотложное и товарищеское. А сельсовет в любой момент готов поддержать такую коллективную затею.

Недаром все дружно наваливаются на свой сельсовет, как на каменную стену.

**Сельсовет вывозет!**

### Три полосы.

Крестьянская малоземельная семья.

Деду Гаврилычу лет под пятьдесят, он давно занимается чурочным пчеловодством, на том и хозяйство держится, а хозяйство мало-мало: лошадь, корова да десяток овец.

Земли две десятины в годовице.

Избенка худенькая.

Крестьянствует Федор—сын Гаврилыча; у Федора жена Дарья и сын Костя—девятнадцатилетний.

Гаврилыч—старик крепкий, упрямый, безграмотный, религиозный, монархический.

Он до сих пор не признает рамочных ульев—у него только чурки, как в старину.

Он сам ходит за пчелами и не любит помощи.

Федор—тоже мужик крепкий, трудолюбивый, трезвый и учился одну зиму в школе.

Но Федор—не религиозный, а крестится больше для порядка, для отца.

По убеждениям—он пять лет из-за продналога ругал советскую власть на радость отцу.

А на шестой вдруг замолк, затих, задумался.

Будто что-то чудесное осенило Федора, и он впал в золотое молчание, будто остановился на пороге, взялся за скобку двери и два года не решается отворить ее, два года молчит в изумлении: войти или подождать еще?

И Федор ждет, ждет, туго молчит, молчит.

Два года он не ругает больше советскую власть и не решается говорить за нее.

Зато его сын Костя—этот парень совсем иного порядка, иной жизни.

Костя—клин во всей деревне Гарюшках.

Косте было двенадцать лет, когда он кончил сельскую школу, и в этот год пришла Советская власть.

Непостижимым образом для него самого случилось так, что с первых дней Октябрьской революции его всем чистым сердцем потянуло навстречу к новой неслыханной власти рабочих и крестьян.

Костя, когда поехал с дедушкой в Пермь продавать мед, тихонько от Гаврилыча купил небольшую книжку «Что хотят большевики».

И с этой поры, начитавшись, вникнув, обдумавши и просто разом поверивши написанному он искренне загорелся новой жизнью.

Ветские годы Октябрьской революции шли, делая свое великое дело, и теперь, когда Косте исполнилось 19 лет, он был убежденным сторонником советской власти, и ничто в мире не могло поколебать его политического сознания.

И на гордость Косте в Гарюшках его прозвали «коммунистом».

Теперь у Кости хранились (попрежнему в тайне от деду) разные книжки, а особенно он ценил, что писал сам Ленин.

Правда, он в этих книжках многого еще не понимал, во многом слабо разбирался, напрягая все свои усилия осознать прочитанное, но все же главные мысли доходили до всех его волнений, и он их быстро заучивал.

Часто теперь он под тем или иным предлогом убегал за 10 верст в село Нисадку, чтобы там в сельсовете у знакомых товарищей-коммунистов расспросить о разных политических делах и прочитать газетку.

Косте давно хотелось стать настоящим комсомольцем, но осуществить это горячее желание пока было невозможно: дед Гаврилыч выгнал бы его из дому.

И оставалось ему ждать более счастливых времен, когда бы он мог вступить в любимую партию.

Дед Гаврилыч, конечно, знал о красных убеждениях своего внука, но упрямо верил, что эта детская глупость у Кости пройдет.

Федор был дальновиднее, умнее деда и потому ругал советскую власть только пять лет, а на шестой сын его Костя однажды, когда они сено косили, потребовал, чтобы отец перестал ругать свою крестьянскую власть и со всем своим юношеским жаром, на удивление отцу и матери, стал объяснять все, о чем справедливо пишут большевики, особенно Ленин. в своих книжках и газетах.

Федор и Дарья были ошеломлены: все ярко рассказанное Костей было их истинной правдой, их живой кровью, их трудом, их надеждами.

И вот с этих пор задумлился и замолчал Федор, тем более, что Костя был его любимец—единственный сынок.

А мать Дарья—та прямо, не выдержав знойных солнечных слов дорогого сына, заревела от неожиданной радости и целиком перешла сразу на сторону убеждений Кости, и после ни одна баба в ее присутствии не смела задевать зря без толку свою Советскую власть.

Костя гордился своей матерью и продолжал делиться своими знаниями.

Дарья в свою очередь наставляла муженька Федора, и таким образом жизнь Кости улучшалась с каждым месяцем.

Федор слушал все со вниманием и молчал, молчал, молчал.

Так в хуленской избенке на краю деревни Гарюшек, часто за столом сходились во время еды или морковного чая, но с медом, эти четыре человека одной семьи.

Дед Гаврилыч—одна полоса.

Федор—другая полоса.

Костя и Дарья—третья.

Дед Гаврилыч—полоса безвозвратно-ушедшего, мрачного прошлого, изжитого, черная полоса смерти.

Однако, дед Гаврилыч еще жив и с ним приходится считаться, так как с ним считаются и другие деды Гаврилычи да старухи, которых немало...

И дед Гаврилыч своим пчеловодством поддерживает мало-маленькое хозяйство—значит, надо мириться с переходным временем к новой жизни и терпеть до конца в общем никому неопасного, доживающего старика-монархиста.

Костя это превосходно понимает и не поддается на дедовскую провокацию, когда Гаврилыч за столом в бесконечный раз передает «слух из Перми», будто царь-батюшко жив, будто советская власть сбежала, будто об этом говорит какая-то новая явленная икона, что приплыла с Белогорья.

Федор—полоса золотой середины.

Это очень большая полоса, которая удобна тем, что она находящаяся в ней ни к чему никому не обязывает.

И больше—полоса золотой середины дает полное право пользоваться всеми благами жизни наравне с бескорыстными борцами за власть трудящихся, наравне с великими борцами, что принадлежат к третьей, красной, полосе.

Хитрый Федор понял, что до поры, до времени надо держаться именно этой золотой полосы—и вашим, и нашим, и можно так, и можно этак.

А вдруг да перемена?

Тогда что? А?

Старики давно колдуют и обещают перемену.

А перемены нет и нет, и не пахнет.

Федор, конечно, внутри себя сознает всю правоту убеждений Кости, но жизнь есть жизнь и надо как-то сбалансировать положение между дедом-монархистом и сыном-коммунистом.



И Федор, пока что, предпочитает молчать, а там как будет, торопиться ему лично некуда.

Костя старается понять молчаливую позицию Федора, но верит, что отец вот-вот заговорит языком настоящего сознательного крестьянина, заговорит языком той третьей—красной—полосы, где так радужно сияюще горит новая жизнь.

Костя всем существом в этой алой полосе.

Его голубые глаза всегда широко раскрыты и устремлены вперед, с очевидной ясностью он видит жизнерадостные, волнующиеся, освобожденные массы рабочего люда, массы,—которые строят свою солнцезарную жизнь.

Костя как бы задыхается от счастья при мысли, что, быть может, скоро и он вольется в эту величайшую кумачевую бурную реку массового движения, что, быть может, и он сумеет внести свою работу в общую чашу коллективной энергии.

В это он пламенно верит—ведь ему еще только 19 весен.

И, значит, не беда, если сегодня темна и грязна и безграмотна русская деревня: ведь завтра, или послезавтра, или очень скоро сюда заглянет спасительный луч солнца Октябрьской революции, и будет всем светло и тепло и будет всем видно, что надо раз навсегда стать на эту третью, красную, полосу.

И это будет! Будет!

Письмо Косте, проживающему в деревне Гарюшках.

Дорогой наш товарищ!

Мы, миллионная армия советских работников, старшие твои товарищи, посылаем тебе наше коммунистическое приветствие и горячее желание, чтобы ты твердо, непоколебимо стоял и дальше на своей великой полосе великого времени. Знай, что мы хорошо помним о тебе, как помним о всех деревенских товарищах, разбросанных всюду по огромной территории Трудового Союза. И мы помним о твоей, пока трудной, жизни в Гарюшках меж двух полос, но—знай, что верными, железными шагами мы подвигаемся вперед и скоро дойдем до тебя. Верь, крепись, жди. Мы с тобой, а ты с нами.

*Твои товарищи.*

## Письма двух братьев.

### 1.

Из города Москвы, из пролетарской специальной столицы центра, товарищ, брат единственный Тюнъка, низкий земной поклон тебе. Что касается корреспонденции писем по случаю моего молчания, то означает был я в другом месте, куды гоняли нас для военных занятий по изучению сути красноармейского дела. Теперь я снова в своей московской части и могу записать спокойно все факты проживания моего на службе красного пролетариата войск. Во первых получил я новую амуницию и новые сапоги. Во всей этой одежде в это воскресенье гуляли мы с ребятами по городу целый день и были на смоленском базаре, которого словами не опишешь по величине невиданного размера торговли. Тут пришлось насмотреться чего хочешь по разным специальностям людей и звания. Конечно купили мы колбасы, хлеба и семечек и проталкивались с места на место. Товаров кругом навалено непроходимые горы, народу миллион и тут же ходит трамвай взад вперед по рельсам направления. Обсказать всего невозможно, что только продается. Подошли мы, где торгуют гармоньями на руках и наслушались прекрасной игры. Тут больше идут трехрядки со множеством басов и облицовка расчудесная с золотыми углами. Так бы купил, да нет в экономическом смысле финансовых знаков. Моя гармошка старая, незрячая и по системе не годится к производству. Пора перейти мне

к венской двухрядке, что я со временем и собираюсь оправдать. И ты, Тюнька, скажи в деревне своим ребятам, чтобы бросили свои старорежимные тальянки и заводили венские двухрядки, если хотят быть настоящими аккуратными музыкантами. Это пора. Так им и накажи. Что касается охотничьих ружей, то идут конечно только централки с первосортными стволами и бескурковки. Таких ружей здесь сколь угодно, да только нет денег купить. Скажи нашим охотникам некоторым, что стыдно теперь охотиться с шомполками ерундовскими, ни к чему вовсе. Позор один и только некультурное отношение к делу. Пускай именно заводят централки, бескурковки. Ты свою шомполку тоже выбрось к чорту или в печку, а купи в Перми централку. Запомни это. Еще посоветуй охотникам нашим пускай выпишут сообща охотничий журнал, где можно узнать весь интерес охоты. Я читал этот журнал и зачитался увлекательно. И вообще в свободное время я читаю газеты и книги и много теперь понимаю по политическому образованию нашей советской республики. Наказывай крестьянам больше, чтобы хотя в зимнее время или в праздники читали газеты и книги по просвещению сельского хозяйства и гражданского сознания своего рабоче-крестьянского союза. Это—факт первой необходимости. Довольно темноты. Пора взяться за голову и потрясти мозги и жить по культурной системе, по всей экскурсии своего духа. Так всем и скажи. А отцу с матерью передай от меня сыновний поклон до сырой земли с пожеланием здоровья и сил производства. А еще поклон деревенскому молодняку революции.

*Брат Митя.*

2.

Драгоценный братец Митя, здравствуй, мое почтение, как живешь. Спервоначала откланиваюсь тебе за отца, за мать, за сродственников наших, за соседей, за ребят. Все они просили сказать, что ждут с тебя карточку во весь рост в новой амуниции. У нас сенокос и жатые подоспели в одно время. Едва успеваем ворочать делами. За 8 пудов ржи наняли бабу жать с переэзд. С неделю назад али больше ездили мы с отцом в город Пермь продать кое-что из молочного да поросенка. Как продали я захотел купить книжку и газетку, а отец денег не дал денег ни копейки, ему жалко стало. Чуть не разодрались на базаре, даже зачинали. Ну дал он пятак и я купил только газетку. Вот как трудно со стариками, ничего не понимают, просто беда. Денег им жалко на книжку, а на централку разве старик даст. Знаю, что не даст, никогда. Вот я и хожу по воскресеньям со своей старой шомполкой. В прошлый раз захлеснул двух рябчиков и зайца. Шомполкой опалил себе глаза— вот она какая проклятушая. Говорил охотникам про выписку журнала, а они не хотят, только гогочут, как гуси. Им на журнал, на книги жалко тратить деньги. У нас страсть все скупые особенно старики. Со стариками чистая беда. Никакой культуры они не признают дураки, а мы— сознательный деревенский молодняк с ними боремся и спорим. Братец Митя ты знай, что мы действительно работаем по всей экскурсии нашего духа, но старики нас подсекают. По моему старики стали сплошными провокаторами. С ними каша не сварить, ровно буржуи какие гнут по старинке. И попов они же поддерживают и поповский дурман религии действует своим ядом. Попы, бабы, кулаки, старики идут против нас молодняка. Но мы конечно от этого только держимся крепче хотя и туго приходится бороться в нашей темноте. Старики подсекают, никак не дают нам ходу. О деньгах с ними не смей и говорить. Много денег и добра они изводят на кумышку, а на культуру денег им жалко. Конечно, особенно жалко им платить продналог, сколь не объясняй его великое значение для советского государства. Все таки мы объясняем, долбим. Ругаются да слушают, понемногу привыкнут. Твои книжки я получил и читал крестьянам про Ленина. Быстро здорово написано и всем наша политика нравится, а старикам опять же нет. Теперь раз-

добудь, пошли нам что-нибудь из книжек о деревенских комсомольцах, как именно надо работать способнее. И опиши, что еще видел в Москве, что там слышно нового по культурному производству. У нас в деревне печнику Петровичу и овчиннику Кузьме предложили взять патенты. Печник взял, а овчинник говорит: не возьму, пускай ходят без овчин. Аношка выходит замуж в Мостовую за Костю Макарыча. Наш молодняк тебе кланяется от лица всего сельсовета, а еще председатель и секретарь. В Мостовой организовалась кооперация, так что отжрыли лавочку, торгуют, но никак в Москве, похуже. Урожай ныне хороший, с бабки падает 1 п. 15 ф. Писать кончаю.

*Брат Тюнька.*

3.

Из города Москвы, из красной столицы, товарищ, брат единотрубный Тюнька, с добрым утром, всего хорошего.

Мне стало совестно за свою темную, несознательную деревню, где старики подсекают наш молодняк и жалеют на культуру деньги, а кумышку варят, это настоящее безобразие и надо его искоренить. Неужели старики до сих пор не понимают политического положения и артачатся, суют палки в колеса, дураки. Ты скажи старикам и бабам, что пора кончить эту провокацию. только зря они егепенятся себе же во вред жизни. Пускай наш деревенский молодняк еще больше работает по всей экскурсии своего духа и мы конечно победим солидарностью спайки. Долой попов, кулаков, разных кумышковых контрыреволюционеров поганых. Гоните их в шею паразитов и больше ничего. Что касается литературы на той неделе от знакомых людей я получу книжек с пять и вышлю тебе для производства крестьянского просвещения. Кланяйся отцу, матери, кланяйся ребятам, пускай нажимают, кланяйся нашему сельсовету, чтобы он высоко держал знамя своей трудовой власти матушки-земли. Завтра нас ведут смотреть представление в театр, а сегодня вечером будут читать какую-то ученую лекцию для нашего образования. Остаюсь жив, здоров в Москве.

*Брат Митя.*

4.

Драгоценный братец Митя, здорово.

Вот значит какой культурной жизнью живешь ты в Москве, что кругом видишь и слышишь замечательные порядки по части людей и образования. Ровно сказку какую распрекрасную пишешь ты в письмах о Москве, ровно сон какой волшебный снится, а у нас в деревне сплошная темнота, грязь да болезни, да бабы рассказы, размазы. Ты пишешь: скажи то да скажи им это. Я и говорю, а меня матерят почом зря от своего полного невежества. Вот получил я твои очень превосходные книжки, роздал молодняку, чтобы читали по избам и сам читал, а только старики в драку прямо лезут, плюют, страсть смотреть на них старорежимных колдунов. Мое конечно такое мнение вообще, что в деревне вся надежда на культурную жизнь и переход от трехполья к многополью это все находится в руках молодняка, который вырастет и возьмет свою сознательную власть и будет делать, что захочет, любое производство. Ну что угодно по линии советского ленинского строя коллективного труда. К примеру если ты и я возьмемся самостоятельно за хозяйство, разве мы по старому что ли его поведем. Значит дело пожалуй за нами—в этом вся штука и сидит. А пока что, знай войой ругайся с деревенской темнотой, прямо сказать полной бесграмотности. В другой раз уж так трудно нам молодняку приходиться что даже тоска бабет, досада режет, но терпим да отгрызаемся. Ровно наследники наследства ждем, когда наше время придет взять домашнюю жизнь в свои руки. Тогда увидим, что будет. Докажем свое культурное производство. Скоро напишу еще про все интересы. От родителей и ребят поклон земной.

*Брат Тюнька.*

## 5.

Из красной Москвы,

единоутробному братищу Тюньке, мое товарищеское почтение от красноармейца Митрия Ивановича Жукова.

Очень даже прискорбно читать, что у нас в деревне такой бессознательный мрак полного невежества и конечно безобразия. Сразу должно быть ничего не произведешь в дело—это верно. Надо бороться и ожидать нашей победы по всей экскурсии красного духа. Вчера нас водили на выставку по огородничеству и профессор объяснил нам, как надо вести культурный огород. Я все записал и скоро тебе pošлю, пускай с весны все наши крестьяне образуют огород по новой системе высшего результата получения овощей. Сейчас нам объявили, что погонят нас на концерт, поэтому писать бросаю, а завтра буду дежурить. В театре было превосходно смотреть представленья артистов по их веселой специальности.

*Брат Митя.*

### Бал в гумне.

В конце лета, когда почти все крестьяне отжалась, собрав добрый урожай, ребята и девахи из трех деревень на радостях решили устроить вечеринку.

За неимением поблизости народного дома и подходящего помещения они придумали для вечеринки приспособить наиболее хорошее гумно.

Выдумка оказалась удачной: эта затея всем понравилась.

В воскресенье вечером ребята притащили и развесили по балкам несколько ламп, наволокли для сиденья соломы, вымели чисто сухую долонь, принесли два ведра квасу, захватили по пути четыре охалки зеленого гороху.

Меня пригласили в качестве музыканта-гармониста, хотя кроме меня пришло гармонистов еще человек шесть с тальянками, разукрашенными вышитыми лентами.

Сначала парни и девахи разделились.

Парни—в одной стороне, около гармонистов.

Девахи—в другом конце, у овина, столпились пестрой группой и начали, шушукаясь, прихорашиваться, заглядывая в зеркальные осколки.

— Ну, Манька, дай я погляжусь в зеркало,—шептала одна,—девки говорят, что я нос испачкала.

— Гороху не надо ли, барышни, гороху,—предлагает парень, от гороху ногам легче.

— Ишь, нашел угощенье,—ломались девахи,—ты принеси нам конфеток али пряников, а горох сам ешь, если ноги тяжелые.

— Вот вам и конфетки, пожалуйста, —угощает вдруг подскокивший гармонист,—брал в кооперации, первый сорт, с картинками.

Меня попросили дать повестку к кадрили.

Я заиграл.

Ребята двинулись к девахам с приглашеньями:

— Айда, пошли, играем. что ли?

— Анна Степановна, приглашаю вас на первую фигуру.

Деваха молча, серьезно идет с кавалером, держа его за палец.

— Тасичка, составьте мне компанию.

— Татьяна Ивановна, прошу покорно.

— Кляча, пожалуйста, приглашаю.

Кадриль составлена; в руках у девах платки, у ребят тоже, держат друг друга за палец, за два. не больше, лица сосредоточены, серьезные, будто соблазились идти на какое-то великое дело.

Смех и дурачество в танцах не признаются.

Даже редко кто улыбается.

Играю первую фигуру, танцуют важно-преважно.  
«Неиграющие», т.-е. нетанцующие, сидят на соломе, грызут семечки, курят, острят.

С боков, сквозь соломенные стены выглядывают детские головы парнишек, часть их торчит на овине, только видны сияющие глазенки. Играю вторую, обливаюсь потом.

Ищу глазами замену на третью фигуру, но мои заместители пляшут, им не до меня.

Нетанцующие смеются:

— Вот пропарисься, знай, держись!

Истекая потом, играю третью, четвертую, чихаю от пыли, и никто из танцующих меня не замечает.

Руки еле работают, бицепсы напряжены.

Ребята, что сидят на соломе, покрикивают играющим:

— Ванька, держи фасон!

— Федор Петрович, круче заворачивай, круче.

— Мишка, не упади.

— Митрена Игнатьевна, пошевеливайся!

— Ишь, Карпунич как стряпает. Ну, и мастак!

— Ой, ребята, глядите: лампа-то как коптит, в носсах черно будет.

Сбавь. Лезь!

Парень лезет на животе по балке, убавляет огонь.

— Не свались, чорт, с лампой с потолка!

Наконец, кадрили кончена, и мне подносят ведро с квасом.

После бани чудесно кваску тянуть.

Гармонисты берут свои тальянки и начинают в разных местах гумна играть и петь—каждый свое, как на базаре.

Клэкфония изрядная, зато весело.

Один демобилизованный поет:

Эх, я на фронте побывал,  
Белы банды разгонял.  
Как прикончил со врагом  
Обожрался пирогом.

Он побывал на польском фронте и под самой Варшавой попал в плен, заучил несколько польских фраз.

Поэтому он ими всюду щеголяет.

Что бы только ему ни сказали или ни предложили, он отвечает:

— Дзинкуе бардзо, пани. Проще пани. Пжепрошем, пани.

Девкам такое обращение нравится и они постоянно придумывают повторы, чтобы услышать от Лаврентья Макарыча:

— Дзинкуе бардзо, пани. Пжепрошем, пани.

В другом конце женский голос частит:

Жала, жала—убежала  
Посмотреть, который час:  
Комиссарушко мой шальный  
Не идет ли мимо нас.

Вдруг на средине гумна раздается горячая мужская речь:

— Товарищцы слушайте: тут некоторые ребята задумали пойти в деревню к Липатре промышлять насчет кумышки. Ежели это безобозие произойдет, то мы загасим лампы и все разойдемся по-своясям. Товарищцы, неужели есть такие специалисты выпить, что нарушат наше веселье? Разве культурно так значит поступать бессовестно?

— Прэвчэно! Верно, Пэтька, верно! Гармонисты давай музыку! Играем! Приглашайте. Долой кумышников! Это наверно Никита придумал, полудешчье. Эй, музыка, играем. Пора быть сознательным!

И снова закружился в ярко-пестром хороводе деревенский молодец, справляя на радостях урожайный год и свои упорные труды.

Лаврентий Макарыч, ответив на предложенную папиросу:

— Дзингуе бардзо, пани. Пжепрошем, пани,—стал на средину гумна и произнес речь:

— Конечно, товарищи, это очень хорошо, что мы придумали по своему действительному кругозору эту вечерку именно в гумне и веселимся в различных танцах, кто как конечно умеет представить. Но я хочу выразить свое мнение по поводу значения плана дальнейшей перспективы этого здания. Как я бывал на фронтах и во всяких жителях советской республики, то видел, что народ может до чего дойти, что из ничего в другой раз изобретают превосходные вещи. Так и здесь можно нам в силу организации именно устроить спектакль, разыграть какую-нибудь пьеску. Вот тут мы установим сцену, и конец. Пьеску я берусь раздобыть в Насадском народном доме и значит берусь по своим понятиям опыта объяснить вам пьеску и роли, как был не один случай, что мне приходилось играть даже белых генералов али что еще другое. Одним словом, товарищи, я представляю этот план разработать сообща по всей перспективе.

В ответ все закричали:

— Верно, ребята! Можно взяться. Пора! Интересно будет! Настоящий народный дом! Вот так дожило гумно! Дожило!

— Пожалуй, чего доброго,—вставила рослая рыжая деваха,—мы в гумне библиотеку устроим, и книжки читать будем.

— Нет, ребята, вот что,—предложил один парень,—хорошо бы нашим хотя трем деревням устроить общую избу для молодняка—веселись, изобретай. что хочешь. Понимаете—избу такую молодняцкую.

Тема углубления значения будущего гумна оказалась острой, горячей необходимостью.

Все спорили, острили, обсуждали без конца до самого рассвета. Гумно перерождалось на глазах.

*Василий Каменский.*

# Астрономический переворот в исторической науке.

(По поводу книги Н. А. Морозова «Христос», Ленинград, 1924.)

После долгого перерыва, вызванного войной и революцией, Н. А. Морозов вновь ошеломил публику совершенно неожиданными открытиями, сделанными им при помощи астрономического метода. Уже первое его выступление, в 1907 году, с книгой «Откровение в грозе и буре», было достаточно сенсационным. Применяв к символике новозаветного *Откровения Иоанна* метод астрономического толкования, Морозов в первой своей книге вычислил, что *Откровение Иоанна* было написано не в I веке нашей эры, как принято думать в науке, а 30-го сентября 395 года, и что автором его был известный церковный деятель и писатель IV века Иоанн Златоуст. Это открытие дало Морозову повод заподозрить подлинность всей церковной литературы II—IV веков, наполненной цитатами из *Откровения*, и окрылило его надеждами на новые, не менее неожиданные, открытия. Через 7 лет, в 1914 году, эти новые открытия появились во второй книге Морозова «*Пророки*». Тут опять-таки при помощи астрономического метода истолкования Морозов доказывал, что книги библейских пророков Иезекииля, Захарии и Иеремии относятся к V веку нашей эры, а книга Даниила—к еще более позднему времени, примерно, к 980 г. нашей эры; таким же поздним произведением, по мнению Морозова, является и книга пророка Исаии, для которой он, однако, не указывал более или менее точной даты. Отсюда для Морозова было ясно, что не автор *Откровения Иоанна* заимствовал у пророков, а пророки заимствовали у автора *Откровения*, и приходил, правда, с другого конца, к тому же взгляду, которого держатся ортодоксальные (т.-е. православные и католические) богословы, именно, что изречения пророков имеют в виду Христа. Но перенесение пророков в V—X века христианской эры заставило Морозова пересмотреть некоторые общепринятые взгляды на древнюю историю. Раз пророческие книги оказались произведениями христианских писателей, то возник вопрос, как же быть с евреями. И Морозов—уже не на основании астрономического метода, а на основании собственных догадок и умозаключений,—объявил, что никакого еврейского народа не было, а была лишь религиозная секта иудаистов, основанная во II веке неким Иудой-учителем, которого Морозов отождествляет с знаменитым раввином второй половины II века, Иудой

Ханаси, и которому приписывает составление Мишны. После таких неожиданных открытий Морозов в заключительных главах «Пророков» уже подвергает сомнению вообще всю древнюю историю, а также древность и подлинность ее памятников, и ставит на очередь проверку астрономическим методом взглядов, установившихся в науке об истории древнего мира вообще и древнего Востока в частности.

«Откровение в грозе и буре» произвело сенсацию в широкой публике, раскупавшей книгу и ломившейся на публичные лекции автора книги. Но увлечение остыло после того как с самых разнообразных сторон, библеистов, византинистов и астрономов, в России и в Германии, выводы Морозова были разбиты и даже высмеяны, как диллетантское фантазерство, обнаруживающее при этом крайне легкое отношение к вопросам лингвистики и даже просто грамматики и лексики греческого языка. «Пророки» уже не произвели шума и прошли мало замеченными. Но вот теперь вновь Морозов выступает со своим методом и со своими открытиями и выступает не с какой-либо мелочью, а с грандиозными перспективами,—и по масштабу и по содержанию. Перед нами «Христос», первая книга целой серии из семи томов, уже готовой к печати; в ней Морозов обещает дать, на основании астрономического метода, новую хронологию истории древнего Востока, классической древности, христианской истории, сирийского Востока, Индии и Тибета. Вкратце он резюмирует свои выводы уже в первой книге и озаглавливает их так: «Нечто невероятное в наших современных представлениях о древней истории»...

Действительно, нечто невероятное! Судите, читатель, сами. Никакой древней истории не было; в I веке нашей эры средиземноморская область переживала еще конец каменного века, и первым политическим образованием была в конце III века латино-эллино-сирийско-египетская империя. То, что мы принимаем за античную литературу, есть подделка, продукт литературного творчества эпохи возрождения; клинообразные надписи относятся к арабской эпохе, гиероглифические—к первым векам нашей эры; евреи—не нация, а интеллигенция из Иберии (Испании), распространившаяся по всему южному берегу Средиземного моря вплоть до Месопотамии, а в среднюю и восточную Европу попавшая вследствие преследований инквизиции. Доказывается это, помимо прежних выкладок, еще новыми астрономическими выкладками, на основании которых выходит, что евангельский Иисус—это церковный деятель IV века Вазилий Великий, «столбованный» 20 марта 368 года; отсюда и евангелия—произведения V и следующих веков нашей эры. Не ограничиваясь астрономией, Морозов переходит и к другим способам доказательства: сопоставляя родословные египетского фараона Рамсеса II с евангельскими родословными Христа и списки царей израильских, римских диктаторов и императоров с обозначением продолжительности их правлений, он приходит к выводу, что перед нами в сущности лишь несколько вариантов одного и того-же ряда римских императоров, начиная от Аврелиана (?70 г. по Р. X.), различающихся только по именам; наконец, он утверждает, что от греческих и римских классиков не осталось рукописей, а есть только печатные издания. Вся загадка разрешается очень просто: латино-эллино-сирийско-египетские императоры при вступлении на престол короновались четырьмя коронами, по числу главных частей своего царства, и принимали в каждой стране местное официальное прозвище, которым их и называли в местных хрониках; таким образом, римские историки, библейские исторические



книги и летописи египетских царей дают одну и ту же историю, ту же самую, что и греческие хронисты, и лишь по недоразумению современные ученые приняли все это за четыре разных истории. Отсюда,—вся всемирная история принимает совершенно новый и, с точки зрения Морозова, «закономерный и последовательный» вид. Опадает странное деление на время до Р. Х. и после Р. Х.; есть только одна эра, которую мы называем христианской, а Морозов—александрийской (от основания Александрии, имевшего место, по хронологии Морозова, в I веке нашей эры). Нет пестроты народов, языков, царств и культур; все едино; все начинается в I веке (как всякий математический ряд с единицы?), происходит в одном месте и развивается единым процессом. На все эпохи доисторической культуры кладется по веку: I век—каменный век, II век—бронзовый век, III век—железный век и начало л.-э.-с.-е. империи. IV век—первый расцвет письменности, «столбование Иисуса-Василия», появление Откровения, начало христианства и т. д. С V века историки несколько успокаиваются—начинают мелькать факты, к которым привыкла историческая наука; но и тут есть большие исправления; V век—начало библейской пророческой литературы; Прокопий Кесарийский—вероятный автор библейской книги «Цари»... В XIV веке—возникновение так называемой классической поэзии, философии и драмы, и также «древней истории» и «древней науки». В XX веке (есть и XXI век...) мы читаем торжество марксизма и падение средневековой теологии; из скромности Морозов умолчал о перевороте в исторической науке вследствие торжества астрономического метода...

Если бы все перечисленные открытия были сделаны каким-либо досужим человеком, который пофантазировал на тему: «а что было бы, если бы»... то, конечно, публика не набрасывалась бы на них, как на некое «откровение». Но, к сожалению, новое «откровение» авторизовано именем Морозова, революционера, поэта, ученого химика и знающего астронома. И потому пройти мимо этого нельзя. Надо разобраться. Надо дать публике ответ со стороны исторической науки, ответ по существу, который сделал бы положение ясным. Ибо теперь вопрос идет не об одном Откровении Иоанна—ведь в конце концов от того, что оно написано было якобы в 395 г. еще ничего не меняется, у нас есть десятки апокрифических произведений, и в том числе апокалипсисов, и из IV, и из V, и даже из более поздних эпох. Теперь вопрос идет о нескольких огромных областях археологической и исторической науки, над которыми трудился целый ряд поколений ученых, сделавших целый ряд необыкновенных открытий; этим областям науки посвящают сейчас свои силы тысячи ученых, работающих в университетах и специальных институтах всего мира. Результаты их научной работы являются достоянием всего мира, современного культурного общества, преподаются в школах, вошли в плоть и кровь современного научного мирозерцания. Но... пришел Морозов, и, как некий маг и волшебник, сделал несколько астрономических выкладок и объявил: пустяками занимались, коллеги, все это одно недоразумение, вы гонялись за теньями. Увы, сомненья нет, кто-то действительно гоняется за теньями; кто же, однако: историки, археологи, лингвисты или—Морозов?

В небольшой статье, конечно, нет возможности разобрать все вопросы и разъяснить все недоразумения, щедро рукою рассыпанные Морозовым в его новой книге. Да это и не нужно для нашей задачи. Важно разъяснить самое главное—вопрос об астрономическом методе и его применении к историко-

литературным исследованиям, имеющий общее значение, ибо все и началось с этого метода: не окажись, по Морозову, Откровение и Иисус в IV веке, не возникли бы и все прочие вопросы. А затем надо, хотя бы вкратце, остановиться на других методах работы Морозова, так как астрономия дает ему лишь несколько хронологических дат, все же прочее загоняется в круг этих дат уже не астрономией, а другими, менее точными способами. Если выдержат проверку астрономический и другие методы Морозова, то можно говорить о его выводах по существу; если нет—то и остальные в 6 томов «Христа» столь же мало поколеблют здание исторической науки, как и первый.

Астрономический метод, конечно, имеет то огромное преимущество, что он может давать совершенно точные данные. Но точность его отнюдь не абсолютная, а обусловленная, и применимость его ограниченная. Бесспорно, когда дается совершенно определенная астрономическая задача, исходящая из определенных данных, решение ее будет совершенно определенным и точным. Так, когда Морозов давал своим пулковским коллегам задачу: определите, в каком году нашей эры 30-го сентября Юпитер был в Стрельце и одновременно Сатурн в Скорпионе,—то и пулковские астрономы, и всякие другие астрономы, и даже любой хороший студент, прошедший курс астрономии, дадут только один ответ: в 395 г. Тут все точно, иного решения быть не может. Дело не в этом, а дело в условиях задачи. Верно ли она составлена? Ибо, если в ней изменится хотя бы один элемент, то и решение получится совсем другое.

При применении астрономического метода в исторической науке самое главное затруднение заключается именно в постановке задачи. Нам почти всегда приходится иметь дело не с прямыми астрономическими указаниями, а со сбивчивыми и нелепыми сообщениями древних памятников. Тут могут быть три категории случаев. Первая, наиболее редкая, но зато всегда плодотворная—тогда, когда текст не оставляет никаких сомнений в смысле астрономического содержания. Астрономический метод в таких случаях оказывает исторической науке неоценимые услуги: достаточно указать хотя бы на такие факты, что данные египетских документов из эпохи Нового Царства о появлениях Сириуса и новолуниях дали возможность установить с некоторой точностью хронологию этой эпохи и внести ясность в вопросы о хронологии египетской истории вообще и о древности египетской культуры, и что на основании астрономических данных, имеющихся в текстах эпохи древнего вавилонского царства, удалось установить точную дату начала первой вавилонской династии. Вторая категория случаев имеет дело также с чисто астрономическими текстами, но неясными по своему содержанию или терминам. Например, есть целый ряд текстов, где имеются пропуски—нет или даты, или утрачена часть текста в описании явления, или неясно, идет ли дело о наблюдении, или, как особенно часто бывает в астрологических вавилонских текстах, говорится лишь об астрологических примерах. К той же категории текстов относятся и такие, где встречаются неясные, двусмысленные термины: например, в вавилонских текстах звездного Мардука называется обычно Юпитер, но в некоторых случаях это наименование присваивается и Меркурию, Нергаль и Ниниб означают то Марса, то Сатурна. В некоторых текстах можно с безошибочностью определить, какая планета разумеется под этими переменчивыми названиями; в других возможно истолкование в любом смысле. Такого рода тексты уже не могут быть твердыми опорными пунктами, так как при различном их истолковании получаются со-

вершенно различные результаты; точный результат может получиться лишь в том случае, если при помощи целого ряда кропотливых вспомогательных исследований удастся установить правильное истолкование данного текста. Третья категория текстов—самая опасная. Это—такого рода тексты, астрономическое содержание которых сомнительно, в которых астрономические явления не названы, как таковые, но имеются символы, которым может быть дано астрономическое истолкование. Так как намерения и мысли автора, скрывшего их за символами, нам остаются обычно неизвестными, то мы можем, конечно, предлагать и астрономическое толкование, но лишь как *одну* из возможных *гипотез*, не устраняющую возможности и всяких других гипотез. Кроме того, и самое астрономическое толкование в таких случаях может быть разнообразным. Астрономическая и астрологическая символика вовсе не является чем-либо совершенно твердым и неизменным для всех времен или для разных авторов. Возьмем хотя бы цвета планет: в восточной символике одной и той же планете присваиваются различные цвета, напр. Юпитеру—то желтый, то белый, Меркурию—то голубой, то черный, то белый, луне—то белый, то зеленый; лишь Марсу неизменно присваивался красный и Венере—белый цвет. Почти все тексты, с которыми оперирует Морозов, относятся к этой третьей категории случаев: в Откровении он исходит из того, что кони 6 гл. являются символами планет; у пророка Иеремии—из того, что отросток миндального дерева есть символ кометы, в евангелиях из того, что «тьма» (*skotos*) во время распятия Иисуса означает затмение, и т. д. Совершенно очевидно, что во всех случаях подобного рода первый вопрос должен быть поставлен о самой возможности астрономического подхода, о том, оправдывается ли такой подход текстом и контекстом, а затем уже может быть поставлен вопрос о раскрытии астрономического содержания данного текста. При этом задача всегда будет аналогична неопределенному уравнению, и как в последнем при подстановке различных значений под неизвестные величины получится целый ряд возможных решений, так и при применении астрономического метода к неопределенным в астрономическом смысле текстам могут получиться самые разнообразные решения в зависимости от подстановки тех или иных астрономических значений под символические выражения данного текста.

Так как Морозов в своей книге вкратце повторяет содержание двух своих первых книг и базируется на их выводах, то разберем с точки зрения астрономического подхода все его главнейшие выводы, начиная с Откровения. При этом, надеемся, Морозов не станет претендовать, что в данном случае позволяет себе высказаться не-астроном: ведь сам Морозов, не будучи археологом, палеографом, историком и лингвистом, нашел для себя возможным сделать целый ряд открытий в области археологии, палеографии, истории и лингвистики. Мы будем скромнее, никаких открытий делать не собираемся, а лишь обсудим вопрос с точки зрения возможности тех или иных астрономических или неастрономических решений.

Итак, Откровение. Первое основание Морозова—в 12-й главе на небе является жена, облеченная солнцем, под ногами у нее луна, на голове—венец из двенадцати звезд; она беременна и родит сына, которому предназначено пасти народы жезлом железным. Морозов считает единственно возможным астрономическое толкование: женщина—созвездие Девы, в ней находится солнце, именно в нижней части ног, около звездочки *п.*, так как в это время было

новолуние (на основании ст. 15-й главы XIV, где фигурирует «сын человеческий» с венцом на голове и с *серпом* в руке: серп—двурогая луна). Отсюда, по Морозову, такое положение могло быть в первые века нашей эры только 30 сентября. Возможен ли астрономический подход? Возможен, так как дело идет о небесном знамении, и некоторые небесные светила названы без всяких обиняков: солнце, луна, двенадцать звезд. Но далеко не все элементы 12-й главы таковы, чтобы астрономическое толкование их устранило всякие вопросы. Может ли Дева быть символом беременной и рожающей женщины? Почему серп в руках «сына человеческого» гл. XIV должен означать двурогую луну и именно ту самую, о которой идет речь в XII главе? Чему соответствует венец из 12 звезд? Морозов думает, что здесь разумеются двенадцать более крупных из звезд созвездия Вероники, находящегося над Девой; но там нет особых двенадцати более крупных звезд, расположенных венцом, так как это созвездие является темным скоплением мелких звезд. Почему не истолковать это в качестве венца (кольца) 12 созвездий Зодиака, ибо вообще всегда в восточной терминологии под двенадцатью звездами разумеются двенадцать созвездий Зодиака? Но в этом случае уже символика перестанет соответствовать действительному небесному явлению, так как Дева сама является частью Зодиака. Далее, если Дева облечена солнцем, то почему оно должно было находиться у нижней части ног, а не у груди? Ведь одеяние не для ног, а для корпуса! Но тогда координаты будут другие, и отпадет 30 сентября. Наконец, какое отношение к небу имеет сын женщины? Морозов считает, что беременна она клочком тучи (!), а родившись от нее—созвездие Геркулеса, освобождающееся в это время из-за туч. Но Дева—на горизонте, а Геркулес—на тропике Рака, и отделен от Девы большим созвездием Водопада и Венцом; какая же тут может быть связь? Ведь «родиться»—значит, «выйти из тела»; но Геркулес никогда и никак не может выйти из Девы, и его появление из-за туч не может быть истолковано в смысле его рождения от Девы. Все эти недоуменные вопросы дают право сказать, что или астрономический подход не годится, или он сделан неправильно. Если астрономический подход не годится, то как истолковать 12-ю главу? Ее истолковывают, как изображение рождения Мессии по образцу мифов о рождении вавилонского бога Мардуха и греческого бога Аполлона. Мать Мардуха, небесная богиня, изображалась именно одетой в солнце, над ней луна и венец из семи звезд. Изображение матери Мессии воспроизводит с некоторыми видоизменениями фигуру вавилонской небесной богини. А борьба дракона против Мессии заимствована из греческого мифа об Аполлоне.

Но это мифологическое истолкование одно из возможных; поскольку автор 12-й главы говорит, что он видит появившееся *на небе знамение* (σημεῖον), не исключена возможность астрономического истолкования. Нам, однако, кажется, что к нему надо подходить несколько иным способом, не таким упрощенным, какой применяет Морозов. Надо прежде всего принимать во внимание цель автора Откровения: на основании своих видений (галлюцинаций) и наблюдений над небом он старается доказать, что приблизилось время пришествия Мессии, и изобразить ход драмы последних дней старого мира. В 12-й главе он на основании наблюдений над небом хочет доказать, что Мессия уже родился. Тут он прибегает к астрологическому методу истолкования небесных явлений; но сущность астрологического метода заключается в разъяснении смысла взаимного расположения *созвездий и планет*. С этой точки зрения положение на небе

должно быть редким, необычайным, соответствующим необычности предполагаемого события. Если подойти с такой стороны к толкованию образов гл. 12-й, то возможно, на наш взгляд, лишь наблюдение такого положения, когда в Деве (с натяжкой приходится принять здесь гипотезу Морозова) имеет место соединение солнца, луны и какой-то планеты *на выходе*, символизирующей рождающегося Мессию (вернее всего, планеты Юпитер). При таком положении Дева соответствует облику небесной богини-матери, а выход из нее Юпитера—рождению Мессии. Очевидно, что координаты, соответствующие такому положению, дадут иные даты, чем 30 сентября 395 года, так как в этот день, по вычислениям Морозова, Юпитер был не в Деве, а в Стрельце. Мы говорим—иные *даты*, так как решение может быть различно, в зависимости от того, какое положение в Деве мы примем для солнца, и в какой фазе будем считать луну. Так как на этот счет текст 12-й главы не дает прямых указаний, то возможны различные предположения, а, следовательно, и различные даты. Вычисление их мы предоставляем досужим астрономам. Само собой разумеется при этом, что вышеприведенное толкование начала гл. XII не исключает и других толкований астрономического характера, которые могут послужить основанием для других выкладок. В итоге очевидно, что чего-либо определенного, принудительного по своей очевидности, астрономические элементы XII главы дать не могут.

Второе основание Морозова связывается с первым. День, на основании XII главы, был 30 сентября; но какого года? Это Морозов определяет на основании астрономического толкования коней гл. VI. Конь белый—Юпитер, всадник с луком на лем—созвездие Стрельца; конь бледный—Сатурн, Смерть, его всадник—созвездие Скорпиона; конь огненно-красный—Марс, всадник на нем с мечом—созвездие Персея; конь черный—Меркурий, всадник на нем с весами—созвездие Весов. По вычислениям Морозова, Юпитер и Сатурн были одновременно 30-го сентября один в Стрельце, другой в Скорпионе только в 395 году; в это же время Марс был в середине Овна, падающего ниже Персея, а Меркурий в Весах. Возможен ли астрономический подход к VI главе? Тут мы уже не можем дать такого же определенного ответа, как по отношению к гл. XII. Нигде в VI главе не говорится, чтобы кони были небесными знаменьями; по контексту видно, что агнец показывает автору Откровения книгу за семью печатями и снимает печати одну за другой; после снятия первых четырех печатей появляются по очереди четыре коня, из которых появление последних трех влечет за собой на земле различные бедствия, а снятие последних трех печатей сопровождается мировой катастрофой. У нас нет никаких принудительных мотивов считать эту символику шифром небесных наблюдений автора Откровения; напротив, судя по тому, что автор говорит, будто он был в это время «в духе» (гл. IV, 2), т. е. в состоянии религиозного экстаза, мы имеем право считать эту символику плодом бредовых фантазий разгоряченного христианского фанатика. Элементы бреда были даны, конечно, совокупностью всех тех идей и образов, в которых вращалось раннее христианство, в том числе, и в первую очередь, совокупностью идей и образов библейских пророческих книг; и действительно, в IV—VI главах нет почти ни одного символа, который не имел бы себе параллелей в Библии. Итак, астрономическое толкование здесь допустимо только, как подсобное, а не основное средство; оно может объяснить некоторые детали, и не столько небесной динамики, сколько небесной статики, прежде всего элементов небесной космографии в гл. IV.

Но допустим, что и в VI главе можно искать астрономических явлений. Тут на обязанности Морозова лежало доказать два положения: 1) кони символизируют планеты, а всадники—созвездия, в которых планеты (кроме Марса?) находятся; 2) что определенный цвет соответствует именно той самой планете, о которой думает Морозов. По первому вопросу была в свое время большая полемика, из которой Морозов не вышел победителем. Он ссылаясь на галльские монеты, приведенные в популярных изданиях Фламариона и его английского переводчика Блэка; но в этих изданиях кони, изображенные на монетах, считаются символами солнца. В «Пророках» Морозов, считаясь с этим возражением, заявил, что он дает в книге несколько десятков рисунков из старых астрономических книг, которые якобы доказывают, что планеты символизировались конями. Но на этих рисунках, изображающих колесницы различных планет, только колесница Марса изображена с конями, а прочие планеты вместо коней имеют или других животных, или птиц, или даже людей. И в самом истолковании цвета коней возможны варианты. Белый конь, действительно, может быть Юпитером, но может быть и Венерой, цвет которой считался белым; черным мог быть не только Меркурий, но и Сатурн; так, между прочим, думает известный ориенталист Иеремияс, также считающий коней символами планет; и тот же ученый толкует цвет *chlogos* четвертого коня в качестве желтого и считает четвертого коня Юпитером (первый конь, по его мнению, либо солнце, либо луна—ср. А. *Jeremias*, *Babylonisches im Neuen Testament*, 24—25). Наконец, почему делать для Марса исключение и считать его всадником не созвездие Зодиака, в котором он находился, а созвездие Персея, находящееся за пределами эклиптики? С точки зрения астрологии это вряд ли допустимо. Таким образом, астрономическое толкование коней стоит на очень шаткой основе. И мы вправе считать, что вполне сохраняет свою силу обычное толкование: кони—отзвук коней пророка Захарии, где они, как прямо сказано в тексте, изображают четыре ветра, обходящие землю; в Откровении кони символизируют бедствия, надвигающиеся со «всех четырех ветров небесных»—конь белый—с востока, откуда появляется солнце, судия и мститель; конь огненно-красный—с юга, где в 90-х годах (вероятная эпоха появления Откровения по современным научным данным) постоянно шла война; конь черный—с запада, со стороны ночи, откуда из Рима вышел знаменитый указ Домициана 92 года, вызвавший голод в Малой Азии; конь бледный—с севера, области зимы и смерти, стоит уже за пределами той реальности, свидетелем которой был автор Откровения, так как четвертый конь идет в сопровождении Смерти и Ада, двух мифических чудовищ гибели и разрушения.

Безусловно, и это толкование—одно из возможных. Мы не отрицаем наряду с ним возможности и астрономического подхода. Но—да разрешит и нам Морозов, как себе, некоторую резвость мысли—мы беремся доказать, оставаясь при этом на почве основных положений Морозова по отношению к XII и VI главе, что дата Откровения будет 98-й год до Р. Х., т. е. именно та эпоха, к которой относит эту книгу современная научная критика. Мы принимаем, что дело было, на основании XII главы, 30 сентября или в ближайшие дни, вообще осенью, в конце сентября—начале октября, и постараемся показать, что положение планет по VI главе было таково, что книга могла быть написана в 98-м году. При этом исходный пункт наш будет несколько иной, чем у Морозова. Морозов полагает, что в VI главе описано одновременное

положение четырех планет в созвездиях; снятие печатей он толкует, как очищение соответствующих созвездий от покрывавших их облаков. Привлечение облаков и туч, что очень любит Морозов, есть прием совершенно субъективный и недопустимый с научной точки зрения. Здесь дело может стоять только таким образом: автор Откровения на основании своих наблюдений и выкладок *предсказывает* наступление и развитие мировой катастрофы и облекает свои предсказания в символическую форму раскрытия печатей книги судеб. В 98-м году, 30-го сентября или несколько позже, он обнаружил Юпитера в Стрельце (см.—*Морозов*, Откровение в грозе и буре, таблица на стр. 142) и истолковал это, как знамение близкого пришествия Мессии—выходящего с луком и в венце, чтобы победить. Это было для апокалиптики первым просветом, снятием первой печати. Он хочет тогда добиться, чтобы небесная книга раскрыла ему свои дальнейшие тайны, хочет снять следующие печати. Он делает наблюдение над положением других планет и видит—огненно-красный Марс в Близнецах <sup>1)</sup>, но появление планеты войны и смерти в соединении с созвездием Близнецов издавна, по толкованию вавилонской астрологини, считалось предвещием каких-то надвигающихся бедствий (ср. *Jastrow*, *Die Religion Babylonien und Assyriens*, II, 649—650). Вторая печать открылась, предвещая окончательное исчезновение мира с земли. Что же будет потом? Внимание автора Откровения, естественно, обращается к другому вестнику бедствий, Сатурну. Эта планета, по вавилонским представлениям—«заместитель солнца», считалась в астрологии также небесным судиею, носителем небесной правды (ср. *Jastrow*, *op. cit.*, II, 681). Автор Откровения хочет снять печать с Сатурна; как астрономически образованный по тому времени человек, он умеет вычислять на год вперед движения планет (ср. *Bezold*, *Astronomie, Himmelschau und Astrallehre bei den Babylonern*, 6 и сл.), делает выкладки и обнаруживает, что скоро (в 99 г. нашей эры) Сатурн вступает в созвездие Весов, как черный конь <sup>2)</sup>, чтобы нарушить нормальный ход хозяйственной жизни, принести неурожай, голод и все связанные с этим бедствия. Третья печать снята; что скажет четвертая печать? Автор Откровения продолжает свои выкладки и видит, что вслед за этим (в 100—101 г. нашей эры) Сатурн будет уже в созвездии Скорпиона, как бледная смерть, чтобы принести конец жизни на земле (данные для Сатурна ср. *Морозов*, Откровение, табл. на стр. 139—140). Так снимается четвертая печать; бедствия, предвещаемые ее снятием, уже эскапалогического характера. Разгоряченной фантазии апокалиптики, пламенно жаждущего суда и конца, представляется, что вслед за вступлением Сатурна в созвездие Скорпиона получают свободу все силы ада: они выходят на землю и истребляют людей мечом, голодом, болезнями и дикими зверями. За разгулом смерти апокалиптику представляется уже неизбежным крушение вселенной. Астрология свое

<sup>1)</sup> Положение Марса в Близнецах для 98 г. в сентябре—октябре и видимость его в вечерние и ночные часы для горизонта о. *Патмоса* в эти месяцы были для меня любезно вычислены проф. А. А. Михайловским, которому я принишу искреннюю благодарность.

<sup>2)</sup> Меркурий должен быть исключен; только полным незнакомством Морозова с вавилонской астрологией может объясняться привлечение Меркурия в качестве черного коня. По вавилонским представлениям, Меркурий—звезда счастья, и появление его предвещает дождь, полную воду в каналах и хороший урожай (ср. *Jastrow op. cit.*, II, 667). Тем более соединение Меркурия с созвездием Весов.

дело сделала; он отдается теперь во власть экстастики, и его разгоряченное воображение рисует ему одну за другою картины мировой катастрофы, развертывающиеся по мере того, как он в своем полубредовом состоянии «снимает» следующие печати. За снятием пятой печати звезды приходят в беспорядок; никогда не поднимающиеся над горизонтом Патмоса созвездие Жертвенника вдруг восходит и обнаруживает свою тайну: под ним находятся души христиан, замученных за веру, требующие суда и воздаяния гонителям. За шестой печатью вселенная рушится: земля разрушается от землетрясения, солнце становится черным и перестает светить, звезды падают с неба, небо свертывается, как книжный свиток, и исчезает. А за седьмою печатью должно наступить торжество христиан... Небесные наблюдения осенью 98 года и астрономические выкладки движения Сатурна в следующие годы с их астрологическим толкованием апокалиптик соединил с бредовыми картинами предстоящего конца мира и скомпоновал в форму откровения, которое якобы дает ему ангел, открывая печати книги судеб мира,—и так получились IV—VI главы Откровения Иоанна...

Нам возразят, что это толкование субъективно и спорно; но мы и не выдвигаем его, в противоположность Морозову, за единое и истинное решение задачи. Мы хотим только показать, что, оставаясь на почве астрономического толкования и даже принимая основные положения Морозова, можно прийти к выводу, подтверждающему дату Откровения, как ее устанавливает библейская критика<sup>1)</sup>. Но при этом у нас есть два преимущества перед Морозовым. Первое заключается в том, что мы не прибегаем при толковании к помощи туч, облаков, ветра, грома, предполагаемого затмения, не прибегаем к искажению смысла текста путем произвольного перевода, но остаемся исключительно на почве астрономического и астрологического толкования, соответствующего уровню знаний и взглядам эпохи, и на почве имеющегося налицо текста, не допуская никаких произвольных переводов. А второе наше преимущество заключается в том, что при нашем толковании учтен основной характер Откровения, как *предсказания*, основанного на астрологии и экстафике, что совершенно не учитывается Морозовым. Вывод из всего этого, конечно, только один: в применении к Откровению астрономический метод не может быть точным, так как астрономические вычисления всегда будут основаны на субъективном толковании, и так как при желании всегда можно дать такое толкование, которое астрономически оправдывает любую желаемую дату.

Так шатается первый краеугольный камень сооружения Морозова. Перейдем теперь к другому его важнейшему положению,—определению времени жизни Иисуса, отождествляемого им с Василием Великим. Пророков мы покуда мишуем, так как в цепи умозаключений Морозова они тесно связаны с Откровением, и если падает морозовская дата Откровения, то падают и даты пророков; вопрос же о времени жизни Иисуса разрешается Морозовым вне связи с Откровением и пророчками. Морозов основывается на рассказе евангелий

<sup>1)</sup> Можно с меньшей очевидностью оправдать и другой, менее принятый в науке взгляд, согласно которому Откровение было написано в 60-х годах I века. Тогда наблюдение над Юпитером будет относиться к 63 г., а расчет появления Сатурна в Весах и Скорпионе—к 69—72 гг.; в промежутке будет огненный [pyrthos] конь с большим мечом—комета Галлея, которая должна была явиться в 65—66 годах.



Марка, Матфея и Иоанна об обстоятельствах, сопровождавших казнь Иисуса; этот рассказ Морозов, в противоположность общепринятому взгляду, считает целиком достоверным, не исключая даже и некоторых чудес. Центр тяжести, по Морозову, лежит в известии, что во время казни Иисуса, от 6 до 9 часа, была *тьма* (skotos) по всей земле; эту тьму, по мнению Морозова, надо понимать, как затмение, и притом затмение лунное, так как в полнолуние, которое имело место во время казни Иисуса, солнечных затмений не бывает. Отсюда Морозов стал искать подходящего лунного затмения в течение первых веков нашей эры, и притом не ранее 21-го марта, так как христианская пасха не празднуется ранее 22-го марта. Такое затмение он и нашел 21-го марта 368 года; отсюда, время жизни Иисуса должно, по Морозову, относиться к IV веку нашей эры, а казнь его—к 20-му марта 368 года.

Прежде всего, поставим первый вопрос,—возможно ли астрономическое толкование вышеприведенного известия евангелий. Дело идет, конечно, о значении слова skotos: можно ли в данном случае от явления заключать к причине? Третий евангелист это сделал и добавил, сравнительно с Марком и Матфеем, объяснение появившегося мрака именно затмением, но затмением солнца. Затмение солнца, конечно, исключается; Морозов прав, говоря, что тут перед нами объяснительная позднейшая вставка. Но возможно ли толкование в смысле лунного затмения? Возможно только в том случае, если казнь Иисуса происходила вечером; Морозов так и думает, и, полагая в простоте душевной, что раз на востоке день (в смысле счета дней недели и месяца) начинался с вечера, то и счет часов тоже начинался с вечера, а именно, первый час соответствовал нашему 7-му часу вечера. Тогда время от 6 до 9 часов евангельского счета будет соответствовать, по нашему счету, времени от 12 до 3 час. ночи, когда лунное затмение могло быть ясно видимо. Но беда этого толкования заключается в том, что оно совершенно произвольно искажает текст и основано на полном незнакомстве Морозова со счетом часов, принятым во всем древнем мире. Этот счет часов, установленный в Вавилонии и оттуда распространившийся по всему древнему миру (ср. *Herodot.*, II, 109), заключался в том, что *день*, от восхода солнца и до его захода, делился на двенадцать часов, причем первый час соответствовал, в среднем, 6—7 часу утра, колеблясь в зависимости от времени года. Для счета часов употреблялись солнечные часы, имевшие неподвижную скалу в 12 часов, вследствие чего и час не всегда имел одну и ту же продолжительность, в зависимости от времени года. Сообразно с этим делением дня делили и ночь на 12 часов; но это деление не было повсеместным и обычным и чередовалось с другими способами, напр., с делением ночи на четыре стражи, т. е. по сменам караулов. Казнь Иисуса происходила утром; об этом совершенно единогласно говорят евангелия. Он был отведен к Пилату на рассвете (proi); после краткого разбора дела Пилат передал Иисуса солдатам для исполнения приговора; распят Иисус был в третьем часу (Марк., 15, 25), т. е., в 9 часу утра; труп Иисуса был снят с креста после смерти, последовавшей, по обстоятельствам казни, слишком быстро (Марк., 15, 44), вечером (opias—Марк., 15, 42; Матф. 27, 57; ср. Лука, 23, 54: «*день тот был пятница и наступала суббота*»); отсюда «тьма» могла быть только от 6-го до 9-го часа дня, т. е. от 12 до 3-х часов дня по нашему счету. И, конечно, только такое внезапное наступление темноты среди яркого дня—от 12 до 3 час.,—и могли разуметь евангелисты; их читатели только при таком изображении могли проникаться ужасом,

на который рассчитан весь тенденциозный рассказ о тьме, землетрясениях и разрыве храмовой завесы. При толковании Морозова, все действие, *вопреки ясному тексту всех евангелий*, переносится на ночные часы, когда не могло быть ни толпы народа около креста, ни потрясающего впечатления чудесного наступления тьмы среди белого дня.

Таким образом, мы видим, что астрономическое толкование «тьмы» во время казни Иисуса базируется исключительно на обычных для Морозова приемах: читать не то, что есть в тексте, а то, что нужно для его предположения, и переделывать факты, если они противоречат гипотезе. С этим принципом «тем хуже для фактов» мы встречаемся уже в «Откровении»; там Морозов свое предположение о принадлежности Откровения Иоанну Златоусту доказывает, между прочим, тем, что Златоуст якобы был революционером и призывал антиохийцев разбивать императорские статуи, хотя речи Златоуста о статуях наоборот рисуют Златоуста верноподданым, бичевавшим антиохийцев за враждебные чувства к императору. Мы должны поверить заявлению Морозова, что эти речи поддельные, а недошедшие подлинные речи имели революционное содержание. Но в науке не принято верить, это—дело религии... Однако, к вере в новые, открываемые Морозовым факты он призывает нас и в вопросе об Иисусе. Он ищет его среди церковных деятелей IV века и находит в лице Василия Великого. Основания: 1) Василий Великий значит «великий царь», а Иисус был распят, как «царь богославных»—отсюда Василий совпадает с Иисусом (?); 2) житие Василия «во всем» совпадает с евангелиями, кроме... того факта, что Василий был приговорен к смертной казни и неудачно «столбован» за предсказание лунного затмения. Казнь Иисуса за это преступление есть в евангелиях (но ведь Иисус по евангелиям никакого затмения не предсказывал и не за это был распят; «царь иудейский» не значит «астроном-предсказатель?»), но этого нет в житии Василия; факт этот, по мнению Морозова, по каким-то причинам, опущен биографом Василия, но он, Морозов, после своих астрономических вычислений и сличения «Жития» и евангелий считает своим полным правом внести «в жизнь четьи-минейского «великого царя» лунное затмение 21-го марта 368 года и его результаты, описанные в евангелиях» (стр. 161; ср. стр. 147; 156—157). Морозов имеет право в любое литературное произведение вносить любые дополнения и объявлять, что он этим исправляет намеренные пропуски; но мы имеем полное право объявить такой способ исправления и дополнения литературных произведений и создания новых фактов плодом поэтической фантазии.

Теперь несколько слов о пророках. Определяя время их происхождения астрономическим путем, Морозов на основании выводов «Откровения в грозе и буре» уже наперед считает исключенной возможность появления их в дохристианскую эпоху и ищет их даты в период после начала христианской эры. Эта презумпция совершенно произвольна. Правильный научный метод требует, чтобы были взвешены все возможности, и только после совершенного исключения одной возможности исследователь имеет право испытать другую. В данном случае Морозов имел дело с бесспорным в науке положением, что пророческие книги еврейской библии были написаны в дохристианскую эпоху, что изречения пророков вовсе не имели в виду предсказания Христа, как стали толковать их богословы в первые времена христианства, но были связаны с событиями и идеями того времени, когда жили пророки. Поэтому при при-

менении к пророкам астрономического метода Морозов должен был прежде всего проверить при его помощи датирование пророков дохристианской эпохой и только в случае неудачи строить новые предположения о сущности иудейства, как секты, а не нации, о датировании его первыми веками нашей эры и т. д. Не сделав этой предварительной работы и начав прямо с характеристики иудейства, как явления, самое раннее, II века нашей эры, Морозов начал строить новое здание без фундамента.

Попробуем произвести эту проверку, конечно, в тех случаях, когда применим астрономический метод. Его надо исключить по отношению к Захарии и Иезекиилю. Захария в начале VI главы описывает свое видение, в котором ему «из ущелья среди медных (nechoscheth) гор» явились четыре колесницы, запряженные разномастными конями. Морозов считает колесницы символами планет: Марса, Меркурия, Юпитера и Луны («Пророки», стр. 158—159; по «Христу», стр. 255, вторая колесница не Меркурий, а Сатурн) и, поправляя в тексте, неизвестно на каком основании, вместо nechoscheth—pachasch, *змея*, определяет, что все эти четыре планеты были около созвездия Змиедержца. Далее, дату «24 день 11-го месяца» он считает 24 января «по византийскому или еврейскому календарю» и для этого дня определяет астрономически дату—466 г. по Р. X. Не говоря уже о произвольном приравнении 11-го месяца еврейского года к январю, текст Захарии не знает никаких оснований для астрономического толкования. В своем «литературном» переводе Морозов не только исправил nechoscheth на pachasch, но еще пропустил 4—5 стихов, где ангел дает Захарии объяснение видения: четыре колесницы, это—*четыре ветра небесных* (ruchoth haschammajim), обходящие *землю*... Иезекииль в I главе рассказывает свое видение, в котором, по мнению Морозова, фигурируют три планеты и Луна, и на основании их положения вычисляется дата 5 июня (почему июня?) 453 года. Текст Иезекииля сам по себе, однако, совершенно не дает данных для такого толкования и потому подвергается у Морозова своеобразной переделке, как видно из следующего сравнения:

### ТОЧНЫЙ ПЕРЕВОД С ЕВРЕЙСКОГО.

(Курсивом—места, совершенно пропущенные в переводе Морозова.)

И вот бурный ветер пришел с севера, и большое облако в нем, и блеск был кругом него, и пылающий огонь, и из середины огня (сияло), *точно блеск полированной меди. И в середине сего*—подобие четырех живых существ; *и таков был вид их*: образ человека у них, но четыре лица у каждого из них и четыре крыла у каждого из них; и ноги их были прямые, и подошвы ног их круглые, сверкали они, как блеск меди. И рука человеческая была под крылами их

по четырем бокам их. [И лица всех четырех не поворачивались, когда шли они]<sup>1)</sup>; каждое шло прямо вперед пред собою. *И вид лиц их*: [лицо человека спереди у (всех) четырех], и лицо льва справа у (всех) четырех, и лицо быка слева у (всех) четырех, и лицо орла сзади у (всех) четырех; и верхние крылья были распростерты кверху у (всех) четырех; и каждые два крыла были соединены одно с другим; и два других крыла покрывали тела их. *И каждое шло прямо вперед пред собою*, куда дух побуждал их идти, туда шли они и не поворачивались.

<sup>1)</sup> Места, поставленные в [...], переведены с греческого, так как еврейский текст здесь испорчен.

## ПЕРЕВОД МОРОЗОВА:

(Курсивом—места, произвольно добавленные Морозовым.)

Шла буря с севера, большое облако со свергающими молниями, а вокруг него тлело сияние *Млечного пути*, как светящийся поток, текущий между вспышками огня *грозы*. *На южной же стороне неба* были видны четыре живые существа—*планеты*—и там же выделялся облик человека (*в созвездии Змиедержца*). К нему одному шли те четыре лика (*планет*), и у него же одного, таинственного, были четыре крыла *неба* (две из двенадцати пар *клиньев*, отсекаемых от небесной сферы ее меридианами). Непреложно было шестве этих существ, и вогнутость путей их была, как вогнутость пути округности, и

все четыре лика их сияли, как полированная медь. Человеческие руки простирались под крыльями *неба* над ними (*у созвездий Змиедержца, Стрельца, Геркулеса*), а крылья *неба* соприкасались одно с другим и не останавливались во время своего *кругового* шествия по небу, идя каждое вперед (по направлению ежесуточного движения находящихся под ним *планетных* ликов). Очертание Льва было направо от них, очертание Тельца налево, а очертание Орла находилось около всех четырех *над ними*. Их лики и их крылья были разделены (*небесными меридианами*) попарно сверху вниз, и в каждой паре одно крыло соединялось с другим (*на небесном экваторе*) и два покрывали тела тех живых существ. А сами живые существа—*планеты*—шли туда, куда влек их дух.

Пропуски и добавления, сделанные Морозовым и обозначенные курсивом, сами говорят за себя; для характеристики перевода остается добавить только еще несколько отдельных примеров. Евр. 'arba'a ranim le'echath (жен. род.) относится к sha'a—существо—жен. рода)—четыре лица у каждого (существо)—Морозов переводит «к нему одному (по 'adam—человек—муж. рода!) или (?) те четыре лика». Евр. le'echath lakhem—у каждого из них—переведено «у него одного (но должен бы быть муж. род!) таинственного». Евр. jisabbu, «не поворачивались», от sabab, Морозов перевел «не останавливались». Reglêkhem—двойств. число!—значит «ноги их», переведено «шестве». И так далее. В результате получился не новый литературный перевод, а новое литературное произведение. Но зачем же выдавать его за текст Иезекииля?

По отношению к Даниилау, Иеремии и 34 гл. Исаяи возможно применять астрономическое толкование, хотя более или менее вероятно оно только по отношению к 34 гл. Исаяи. Рука, которая пишет на стене (а не на небе) во время пира Валтасара (Даниил, гл. V), может быть истолкована и не в смысле кометы; но если даже мы примем это толкование, то и в дохристианскую эпоху найдутся даты, оправдывающие научные взгляды на время происхождения книги Даниила. По общепринятому в науке взгляду, книга Даниила в целом была написана в 165—164 г. до Р. X., в эпоху маккавейского восстания, причем автор ее использовал некоторые литературные материалы, восходящие к последним годам эпохи плена. Если мы предположим, что рука есть символ кометы, то вышеуказанная дата оправдывается привлечением кометы Галлея. По ее периодам она должна была появиться именно около середины 160-х годов и 540-х годов до Р. X.; первое соответствует дате книги в целом, второе—времени происхождения легенды о пире Валтасара, под которым разумеется

еши последнего вавилонского царя Набонеда, Бел-шар-ушур; последний, по видимому, с 549 г. и почти вплоть до падения Вавилона в 537 г. правил за больного отца. Первое нападение персов на Вавилонию относится к 10 году Набонеда, т.-е. около 545 г. (ср. *Тураев*, История Древнего Востока, II, 158—159); это нападение, в связи с появлением кометы в ближайшие годы после него, и могло послужить поводом к составлению апокалиптической легенды о пире Валтасара, так как иудеи, пламенно жаждавшие гибели Вавилона, несомненно, рассчитывали, что Бур теперь же двинется на столицу халдейского царства и положит ему конец. Автор книги Даниила использовал этот отрывок V века для своего откровения о предстоящей гибели Антиоха IV и торжестве верных.

Астрономическую зацепку для определения эпохи Иеремии Морозов находит в ст. 11—14 первой главы. Росток миндального дерева и кипящий котел (у Морозова почему-то «размахнувшаяся кочерга») являются, по Морозову, символами кометы; такое же толкование дает этим символам и Д. Святский («Галлеева комета в Библии и Талмуде»). Убедительным это толкование не может быть, так как нет речи, чтобы знамения были на небе; однако, и безусловно отвергать его возможность не приходится. Но два астронома, согласные в толковании, дают разные даты. Морозов, исходя из презумпции, что пророки позже Откровения, считает, что дело идет о появлении кометы Галлея в 451 г. по Р. Х.; Святский, напротив, считая книгу Иеремии произведением дохристианской эпохи, указывает ее дату по той же комете Галлея в 619 г. до Р. Х.; эта дата соответствует эпохе выступления Иеремии в качестве пророка, как она определяется научной критикой, а именно, между 616 и 629 годами до Р. Х. Астрономический метод в применении Святского подтверждает научную точку зрения. Далее идет Исаия. Книга пророческих изречений, посвящая имя Исаии, является, с научной точки зрения, собранием изречений и речей различных пророков, причем лишь около 30 % книги, преимущественно в первых 26 главах, принадлежит подлинному Исаии. 34 глава, на которой основывает свои расчеты Морозов, относится к группе 28—35 глав, которые по характеру своего содержания, стилю и намекам на исторические события считаются очень поздним отрывком апокалиптического содержания; время происхождения их, на основании 33 главы, относится обычно к моменту победы Маккавеев над Антиохом IV Епифаном, т.-е., примерно, к 162 г. до Р. Х. Меч Иогве на небесах (34 гл. 5 стих), несомненно, означает комету; Морозов ищет ее в первые века нашей эры и отождествляет ее с кометой 442 г. китайских летописей. Но, примерно, около 163 г., как мы видим, должна была явиться комета Галлея, которая и могла дать повод к написанию отрывка 28—35 гл. Исаии.

Мы не будем останавливаться на всех прочих пророках; приведенные примеры достаточно ясно характеризуют, с одной стороны, своеобразные методы перевода и толкования, практикуемые Морозовым, а, с другой стороны, возможность при помощи астрономического толкования оправдывать и общепринятые в науке даты. Чтобы покончить с астрономическим методом, мы позволим себе остановиться только еще на двух пунктах. В книге «Христос» Морозов приводит произвольно надерганные им из разных мест отрывки так наз. малых пророков, чтобы доказать, что и они все относятся к V—VII векам нашей эры. Почти везде он указывает и астрономические элементы; по в некоторых пророках, между прочим, в Иоиеле, он астрономических зацепок не находит. Между тем, еще известный астроном Склапарелли в 1904 г. (*Die Astronomie*

im Alten Testament, 45) совершенно правильно указал, что описываемое в III, 3 кн. Иоиля небесное знамение—кровь, огонь и столбы дыма—означает комету. Научное исследование пришло к общепризнанному выводу, что книга Иоиля появилась несколько позже 400 года до Р. Х.; но именно около 390 года должна была появиться комета Галлея. Таким образом, Морозов не заметил в книге Иоиля совершенно ясных астрономических данных, при этом вполне подтверждающих научные выводы. Второй пункт касается времени происхождения сочинений иудейского историка Иосифа Флавия. Полагая, что от Иосифа, как и вообще от древних писателей, нет рукописей, а есть только печатные издания (рекомендуем Морозову познакомиться с каталогами рукописей хотя бы только Ватиканского собрания), Морозов заявляет, что сочинения Флавия появились только в середине XVI века и являются подделкой. Но совершенно ясные астрономические данные подтверждают хронологию событий, описанных Иосифом, а, следовательно, и эпоху его сочинений. Одно, главнейшее, его сочинение «*Об иудейской войне*» описывает великое восстание иудеев против римского владычества, имевшее место в 66—70 годах I века. Описывая предзнаменования, предвещавшие войну (VI, 5, 3), Иосиф называет, между прочим, «хвостатую звезду в виде меча», т.-е. комету; но именно в 65—66 г., как мы уже указывали, должна была появиться комета Галлея. Этого достаточно, не говоря уже о рукописях и переводах Иосифа <sup>1)</sup>, чтобы считать вполне доказанным факт происхождения сочинений Иосифа в конце I века нашей эры.

Астрономический метод, однако, не единственный, применяемый Морозовым; результаты его самому Морозову кажутся настолько «поразительными», что он старается подтвердить их доказательствами при помощи ряда других методов. Из них геофизический будет фигурировать в следующих томах; сейчас Морозов указывает только один пример, именно, что геофизические условия не допускают вообще образования удобных гаваней на палестинско-сирийском побережье, и что поэтому Тирне мог существовать. Но почему же сейчас существуют несколько гаваней на этом побережье—Яффа, Бейрут, Сайда? Однако, не будем останавливаться на этом, не раскрытом еще методе, и перейдем к другим. В их ряду Морозов почему-то не перечисляет двух методов, к которым он постоянно прибегает, именно—метода пользования житиями святых, как надежными историческими источниками, и метода лингвистического. Первый метод как-то странно противоречит всему основному взгляду Морозова на засвидетельствование древних памятников. Он постоянно повторяет, что никаких первоисточников в рукописях нет, что есть только печатные книги после 1450 г., что рукописи, с которых печатались первые издания, были, всего вернее, уничтожены, так как они исчезли неизвестно куда <sup>2)</sup>; он очень строг

<sup>1)</sup> Рукописей «Иудейской войны» главных 8, относящихся к XI—XII векам; рукописей (главных) «Иудейских древностей»—12, из них одна X века. Но это, может быть, для Морозова неубедительно; укажем поэтому еще сирийский перевод «Иуд. войны», рукопись которого, VI века, находится в Милане и издана Чериани, а также латинский перевод части «Иуд. древностей» VI—VII века, *на папирусе*, находящийся также в Милане (Bibl. Ambrosiana).

<sup>2)</sup> Между прочим, Морозов на стр. 72 очень беспокоится, куда девалась рукопись Сократа Схоластика. Можем его успокоить: две рукописи Сократа

в вопросе о подлинности древних авторов и очень охотно повторяет мнение некоторых исследователей Платона, считающих большую часть диалогов этого философа неподлинными; он обрушивается на новозаветные послания, как на продукты скучнейшего средневекового богословского многословия (не зная, конечно, что по новейшим исследованиям их стиль вполне соответствует стилю греческой эпистолярной литературы эпохи римской империи); но он с величайшим доверием относится к житиям святых, да еще в изложении русских синодских Четых-Миней. Житие Василия Великого—утверждает Морозов—только одно и дает возможность исторической разработки биографии Великого Царя-Иисуса (стр. 151); житие евангелиста Луки—правдоподобно (стр. 444); житие Иоанна Дамаскина—правдиво (стр. 502). Но ведь рукописи житий еще менее древни и менее надежны, чем рукописи других древних произведений; ведь жития являются очень поздними шаблонными произведениями, составившимися с назидательными целями по определенному образцу и наполнявшимися одними и теми же до надоедливости чудесами и событиями, что, в частности, житие Василия не имеет никакого значения, как источник для его биографии, которая устанавливается на основании данных его сочинений и на основании надгробных речей Григория Назианзина и Григория Нисского. Но и с точки зрения Морозова все интересующие его жития имеют один и тот же крупный недостаток: они умалчивают как раз о тех фактах, которые Морозов хочет при их помощи доказать. Житие Василия ничего не говорит о его «столбовании» и воскресении; жития Марка Афинского, Луки Элладского, Иоанна Дамаскина и Федора Студита ничего не говорят о написании этими святыми канонических евангелий. Конечно, Морозов выходит из затруднения не допускающими возражений заявлениями вроде того, что главная заслуга Марка Афинского—написание евангелия—«вырезана» из его биографии (стр. 483), или что Исаия Дамаскин, как талантливый писатель, мог написать евангелие от Иоанна; но эти заявления никого, кроме самого Морозова, убедить не могут. При схеме Морозова остается также совершенно непонятным, зачем понадобились евангелия, если было уже такое хорошее житие «Великого Царя», почему первые три евангелия так схожи, а четвертое от них коренным образом отличается, и почему, и когда именно эти евангелия, а не житие Василия, были признаны священными христианскими книгами.

Еще более убогоприятельны выводы, к которым Морозов приходит при помощи лингвистического метода. Прежде всего он строит, на основании своей новой хронологии, новую теорию древних языков. Классический греческий язык есть, по его мнению, средневековое искажение «эллинского» языка эпохи первых веков нашей эры, классический латинский—такое же искажение древнеитальянского, древне-еврейский (библейский)—такое же искажение арамейского; в другом месте, впрочем, он утверждает, что по своему происхождению и произношению библейский язык аналогичен современному немецкому жаргону польских евреев. Не зная современных научных теорий о происхождении индо-европейских и семитских языков от одного праязыка, Морозов своим умом и своим методом доходит до установления родства между еврейскими,

Схоластика X и XI века находятся в флорентийской библиотеке, а в Эчмиадзине есть древнейший перевод с него, армянский, VII века. Надо еще добавить, что, кроме давно уже устаревшего Тимендорфа, Морозов не знает никаких работ над рукописями и текстом еврейской и христианской библии.

греческими и латинскими словами и приходит, конечно, к таким результатам, которые и не снились лингвистам. Исходный пункт его—отрицание какого-либо значения за пунктуацией, имеющейся в тексте еврейской библии, и принятие для библейского языка того произношения букв еврейского алфавита, какое принято в современном еврейском разговорном языке. Морозов не смущается тем, что в древне-еврейском значении всех букв—согласное, а в ново-еврейском некоторые буквы, лишние с точки зрения согласного состава ново-еврейского языка, взяты для обозначения гласных. И вот у него получаются такие аналогии: собственное имя израильского божества, состоящее из четырех согласных, j, h, w, h, он читает *Изуз*, или *Иеве*, сравнивает с род. падежом от латин. *Jupiter—Jovis* и объявляет, что это—название одного и того же бога, причем культ его перешел из Италии в Палестину (ср. VII, 373—374 и др.); на этом основании Морозов в переводе библейских текстов считает возможным переводить иногда *jhwh* посредством имени *Зевс*, так как греческий Зевс тождествен с римским Юпитером. Тождество Адама и египетского фараона-объединителя Мены Морозов доказывает следующими уравнениями: Адм=Мена: Мена=Мна=Амм=Адм, так как *н*, по Морозову, в сущности, носовое *д* (стр. 388). От фонетики Морозов переходит к лексике и утверждает, что до сих пор значение древних имен и терминов толковалось неправильно, он же дает правильное толкование. Из десятков примеров приведем несколько, не требующих комментариев: *Христос*—помазанник, т.-е. посвященный в оккультные знания, т.-е. магистр оккультных наук (стр. 95, 109); греч. *Христос*—по-еврейски *Назорей*—так-де называется Самсон (стр. 111). Но евр. наименование Самсона *nazir* (Суд. 13, 5) в греч. переводе не переведено, а транскрибировано греч. буквами *nazeir*; и это правильно, так как греч. *christos* есть перевод евр. *maschiach*. Евангельское *tekton* (плотник), Морозов переводит *зодчий* и прибавляет, что зодчество было тайной наукой, а архитектора составляли тайный орден. Но по-греч. *зодчий*, *архитектор* будет *architekton*, слово же *tekton* всегда означает вообще строительного рабочего. Тир—евр. Цор—по Морозову Царьград. Дан—Дунайские страны, Мешех—Москва, и т. д. (стр. 246 и др.) *Dibre hajjomim*—*сводные записи, летописи*, Морозов переводит «Приморские повести», смешав *jom*—*день*, с *jam*—*море* и, очевидно, производя греч. *para-Protopon* не от глагола *paraleipo*, а от *par'halos*—у моря. В заключение еще два оригинальных ряда: Иуда-лев (*ari*)=Арий; отсюда арнале=фарнаел (стр. 124); Иероваам=Гонорий=мемейский лев=Луи=левит!.. (стр. 353).

Установив при помощи такого лингвистического метода родство языков древнего мира и фиктивность евреев, как нации, Морозов при помощи «статистического метода» доказывает, что различные ряды царей являются только различными рядами римских императоров от Аврелиана до Ромула Августула. Он дает три таблицы: 1) израильских царей и императоров от Константина Великого до Ромула-Августула (табл. XIX); 2) римских диктаторов и императоров от Суллы до Каракаллы и параллельный ряд императоров от Аврелиана до Одоакра (табл. XVIII); 3) иудейских царей и римско-византийских императоров от Лиципия до Константина Пагалаата (табл. XX). Цель этих сопоставлений—доказать, что ряды тождественны по числу звеньев и продолжительности годов, и что историческими были лишь кесари от Аврелиана (270 г.), прочие же цари—лишь местные псевдонимы. Для оценки этого метода приведем лишь несколько замечаний относительно I и II таблицы. В первой таблице



в ряду израильских царей мы встречаем неизвестное до сих пор междуцарствие между Сохомом (Саллумом) и Менахемом, продолжавшееся 21 год. Но II Цар. XV, 13—17—совершенно ясно указывает, что в 39 году иудейского царя Азарии Менахем сверг израильского царя Саллума и воцарился вместо него. Далее, Менахем царствовал 14 лет, а не 10, Пеках (Факел)—6 лет, а не 20, Осия—8 лет, а не 1 год. В ряду римских императоров только одному Морозову известен 25-летний период захвата власти Иоанном Златоустом; от Петрошия до Ромула Августула был не один император, а 9, причем Рецимер, фигурирующий здесь у Морозова, был не императором, а начальником войска; пропущен Константин (340—351); Аркадий и Гонорий, правившие одновременно, показаны, как последовательные кесари, Константин Великий единолично правил только 13 лет, а всего 31 год, так что дата Морозова—25 лет—ни в том, ни в другом случае не годится: Констанций II правил не 24 г., а 11 лет, Валент—не 15, а 12 лет, Валентиниан III—не 11, а 30 лет; правда, Морозов делит эти 30 лет на два звена: опеки и самостоятельного царства, и для параллели 21 году опеки измышляет уже указанный 21-летний период израильского междуцарствия.

Во второй таблице в ряду римских императоров III—V века сравнительно с тем же рядом первой таблицы сделаны изменения, придающие ей иной вид. Именно, выпущены совсем: Константин II, Валентиниан II, Иоанн Златоуст, опека над Валентинианом III, Петрошии Максим; вставлены Стилихон и Аэций, не бывшие кесарями, и добавлены в конце Одоакр и Теодорих Великий; четверем императорам указана другая продолжительность царствований, чем в первой таблице. Далее, в левом ряду II таблицы «два Тира Веспасиана» сосчитаны за одного императора, а в самом конце, вместо одного Каракааллы (211—217) мы читаем: Марк - Аврелий—Антонин—Каракалла—188—217 (!?). Составляя таким способом «тождественные» таблицы, можно доказать, что не только любых государей, русских, французских, немецких, английских, не было, но что и они являются только псевдонимами римских императоров от Аврелиана до Ромула-Августула...

Мы не будем затруднять внимание читателя разбором других таблиц Морозова, в которых он сопоставляет египетские родословные Рамсеса II с евангельскими родословными Иисуса и восстанавливает на основании родословной Матфея утраченные династии египетских фараонов. Нам кажется, что и сказанного уже достаточно. В одном месте своей книги («Христос», 440) Морозов говорит, что Индия—страна чудес не в своей собственной, а только в европейской фантазии, воспитанной на полуроманах в духе Жакольо и на те софических измышлениях Блаватской и англо-индийского полковника Олькота, и что индусские мудрецы, говорящие о древности своей страны, представляют интерес скорее для психиатра, чем для серьезного исторического исследователя.

К сожалению «чудесные» открытия самого Морозова при помощи астрономического и других методов существуют также лишь в его фантазии и для серьезного историка интереса не представляют.

## Наводнения в Ленинграде.

**П**о поводу невских наводнений собралась значительная литература, которая старательно пересматривается и дополняется после каждого большого наводнения. Нельзя, однако, сказать, что вопрос этот решен окончательно, но наше знакомство с капризами красавицы-реки растет, часть наших знаний может быть сведена в систему, часть вопросов надлежит еще разрешить.

Интересно, что, просматривая историю наводнений, можно встретить за 200—150 лет до нас указания на наши «новейшие достижения», а с другой стороны, в сравнительно новых изданиях и сводках встречаются старые курьезы, которым посчастливилось дожить до нашего времени, а, может быть, суждено и пережить нас...

Первые мы приведем при разборе современных воззрений на условия возникновения наводнений, а вторые—по крайней мере основные из них—разберем, чтобы избавиться от ложных точек зрения.

Считают, что первые указания о невских наводнениях заключаются в словах летописи под 6569—6572 годами (1061—1064), а именно, что набегам поддвцев и междоусобицам были знамения: река Волхов шла вверх пять дней, кровавая звезда целую неделю являлась на западе и т. д. (II Новг. летопись). Отсюда В. Н. Берх в 1826 г. выводил следствие, что для обратного течения Волхова не только Ладога, но и Балтийское море должны были подняться на значительную высоту, т.-е. было всеобщее наводнение.

Беглый взгляд на карту, напр. изд. Внутр. Вод. Путей, показывает, что Волхов у Невского и Ильмень взвышаются над Финским заливом на 9 саж., а Ладога на 2 саж. Значит, надо предположить подъем на 7 саж., чтобы уравнивать высоты воды в этих озерах и еще прибавить некоторую величину для соиздания обратного тока в Волхове. При таком эпизоде г. Новая Ладога оказался бы под водою саж. на 5 и вряд ли об этом умалчал бы летописец.

Стало быть, или это происшествие относится к устью Волхова, вполне подчиненному режиму Ладоги, т.-е. заливаемому водою из переполненного озера, или, что гораздо вероятнее,—оно было обусловлено образованием зажора на Волхове при быстром повышении уровня Мсты и в таком случае могло действительно быть под Новгородом.

Современник Петра I, Фридрих-Христиан Вебер, сообщил, что в 1691 г. было наводнение, доходившее до Ньюэншанца (при устье реки Охты), и что рыбаки рассказывали ему о повторяющихся здесь каждые 5 лет наводнениях, от которых они обыкновенно убегали на Дудергофскую гору (за 25 верст).

«Судя по этим рассказам, надобно полагать, что вода поднималась на 25 фут. выше ординара», прибавляет Вебер, и надо еще прибавить—через каждые 5 лет.

А между тем, измерив 9/20 сент. 1706 г. высоту воды в свсем «домике», Петр I нашел, что она была на 21 дм. сверх полу. При этом он писал «ветром вест-зюйд (SW—юго-западным) такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало». Этот подъем дал высоту всего в 8 фут. 10 дм. над ординаром Невы того времени—величина весьма далекая от 25 футов.

Подъем в 25 футов мог бы влиться в Ладожское озеро.

И опять-таки, повидимому, и здесь все состояло гораздо проще. Как известно, «горю»—кажется, повсеместно на нашем севере—называется берег реки. «Дудергофская гора» значит просто Дудергофский, т.-е. левый берег Невы, куда рыбаки и переезжали из затопляемых частей города. Можно даже приблизительно определить, где находилось это убежище, если принять во внимание, что при наводнениях часто бывает «великий ветер с моря», с которым рыбаки удбно могли подниматься вверх по реке с попутным ветром, т.-е. на самых больших из свсих судов, в район больших глубин, вплотную подходящих к берегу на Воскресенской набережной. Волны здесь были уже значительно ослаблены, большие прибрежные глубины не давали возможности сбсохнуть судам после спада воды, а переход не занял бы и 15 или 30 минут. Местность эта—ближайшая из незатопляемых даже при 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-фут. подъемах—куда могли легко попадать рыбаки со всех низовьев реки на свсих судах и лодках, не расставаясь с последними. Совершенно очевидно, что рыбаки не могли бросать суда на произвол судьбы при первом же наводнении—это ведь значило бы остаться без куска хлеба в будущем и единственного средства спасения в момент наводнения.

Если бы здесь дело шло действительно о горе, т.-е. возвышенности, то почему бы рыбакам не спастись в Лесной, всего от 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> до 5—6 верст ст их поселений и имеющий высоту большую 6 саж., т.-е. 42 ф. над ординаром реки? Такая высота вполне гарантировала бы их от 25 ф. подъемов.

Обозначение же левого берега реки, как Дудергофского (Дудоровского) вместо старого новгородского названия—по Ижорскому погосту—показывает прежде всего всю силу впечатления, произведенного на местное население шведскими реформами после Столбовского договора (1617 г.) и замирения края, до того беспрерывно подвергавшегося опустошениям.

Завоеванный шведами край получил новое устройство: Лифляндия, Ингерманландия и Карелия были соединены под властью одного генерал-губернатора и первым из них был назначен в 1629 г. Иог. Бенгстон Шютте (Skytte), а за 5 лет перед этим, в 1624 г., он был взведен в звание барона и получил в лен весь Дудергофский округ (Тишинг, Нева и Ньюэншанц, часть II, стр. 136).

Вот здесь-то, вероятно, и скрыта причина взвышения в глазах народонаселения значения Дудергофа, местности несомненно древнейших поселений, но отодвинутой на второй план, благодаря своему отдалению ст моря.

К священным доказательством важности «Дудерева» служит тот факт, что при обратном завсении края Петр I устршил для себя мызу именно там, в быв. баронском лене, т.-е. на шведской государственной земле.

Отсюда можно сделать один очень важный вывод—у нас нет свких доказательств того, что подъемы воды в реке *над ее ординаром* раньше были выше, чем теперь. Тем не менее город раньше больше страдал от наводнений, т.-е.

его, так сказать, *заливаемость* была больше, потому что улипы систематически поднимались как при самом их приходе (смысло из скал мялящих их напав), так и при замощных, а грунт поднимался и при самых построиках—с бенно каменных здалий—мы все знаем, что старые дома как будто уходят в землю.

Понятие о механизме наводнения и его ближайших причинах начало складываться с первых же дней жизни города и с этой стороны лоб. пытно привести ряд прежних наблюдений и замечаний, подчас поражающих всею проницательностью.

По поводу наводнения 30—31 августа 1703 года А. И. Репин писал «зело у нас жестока погода с моря и набивает в нашем месте, где я стою с полками, воды аж до моего станицши» (лагеря).

20 сентября 1706 г. Петр I, как уже указано, сделал первое измерение высоты подъема.

21 ноября 1716 г. был жесткий NNW (сев.-сев.-западный) и N (северный) шторм в Ревеле, по вредивший гавань и несколько судов. Между тем, адмирал А. И. Нагасв, в октябре приехавший в Петербург, писал «что(-бы) от нее (воды) вреда было в С.-Петербурге, того я ни от кого не слышал и сам не видал», т.-е. наводнения при этом ветре не было.

16 ноября 1721 г. «выступила Нева с жестокостью из берегов своих»; ибо 9 дней сряду продолжался *жесточкий ветер от юго-запада*. После этого наводнения был издан указ: как вода начнет прибывать, то весь рогатый скот и лошадей стсылать в лес (вероятно, по «Невской перспективе» за Фонтанку), сь этим указе мгние вспомнили еще при наводнении 1824 г. Петр I воспользовался случаем продемонстрировать достоинство вводимых им судов нового типа и «тешилс лавирами» (ходил против ветра) на буере (одномачтовсе судно) по адмиралтейскому луку в такую погоду, когда рыбацьи суда могли ходить только по ветру.

12 ноября 1726 г., в 7 ч. поутру «настал жесточкий ветер от юго-запада, продолжался в сней силе 6 часов». Поднимающаяся вода выгнала караул в Криштатдскый цитадели из всех смещений, и си стсживался на пушках, окачиваемых морскими валами через бруствер. *До самой полуночи* «пребывали мы в отчаянии живота» (вода поднялась вечером, час в 12 после начала шторма).

Вслед за этим наводнением был указ: строитьс на 1 фут выше уровня, дсс. игнугото наводнением.

21 сентября 1736 г. были затоплены почти все части города. Ветер дул ст запада с такою «жестокостью», что по наблюдениям оказалось, что он прсбегал в сдну секунду 123 ф. (= 35 метрсв, ураган).

28 августа 1744 г. жесточкий NW (сев.-зап.) ветер поднял воду на 7 фут., а 20 сентября (сильный восточный ветер выгнал всю воду из каналов. После сбеда влер начал отходить и, устанывая от юго-запада, дул с «неимсверной жестокостью» всю ночь. Крафт гсврит, что наводнение было счень велико, но высоты не указал. Это последнее и на самом деле очень опасное положение, так как слхлынувшая вода скплняется у герла Финского зал., а после поворота ветра к западу гонится на Ленинград.

2 ноября 1752 г. при западном ветре был подъем до 8 ф. 5 дм., отмеченный на крепостных востях. Весь город был затит до Литейнсй части, наводнение было мгнсвенное: в 10 ч. вечера начался жесточкий шторм, а вскре после полуночи вода сбыла с тою же быстротой. 9 ноября при умеренном западном

ветре вода поднялась на 6 футов и простояла целые сутки; впоследствии получено было сведение, что в Балтийском море был жестокий юго-западный ветер.

Бедственность наводнения 21 сентября 1777 г. сбывается помимо высоты (10 ф. 7 дм.), необычайною быстротою подъема и ранним часом дня. С полудня засвежел западный ветер с порывами, продолжавшимися до 7 ч. утра. В 5 ч. утра Нева выступила из берегов (это бы соответствовало подъему окло 7 фут.), в 6 час. подъем достиг наибольшей высоты—10 ф. 7 дм., к 7 ч. вода упала на 1 ф., а в полдень вошла в берега. В Шлиссельбурге же, наоборот, наблюдался такой сильный выгон воды, что все суда смелели. В Балтийском море накануне был жестокий SW (юго.-зап.) шторм.

После этого наводнения появились сигналы о подъемах: флаги днем, фонари ночью, стрельба из пушек.

Вместе с тем появляются указания на официальные футштоки—в Адмиралтействе, у Калинкина моста, в Галерной гавани и у Подзёрного дома и на дежурства при них с 15/27 августа до ледостава. По всем футштокам определены отсчеты, соответствующие ординару, и жителям сбывлялись, что «когда в Коломнах и в Галерной гавани вода на берега выходить начнет, то будет дан сигнал из Подзёрного дома и Галерной гавани 3 выстрелами, поднятием красного флага, а ночью 3 фонарей», кроме того, должны в этих местах ходить барабашники и бить тревогу, «а на Адмиралтейском шпиге поднимались красные флаги, а ночью по одному фонарю, чтобы спсвестиь остальные части города о заливии Коломен и гавани и чтобы жители последних возвращались домой». «В случае повышения воды до такого градуса, что может прилиться и внутрь города, тогда для всех в оном жителей сделан будет сигнал с Адмиралтейской крепости пятью выстрелами из пушек и выставлены будут на Адмиралтейском шпиге, со всех 4 сторон, днем—белые флаги, а ночью по два фонаря... по сей стрельбе к побуждению жителей к предосторожности будут бить в Адмиралтействе в колокол».

След этих распрямлений держался до последнего времени: флаги и фонари выставлялись на Адмиралтействе, а стрельба—с ликвидации Адмиралтейской крепости—была перенесена в Петропавловскую.

После этого наводнения Вауэром был составлен гидрографический план Петербурга.

Таким образом, из этого краткого перечня можно видеть, как постепенно складывалось понятие об условиях, необходимых для созидания наводнения с одной стороны, а с другой—рост мероприятий для точной регистрации высоты подъема, для спсвещения жителей и для «вещного спасения людей».

Что касается ветра, то систематически подтверждалось,—по крайней мере, в большинстве случаев средних по величине и всегда при крупных подъемах,—первое наблюдение о наличии «жесткой погоды с моря». Дальше идут определения и самых опасных румбов SW (юго.-зап.) и W (западный). Встречаются указания о наводнении при NW (северо-западном) шторме, но с другой стороны, такой же шторм в Ревеле (1716) подъема не вызвал.

Первое измерение высоты воды сделано в 1706 г., а тридцать лет спустя ограничена скорость ветра в секунду.

Указы появляются с 1711 г., сначала основанные на местных особенностях по опыту старожилов, а затем выливаются в широкую программу службы

«повешений, с составлением гипсометрического плана города и установкою постоянных футштоков».

Есть и научные объяснения: уже в 1777 г. писалось: «Ладужское озеро лежит гораздо выше поверхности Балтийского моря; итак, с одной стороны, течение реки, с другой, напротив, гонимая вода из моря сугубо Неву подавляют; сие умножают еще находящиеся в ней пороги. Место сей реки, наиболее подверженное сему приключению, находится между С.-Петербургом и Кронштадтом где она течет с большою быстротою».

О таком же «высшем пункте», где вода сдавливается и потому поднимается, между С.-Петербургом и Кронштадтом, писал 17/29/XII 1824 г. академик Шуберт.

Отсюда видно, что участию реки в созидании наводнения прилавали в то время большое значение: она быстро (благодаря порогам) подавала воду с одной стороны, а с другой стороны—с моря—гонимая ветром вода накоплялась в Кронштадтской бухте, Нева не в состоянии была преодолеть этой преграды, и наступал момент, когда *воды реки* поворачивали назад или, как писал А. С. Пушкин в «Медном Всаднике» (1833 г.) «Нева... обратно шла гневна, бурлива и затопляла берега».

Теперь мы знаем, что это не так. Но вместе с тем уже в 1752 г. было принято во внимание совершенно правильное замечание, что юго-западный шорм на Балтийском море—на расстоянии 600 клм. от Ленинграда—служит началом подъема у нас. Образовавшаяся при таком шторме волна входит в Финский залив, декатывается до Кронштадтской бухты, здесь высота увеличивается—частью вследствие значительного уменьшения ширины бухты по сравнению с заливом, а частью вследствие уменьшения глубины, и затем эта волна входит в Неву, поднимая ее уровень.

Подобное же явление наблюдается на многих реках, в устье которых входит *приливная* волна, и колебания уровня, происходящие при этом, настолько мешают всем погрузочным операциям, что с давних времен морские порты, расположенные на реках, строили в таком расстоянии от устья, где влияние этой волны сканчивалось. Так построены Лондон, Париж и др. города—порты средневековья.

Особенно типичным бывает появление этой волны на р. Сене, где она носит название «маскара», на р. Амазонке («перероке»), на р. Мезени.

Появление такой волны в реке существенно, однако, отличается от наших невыхских наводнений своим, можно сказать, мгновенным появлением и таким же исчезновением. У нас подъемы длятся часами и это надо отнести за счет силы и направления ветра, той «жесткой погоды с моря», о которой говорилось выше. Это явление также известно в других странах и носит название «штормовых наводнений» (Sturm Flut); в качестве общезвестного примера можно привести наводнения на Эльбе у Гамбурга или грандиозные наводнения в устье Ганга и китайских рек при ураганах, уносящие десятки тысяч жертв.

Такие штормовые наводнения сказываются не только на реках, конечно, но и на большом протяженном берегу—известно, например, что тот изрезанный веточный берег Немецкого моря, который мы видим на картах, обусловлен штормовыми подъемами 13-го и 14-го века нашей эры, и что такие же штормы в 5-м и 7-м веках до нашей эры вместе с сопутствующими явлениями (наводне-

ния, захлаживания, развитие болезней, разрушения и проч.) послужили толчком к переселениям целых народов.

Данные наблюдений—как у нас в Балтийском море и Финском заливе, так и в Немецком море—показали, что при штормовых ветрах действительно образуется в открытом море волна, происхождение которой может быть прослежено по ряду стаций, снабженных водными рейками (футштоками) или еще лучше—сампишущими приборами (марс-графы или лимниграфы, отмечавшие высоту уровня воды в море или реке). Существуют даже особые службы спешивших определенных мест о приближении к ним такой волны.

Поскольку волна идет по открытому морю, ее передвижение и самое существование зависит от направления и силы ветра, но при вступлении волны в проливы между островами или при ударе ее о берег, такая простая зависимость нарушается и при соответствующих условиях волна может начать двигаться обратно, против ветра, если сила последнего недостаточна, чтобы удержать всю массу нагнанных вод у берегов. Если штормовые ветры держатся в течение более или менее длительного времени, то и подъем воды соответственно затягивается.

Таким образом, началом наших наводнений служит волна, образующаяся на Балтийском море и под влиянием южных и юго-западных ветров перемещающаяся вдоль него с юга на север. Подходя к горлу Финского залива, такая волна встретит препятствие к своему дальнейшему пути на север (т. е. в Ботнический залив) в гряде мелких и крупных островов у юго-западного угла Финляндии и в Аландских островах.

Для осуществления наводнения необходимо, чтобы в момент нахождения волны у горла Финского залива ветер стал бы западным и возможно дольше держался бы этого направления. Тогда волна получает толчок для входа в залив и для дальнейшего продвижения вдоль него к Крестштадту и для вхождения в реку Неву.

Если же ветер быстро переходит с западных направлений на северо-западные и северные, то наводнение быстро уменьшается в размерах. Случай такого рода был, например, 29 августа 1833 г., когда вода, несмотря на ураганную силу ветра, не поднялась выше 5 фут. из-за перемены его на северный.

Насборст, знаменитое наводнение 7/19 ноября 1824 года протекало при юго-западном и западном ветре; Нева всю ночь держалась на высоком уровне; с 10 час. утра началось затопление горла, в 2 часа вода достигла наибольшего уровня, на котором держалась около  $\frac{1}{4}$  часа, и лишь затем стала стремительно падать. Есть свидетельства современников этого события, что ветер в течение 12 час. подряд не менял своего западного направления.

Эти два основных условия наводнений—с образованием волны в Балтийском море, пригоняемой южными и юго-западными штормовыми ветрами к горлу Финского залива, и затем поворот ветра к западу и его длительное действие вдоль Финского залива—существуют не часто. Или образовавшаяся волна при смене ветра к западу не гонится к востоку, или же западные ветры гонят воду только Финского залива. В том и другом случае бывают только подъемы воды, высота которых зависит от силы ветра, но даже и при ураганах—как показывают наблюдения—вода в таких неподноженных случаях не поднимается выше семи футов.

С другой стороны, можно приблизительно считать, что если два основных условия выполнены, а сила ветра доходит до ураганной, то подъемы могут достигать по крайней мере двуслойной высоты, т. е. около 14 футов.

Сила ветра определяется по 12-балльной шкале английского адмирала Бофорта, при чем 9 обозначает шторм, 10—сильный шторм, 11—жестокий шторм («жестокая погода») и 12—ураган, когда скорость ветра 34 и более метров в секунду, т. е. 122 километра в час—скорость наиболее быстрых пездов.

Уже давно было установлено, что ураганной силы ветер достигает в сравнительно небольших по диаметру вихрях, встречающихся главным образом под тропиками—антильские ураганы, циклоны Индийского океана, тайфуны Китайских морей. И можно принять, как общее правило, что сила ветра тем больше, чем меньше диаметр вихря. Таким образом вместе с переходом к ураганной силе ветра мы переходим к таким малым вихрям (в наших широтах), которые могут быть вырисованы на наших картах погоды лишь по получении записей самопишущих приборов с целой сети станций.

Примером именно такого рода служит наводнение 1924 года 23-го сентября—первое большое наводнение, протекшее при довольно полном научном освещении.

В этом наводнении следует различать три момента. В 10½ ч. утра через Ленинград прошел штормовой силы шквал с силою ветра до 23 метров в секунду (9 баллов) и вода начала подниматься; обусловлен он был вихрем, на 7-час. карте занимавшим место в 200 км. западнее Ленинграда (скорость движения вихря около 60 км. в час).

На той же карте был виден второй вихрь, расположенный между Аландскими островами и Стокгольмом и пришедший к нам в 1½ ч. дня (скорость около 85 килом. в час). Вода поднялась до 5½ фут. (к 1 часу дня) и подъем остановился на 5¾ фут. Сила ветра стала стремительно падать.

Путь этого вихря удалось проследить по полученным из-за грашипы копиям записей хода барометра довольно точно: в 8 час. вечера накануне он был в Копенгагене, в 1 ч. ночи на 23-е в Иончёпинге, в 2 ч. ночи в Линчёпинге, в 5 ч. утра в Стокгольме, в 7 ч. утра на Аландских островах. Все кривые хода барометра представляются совершенно гладкими, без каких-либо зазубрин (след прохождения мелких вихрей), кроме Линчёпинга, где эти зазубрины появились с 4 часов утра и продолжались до 10 ч. утра.

На 7-час. карте намечался третий вихрь между островами Готландом и Эзелем с ураганным западным ветром в Виндаве. Наличие этого вихря должно было и действительно ослабить наводнение, вызванное вторым вихрем.

После 3½ часов дня вода стала стремительно подниматься при ослабевшем ветре, а через час ветер резко усилился и достиг редкой у нас силы—40 метров в секунду,—типичной лишь для ураганов. Вместе с тем на гладкой кривой хода барометра появились резкие зазубрины, соответствующие прохождению мелких вихрей, быть может, даже смерчей. Кругом Обсерватории начались поломки; свалилась сигнальная мачта, со здания Горного Института свалились листы с крыши, повален был забор вдоль Масляного протока. Неоднократно наблюдались прсбегающие по реке белые пятна (основания смерчей) и самый цвет воды в реке изменился на песочный от размыва песочных мелей на взморье. Один из наблюдателей в окрестностях города (В. И. Карпов в Левашове) видел небольшую стайку черных стрижей, беспокойно летавших около 11 ч. дня—



они были унесены ураганом откуда-нибудь с берегов Балтийского моря, так как от нас они улетели в конце августа.

Запись силы ветра показывает три усиления ветра между 4 и 9 часами вечера, а наибольшая высота воды—12 фут. 1,2 дм.—была в  $7\frac{1}{4}$  ч. вечера. Таким образом, для этого подъема нужна была ураганная сила ветра, пригнавшая новую волну подъема на уже осуществившийся подъем в 6 футов. Для этого потребовались два толчка в 40 и 32 метра в секунду, но ветер в 30 метр. в сек. не был в состоянии удерживать воду на прежнем уровне и она стала стремительно падать—стремительнее, чем даже поднималась.

За отсутствием пока данных из Эстляндии нельзя определенно говорить о пути урагана этого, но наиболее вероятным представляется, что, возникнув у Линчепинга, где имеются его первые по времени следы, он к 7 час. утра был у Рижского залива и шел южнее Финского залива, конечно, не вызывая подъема, а производя разрушения на материке, сопровождаемые грозами и ливнями; псевдимоу, около Нарвы он распался на отдельные вихри, часть которых продолжала следовать на восток, а часть вошла в систему второго вихря, где-нибудь около Лужской губы. С этого момента вихри стали гнать перед собою воду, которая и составила вторую волну, наложившуюся на 6-футовый подъем.

Интересно отметить, что—как в настоящих ураганах—волна воды пришла раньше, чем ураган, ее вызвавший.

Наблюдения финляндских станций показали прохождение только одной волны с запада на восток—ст Аландских островов, гребень которой совмещается с нашим 6-фут. подъемом. После же  $7\frac{1}{4}$  час. вечера гребень отхлынувшей волны пришел с востока на запад—через те же станции, и спустя 6 ч. достиг Аландских островов. Оба подъема на кривых финляндских станций гладки, тогда как кривые Кронштадта и Ленинграда показывают определенную двойственность подъема.

В пятницу 19-го сентября, т.е. за 4 дня до большого наводнения, над Галернсю гаванью прошел вихрь очень небольшого диаметра (смерч) и произвел ряд разрушений на северо-западной окраине Вас. Острова; сила ветра доходила до 22,6 метр. в сек., а вода поднялась до 4 фут. выше ординара.

После этого наводнения опять поднялся старый—как мы видели—вопрос о влиянии Ладсги, и даже указывался размер этого влияния в 2— $2\frac{1}{2}$  фута.

Разница между подъемом воды в Кронштадте и Ленинграде равнялась ныне 1 футу 9 дм.; при предположении влияния Ладсги в таком размере, как 2— $2\frac{1}{2}$  фут., нужно принять, что высота морской воды в Кронштадте была бы выше, чем у нас. Это невозможно в силу подъема дна бухты по направлению к Ленинграду и сужения протока при переходе из открытой бухты в реку. И при прежних больших наводнениях эта разница (в пользу Ленинграда) давала величины, близкие к 1 фут. 7 дм., так что разница нынешнего года не представляет ничего выдающегося.

Б. Мультановский.

# Последние достижения науки и техники.

## Непрерывность технического прогресса.

Глядя на современные блестящие успехи техники: скорые поезда, автомобили, океанские пароходы, самолеты, массовое производство на фабриках и заводах, электрофикацию, успехи радио и т. д. и сравнивая все эти гигантские достижения современной техники за последние 100 лет с ее младенческим состоянием в предыдущие века и тысячелетия, многие, естественно, задают себе вопрос—не достиг ли уже технический прогресс высшей кульминационной точки, остались ли еще на нашу долю и будущих поколений какие-нибудь крупные открытия и изобретения, или же им только придется, так сказать, отделять детали наших гигантских изобретений, совершенствовать их в мелочах?

Но такое суждение, конечно, поверхностно и легко может быть опровергнуто действительными фактами. «К несчастью» или «к счастью», но работы нашей смены и грядущим поколениям осталось очень много, гораздо больше, чем сделано.

Прежде всего наше время есть время переоценки всех ценностей на базе экономики. А с экономической точки зрения, громадное большинство машин, составляющих основу нашей материальной культуры, машин, которыми мы так гордимся, является крайне несовершенным.

На Британской выставке 1924 г. в Лондоне, в инженерном дворце, были выставлены—гигант, 3.000-сильный новейший курьерский паровоз и, рядом с ним, построенный сто лет тому назад, один из первых паровозов Стефенсона, кажущийся перед первым жалкой игрушкой. Однако, его сосед-гигант, воплотив в себя всю столетнюю сумму технического ума и коллективного творчества в данной области, является в свою очередь весьма убогим в экономическом отношении, потому что превращает в движущую энергию всего 8—9% от всей энергии, развиваемой сжигаемым в его топке топливом. А что значит это с точки зрения народного и мирового хозяйства?

Это значит, что десятки тысяч таких паровозов (в большинстве, еще более несовершенных экономически), непрестанно день и ночь движущихся по железным дорогам всего земного шара, уничтожают *девятьюстами процентов* тяжелого рабочего труда в угольных копях всего мира, выпускают их непроизводительно в трубу в виде дыма! Почти так же обстоит дело со многими другими машинами и двигателями, разница только в процентах используемой энергии.

Наука уже давно изучает это неутешительное явление, борется с ним, но в большинстве случаев оказывается, что техника уже подошла к предельным величинам той энергии, которую можно выжать из данной категории машин, напр. паровозов и вообще паровых машин, и потому

она заменяет более совершенными экономическими типами, напр. паровозы—тепловозами, электровозами и т. д. Но и последние тоже не представляют «идеальных» машин, их так наз. «коэффициент полезного действия» тоже ограничен пределами и притом не особенно высокими. Так, напр., коэффициент полезного действия современных нефтяных двигателей Дизеля не превышает 35%,—это значит, все-таки, что около двух третей развиваемой топливом энергии теряется бесполезно.

Таким образом, уже в этой области открывается дальнейшее широкое поприще изобретателям и конструкторам последующих годов и поколений.

Но экономический учет и оценка машин, создающих энергию для мировой промышленности, этим не ограничиваются.

Возникает вопрос о потенциальных запасах энергии, преобразовываемых в этих машинах, и в первую очередь, в виду подавляющего преобладания в технике *тепловых* машин-двигателей, об имеющихся запасах *топлива*, о том, надолго ли их хватит, о правильном их использовании.

Революция и начавшееся с 1921 года экономическое возрождение нашей страны дали могучий толчок к практическому разрешению этих вопросов в нашей стране в виде созданного советским правительством грандиозного плана *электрфикации*. Этот план, в настоящее время уже осуществляемый, имеет целью не только широкое повсеместное применение электрической энергии, но и широкое использование малоценных местных топлив (бурого угля, торфа, угольной мелочи), а также замену, где можно, паросильных установок водяными—Волховстрой.

В настоящее время не только Советская Россия, но и буржуазная заграница, подходит к запасам топлива в стране, раньше представлявшим фетиш частной собственности, с государственной и даже с международной точки зрения.

Так, в первой половине июля, на упоминавшейся уже Британской выставке состоялась «всемирная силовая конференция», одной из поставленных задач которой было изучение промышленных и научных источников силовой энергии *в каждой стране, в государственном и международном масштабе*; изучение источников твердого и жидкого топлива и водяной энергии различных стран.

С другой стороны, не тем ли самым объясняется ожесточенная борьба так наз. «мировых держав» за нефть, являющуюся самым лучшим и самым ценным топливом для паровых котлов и двигателей внутреннего сгорания?

Но в более отдаленном будущем технике, возможно, будут предъявлены, кроме экономических требований, еще требования совершенно нового рода—*моральные*. В будущем социалистическом обществе будут стремиться к тому, чтобы труд был не тяжелой работой, а доставлял то же духовное наслаждение, какое доставляет в известной обстановке труд умственный или художественный.

Труд углекопа, сколько бы ни уменьшали его продолжительность и ни применяли усовершенствованные машины, никогда таким не станет, а потому наши потомки, быть может, совсем упразднят паровые котлы и заводские печи, но для этого им придется создать равноценный эквивалент, и на месте Донбасса, который с таким напряжением подымало с 1921 г. советское правительство, будут лишь расстигаться бесконечные хлебные поля и виднеться надписи о том, что «здесь был Донбасс!».

Таким образом, в будущем, как более близком, так и более отдаленном, науке, технике и изобретателям дела будет еще очень много. Современная наука и техника намечает только веки этой работы: расширение использования водяной энергии и электропередачи, утилизация морских волн, приливов, использование солнечной энергии, внутреннего тепла земного шара, радиопередача силовой энергии и т. д. и т. д. Это—более близкие веки, а более отдаленные еще и не видны, и не угаданы.

## Теплоходы и тепловозы.

*Производство—транспорт—связь:* вот могучие устои современной материальной культуры, и в этих областях, главным образом, концентрируются все новейшие открытия и достижения техники.

Начнем с транспорта, без которого не может существовать и промышленность, которой необходим дешевый и беспрепятственный подвоз топлива и сырья, удобный и дешевый сбыт произведенных товаров внутри страны или же вывоз их за границу. В развитии современного механического транспорта мы все время наблюдаем борьбу более экономичного двигателя внутреннего сгорания с менее экономичной паровой машиной или турбиной; о значении этой борьбы уже было сказано выше.

Только благодаря применению легкого бензинового двигателя могли развиваться автомобилизм и авиация. В среде водного транспорта постройка моторных судов—*теплоходов*—с каждым годом делает все большие и большие успехи. Начавшись впервые в 1904 г. у нас на Волге и Каспии, она с 1911 г. началась и за границей, где в настоящее время достигла больших успехов, особенно в таких странах, как Англия, Соединенные Штаты, Швеция, Германия.

Теплоходы представляют то большое преимущество, что расходуют в 3—4 раза меньше топлива, могут проходить большие пространства, не грузя вновь топлива, и не имеют паровых котлов. Современный морской грузовой теплоход с двигателями Дизеля настолько экономичен в расходе нефти, что со своим запасом может совершить кругосветное плавание через Панамский канал, не возобновляя запасов топлива.

Особенно большие успехи в морском теплоходстве за последние годы сделала Англия. Пережив в 1921—1922 г.г. значительный экономический кризис, она обратила особое внимание на удешевление эксплуатации морского транспорта, составляющего основу ее колониального могущества, и ее судостроительные заводы теперь строят, главным образом, теплоходы. Еще недавно она ограничивалась исключительно грузовыми и наливными теплоходами с мощностью моторной установки не больше 5.000—6.000 сил, но, с текущего года приступлено также и к постройке больших и быстроходных пассажирских теплоходов. Так, на верфи Ферфильда в Глазго, спущен на воду и заканчивается отделкой громадный пассажирский теплоход «Aoranga», который будет совершать рейсы от Англии до Австралии и Новой Зеландии. Длина этого теплохода 177 метр., наибольшая ширина 22 м., водоизмещение 22.000 тонн, скорость 18 узлов (31 верста в час). Теплоход оборудован четырьмя двигателями Дизеля общей мощностью 14.000 сил и берет 407 пассажиров I класса, 379—II и 295—III, всего 1.081 чел.; пассажирские помещения отличаются роскошью и комфортом и расположены в четырех этажах.

До сих пор такие большие океанские суда строились только паровыми.

Широкое развитие теплоходства нашло себе отклик и в железнодорожном транспорте, где уже делаются попытки заменить неэкономичные в расходе топлива паровозы *тепловозами*, т.-е. локомотивами с двигателями Дизеля вместо паровой машины и котла. Однако, применение здесь двигателей Дизеля наталкивается на значительно большие затруднения, чем на судах. На последних двигателях Дизеля соединяется непосредственно с гребным валом винта, на тепловозе же он по техническим условиям не может работать непосредственно на ведущие колеса, как паровые цилиндры паровоза, а требуется передача движения от двигателя, расположенного отдельно. У одних изобретателей применена *электропередача*, т.-е. двигатель работает на динамо, посылающую ток в электромоторы, приводящие в движение ведущие колеса так же, как у моторного вагона трамвая. Это будет не только тепловоз, но и авто-

номный *электровоз*, т.-е. не зависящий от внешней электрической сети, а вырабатывающий электрический ток внутри самого себя.

В другой системе двигатель Дизеля приводит в действие *компрессор*—воздухонагнетательный насос, вырабатывающий сжатый воздух, работающий в цилиндрах, устроенных, как обыкновенные паровозные.

У нас уже построены три тепловоза по обеим системам (с некоторыми видоизменениями); один из них, построенный профессором Ломоносовым в Германии, теперь испытывается.

Однако, можно сомневаться, получают ли тепловозы такое широкое применение, как теплотходы, в виду того, что дальнейшим и частично достигнутым уже этапом технического развития железных дорог является их *электрофикация*. Электрофикация выгодна тем, что при ней значительно упрощается конструкция и постройка локомотива, который превращается в *электровоз*, представляющий собой моторный вагон трамвая увеличенных размеров и без пассажирского помещения, далее, является возможность постройки электрических станций, питающих током электрофицированную железную дорогу, работающих на дешевом местном топливе, а также получается целый ряд других технических преимуществ.

За границей электрофикация железных дорог достигла значительных успехов. В Соединенных Штатах имеются электрофицированные железные дороги, длина которых достигает до 1.000 км.

Еще на большем протяжении электрофицирована сеть южно-африканских ж. д.

На Британскую выставку привезен оттуда целый скорый электропоезд, на котором современный путешественник с полным комфортом может доехать до знаменитого водопада «Виктория» на реке Замбези, где когда-то такие знаменитые путешественники, как Ливингстон, пробирались среди джунглей пешком, страдая от тропической лихорадки, увязая в болотах, подвергая ежеминутно опасности свою жизнь.

Планом электрофикации СССР в дальнейшем также намечена постройка мощных электрофицированных железнодорожных магистралей—в первую очередь от Москвы до Донбасса. Одним из самых мощных в мире электровозов является пассажирский *электровоз Вестингауза* в 4.000 сил, курсирующий на 1.000-километровой электрической линии Чикаго—Мильвоки; скорость его достигает 108 км. в час.

Американские ж. д. имеют также мощные товарные электровозы, могущие везти по ровному месту поезд весом в 11.000 тонн.

### Успехи воздушных сообщений.

От тепловозов и электровозов перейдем к авиации—воздушному транспорту, самому юному на земле, насчитывающему только 21 год своего существования. Успехи авиации общепризнаны и общеизвестны; в послевоенное время они выражаются главным образом на поприще мирного применения в виде воздушных почтово-пассажирских сообщений.

Вся Западная Европа покрыта густой сетью воздушных сообщений; начинает покрываться ею и СССР, а в Америке имеются уже трансатлантические воздушные линии, тянущиеся на протяжении 4.000 км. через всю Америку, от Атлантического до Тихого океана. Проблема регулярных воздушных сообщений над сушей уже благополучно решена, но проблема сообщений над океанами еще очень далека от своего разрешения.

До сих пор совершенно только два перелета на самолетах через Атлантический океан в Северном полушарии, перелет на самолете из Португалии в Бразилию и два перелета через Атлантический океан на дирижаблях, при чем один из них совершен в Германии в Америку в октябре 1924 года. Все они были совершены в разное время, сопровождались большими трудностями и не решают еще удовлетворительно задачи воздушных сообщений через океан.

Самолеты обладают очень малой продолжительностью полета без спуска, без возобновления топлива.—обычно, всего несколько часов. Конечно, можно взять бензин в добавочные баки, но это будет уже в ущерб грузоподъемности, за счет пассажиров. Так достигаются рекорды продолжительности без спуска, напр. последний рекорд 37 час. 59 м. 10 сек., достигнутый французскими летчиками в июле 1924 года на самолете Фарман.

Несмотря на такую малую продолжительность полета самолета без спуска, на них пускаются в очень далекие перелеты (с посадками в пути), из одной части света в другую и даже вокруг света.

Из таких дальних перелетов, совершенных в последнее время, заслуживает внимания перелет наших военных летчиков из Ташкента в столицу Афганистана—Кабул, причем им пришлось перелететь горный хребет Гиндукуш высотой около 4.000 м. Затем интересен перелет французского летчика Пеллетье Дуази из Парижа в Токио через Турцию, Сирию, Персию, Индию, Сиам и Китай—всего 20.750 км. т.-е. более половины экватора земного шара в 44 дня, и морской полет вокруг Австралии.

В сентябре этого года закончился первый в мире кругосветный перелет, совершенный американцами. С целью возможно сократить полет над водным пространством были выбраны самые узкие места Тихого и Атлантического океанов—от Аляски до Камчатки через Командорские острова и от Европы до Америки через Исландию и Гренландию.

С другой стороны, составители маршрута сильно отягчили летчиков, умышленно избегая Советской России и Сибири, заставив их огибать с юга всю Азию и после холодов Камчатки испытать палящий зной в Индии и Аравии, что отозвалось тяжело как на летчиках, так и на самолетах, материал которых пострадал от резкой перемены климата и температуры. В результате из четырех вылетевших самолетов долетел лишь один. Весь перелет составил 41.000 км., т.-е. более окружности земли по экватору. Вот какие быстрые успехи делает авиация, существующая лишь 21 год.

Успех первого кругосветного перелета создал проект постоянного кругосветного воздушного сообщения на самолетах и дирижаблях в 17 дней, по следующему маршруту: Лондон—Париж—Константинополь—на самолетах; Константинополь—Австралия—на дирижаблях, Австралия—Сан-Франциско—на дирижаблях, Сан-Франциско—Нью-Йорк—на самолетах, Нью-Йорк—Лондон—на дирижаблях. Авиаторы, кроме того, мечтают сильно увеличить скорость полета и сократить его продолжительность, летя на большой высоте, где плотность воздуха крайне незначительна, а потому и сводится до минимума его сопротивление движению аэроплана.

Вследствие сильного разрежения воздуха, летчикам на большой высоте приходится дышать кислородом и, кроме того, мощность двигателя, вследствие уменьшения веса всасываемого воздуха, необходимого для горения топлива в определенном весовом отношении, резко падает.

Впрочем, теперь изобретены и уже испытаны особые приборы—турбокомпрессоры—турбинные воздухонагнетательные насосы, которые вдувают в карбюратор (прибор, приготовляющий для двигателя горючую смесь паров бензина и воздуха) в большом количестве воздух и тем самым компенсируют его меньшую плотность.

Шведские авиоинженеры уже мечтают о постройке самолета с двигателями общей мощностью 2.000 сил (что вполне возможно), который, поднявшись на высоту 16 км., сможет развить скорость 1.800 км. в час, при которой можно в два часа перелететь из Европы в Америку и в 20 мин. из Москвы в Ленинград.

При такой скорости полета самолет летел бы скорее солнца (т.-е. вращения земли), и пассажиры, вылетев днем, видели бы, как солнце постепенно склоняется к востоку, и полдень сменяется утром.

Конечно, летчик и пассажиры на таком самолете должны находиться в герметически закрытой каюте и дышать воздухом, пополняемым из запасов жидкого воздуха. Но тут есть еще одно серьезное затруднение: самолет всякой системы имеет свой «потолок» — предельную высоту полета, зависящую от того, что разрежение атмосферы по мере подъема ввысь увеличивается и, следовательно, уменьшается поддерживающее действие воздуха на крылья самолета.

Впрочем, летчиками уже поставлен рекорд высоты 12.030 м., так что надо надеяться — недалеко время, когда они прибавят к нему еще 4 километра. В октябре этого года был также совершен перелет построенного немцами для Америки цеппелина из Германии в Соединенные Штаты. Этот воздушный корабль — наибольший в мире: его вместимость 70.000 куб. метров, длина 200 м.; он снабжен 5 двигателями по 400 сил, которые дают ему нормальную скорость 108 км. в час и наибольшую — до 130 км.

Перелет на нем пришлось долго откладывать из-за продолжавшихся долгое время штормов в Атлантическом океане.

Вообще сомнительно, чтобы применение дирижаблей разрешило проблему воздушных сообщений через океан, почти неразрешимую для современных самолетов вследствие небольшой продолжительности их полета без спуска.

Дело в том, что дирижабли вследствие своих громадных размеров и площади давления на них воздуха во время частых на море штормов подвергаются серьезной опасности, в то время, как большой трансатлантический пароход опаздывает всего на несколько минут из-за шторма. Между тем, вышеупомянутая задача очень заманлива. Самые быстроходные пароходы, вследствие испытываемого их корпусом громадного сопротивления воды, оказываются весьма тихоходными по сравнению с поездами. Самый большой и скорый трансатлантический пароход совершает переход через Атлантический океан около 5½ суток. Применение дирижаблей позволило бы сократить этот срок в два — два с половиной раза, а применение самолетов — уменьшить продолжительность путешествия до 16 — 18 часов.

Будем, впрочем, надеяться, что изобретение Флетнера, о котором прошумели все газеты, ускорит скорость судов или, по крайней мере, сильно сократит расход на них топлива.

## Новые ветряные двигатели и электрические станции.

Изобретение представляет две вращающихся высоких и узких башни, установленных на судне вместо мачт. При ветре, дующем сбоку башен, вследствие вращения башни, подсасывающего воздух, получается разность давлений воздуха с обеих сторон башни; эта разность давлений действует перпендикулярно направлению ветра и должна двигать судно вперед.

На основании появившихся до сих пор сообщений трудно дать точную оценку нового изобретения; надо подождать результатов практических над ним опытов, и тогда уже можно судить о том, представляет ли оно переворот в области механического водного транспорта, или нет.

Во всяком случае, это изобретение создает двигатель, использующий энергию ветра совершенно новым способом; кроме того, оно может быть применено и на берегу для создания мощных ветросиловых станций в тысячи сил, в то время как существующие ветряные двигатели имеют очень небольшую мощность, несколько десятков сил максимум, и потому имеют весьма ограниченное применение.

Пока главное применение имеют теплосиловые станции, достигающие громадных размеров, несмотря на громадный расход при этом топлива. Таковы, напр., открытые в этом году в Америке гигантские «сверхстанции» «Саус Керри» и «Кэхокки».

Первая из них построена для электрофикации штата Нью-Джерсей, общая мощность ее паровых турбин 410.000 киловатт, т.е. свыше полмиллиона лошадиных сил!

Другая станция открыта еще частично, при полной нагрузке она будет развивать мощность 320.000 сил, мощность каждой паровой турбины 40.000 сил.

Интересно, что уголь на этой станции сжигается в виде порошка, получаемого на особых дробильных машинах. Угольный порошок вдвигается в топку через особые форсунки, действующие сжатым воздухом, и сгорает без всяких остатков, как нефть, и без дыма.

Расход угля в сутки составляет 2.880 тонн, а в год—свыше миллиона тонн—шестидесяти двух миллионов пудов!

Правда, станция построена на угольной копи, но такие громадные траты топлива и денег заставляют страны всего мира серьезно задумываться о «белом угле», т.е. об использовании водяной энергии в гораздо большем масштабе, чем до сих пор.

Мы знаем, что у нас это уже начало воплощаться в жизнь стройкой Волховстроя, который будет доставлять энергию всему Ленинграду, а в дальнейшем будет также использована для электрофикации и водяная энергия Днепровских порогов. За границей уже имеются значительно большие гидроэлектрические станции, напр., в Америке, где один Ниагарский водопад дает около миллиона лш. сил. В то время, как в Соединенных Штатах из 28.000.000 сил, которые могут дать ее источники водяной энергии, использовано 7.000.000, у нас из 20.000.000 использовано только 1.000.000.

Такими разнообразными и могучими средствами техника покоряет человеку силы природы, расходуя их на создание материальных благ, но это лишь одна из многочисленных и разнообразных задач, с которыми приходится ей справляться.

## Пути сообщения в мировых городах. Города будущего.

Одной из подобных задач являются пути и средства сообщения в мировых городах, население которых растет с громадной быстротой.

Задача при нынешнем высоком уровне техники решалась бы легко, если бы сам город приходилось строить заново. Но во всяком старом городе задача чрезвычайно осложняется самой конфигурацией города, или узкими улицами, создававшимися ипогда несколько сот лет тому назад, когда населения было в несколько десятков раз меньше, которые по своей пропускной способности совершенно не удовлетворяют настоящему времени.

Возьмем для примера Лондон, в котором этой осенью мне пришлось прожить около месяца. Лондон—это английская Москва. Улицы его прославленного Сити еще уже и запутаннее, чем в Москве. А между тем в Лондоне—9.000.000 жителей, а с пригородами—12.000.000. И потому Лондон в дневное служебное время прямо задыхается в своем уличном движении. Вся узкая улица покрыта сплошь автобусами, таксомоторами и автомобилями—извозчиков и ломовых нет.

Вся эта громадная вереница (по одной с каждой стороны улицы) движется лишь от одного перекрестка до другого; как только полисмей поднял руку, вся вереница замерла, потому что в это время пропускается другая,—ей перпендикулярная, а пешеходы, воспользовавшись остановкой движения, поспешно перебегают через улицу. В помощь трамваям в Лондоне работают 4000 автобусов, обслуживающих 165 маршрутов, но из-за перегруженности центральных улиц, езда на них в деловое время не особенно быстрая. Поэтому те, кому надо ехать быстро: на службу или с нее, по делам и т. д., пользуются подземной жел. дорогой.

Под Лондоном надземным расположен Лондон подземный—целая сеть электрических ж. д.



Войдем на станцию подземки, на которой красуется голубая вывеска «Underground», предварительно выбравши свой маршрут на громадной карте подземных сообщений, вывешенной на стене.

Берем в кассе-автомате или в обыкновенной билет, проходим через контроль и попадаем на бесконечное движущееся железное полотно (движущийся тротуар). Протазив нас метра два, оно вдруг само собой превращается в самодвижущуюся лестницу—эскалатор—увлекающую пассажиров вниз. Чтобы не упасть, с боков устроены перила, движущиеся с такой же скоростью. Рядом такая же лестница тащит прибывших пассажиров наверх. Внизу, в некоторых районах на глубине до 10 сажен, ряд подземных тоннелей, ярко освещенных, снабженных надписями и стрелками—куда идти.

По такому тоннелю пассажиры попадают на подземный перрон; с шумом подлетает к перрону электрический поезд из пяти длинных, комфортабельных вагонов, в каждом вагоне—мягкие поперечные сиденья в два ряда с проходом по середине, на 70 человек.

Как только поезд остановился, моментально широкие железные двухстворчатые двери по середине вагона сами собой раскрываются. Пассажиры внутри не толпятся у них заранее и не вопят, как московская публика в трамваях: «вы выходите, вы выходите?», а быстро, но без суеты и давки, выходят только по остановке поезда; когда выйдет из вагона последний человек, новые пассажиры так же проворно, но спокойно входят. Поезд на каждой станции стоит всего 25—30 секунд, затем раздается свисток кондуктора, двери сами собой захлопываются, поезд трогается и со страшной быстротой мчится под землей в чугунной трубе до следующей остановки, которые довольно часты. Поезда идут каждые две минуты, так что никакого скопления публики на перронах нет. Такое расстояние, как от Смоленского рыска до Сокольников можно проехать в 16—17 минут.

Но существующие пути сообщения не удовлетворяют лондонцев. Лондонские инженеры уже выработали проекты «сверхулиц»—громадных и широких виадуков-мостов, которые на арках можно было бы перекинуть поверх домов над целыми кварталами в наиболее деловых и оживленных кварталах со средневековым расположением улиц.

Однако, обычный консерватизм англичан заставляет их энергично протестовать против подобного проекта, который, по их мнению, обезобразит их «добрый, старый Лондон».

Нью-Йорк—сравнительно молодой и современный город с широкими прямыми авеню и пересекающими их улицами; кроме сети подземных дорог, он имеет и большую сеть воздушных железных дорог и надземных трамваев, тем не менее и там уличное движение переросло город, и там создаются новые проекты его разгрузки.

К одному из таких проектов принадлежит проект «двухэтажных улиц». Над существующими главными улицами на уровне начала второго этажа домов на ряде железных столбов располагается вторая бетонная улица, которая будет служить главным образом для автомобильного движения. Конечно, первые этажи будут затемнены, но в них расположены только магазины и конторы, которые будут тогда работать при электрическом освещении. Если под данной улицей нет подземной ж. д., она будет проведена, и прежняя обыкновенная улица превратится, собственно говоря, в трехэтажную.

В Америке, как известно, часто создаются новые города, иногда растущие со сказочной быстротой, но сохраняющие все недостатки больших центров, где громадное население скучено в каменных громадах и страдает от недостатка света и воздуха.

Учитывая это, а также вышеупомянутый гигантский рост уличного движения, за границей еще до войны приступили к созданию городов-садов, в которых население не скучено, а расселено на большой территории в двухэтажных коттеджах с садами и пользуется усовершенствованными и быстрыми средствами сообщения.

В Англии, напр., на окраинах Лондона раскинулась целая сеть таких городков-садов, но они предназначены для средней и мелкой буржуазии.

Поэтому заслуживает особенного интереса создаваемый в Соединенных Штатах известным автомобильным заводчиком Фордом «город-деревня» для рабочих его громадных заводов. Протяженность этого города будет громадная: 120 килом.—в то время, как диаметр Нью-Йорка составляет всего 31 километр, а Лондона—48 километров.

На этой громадной территории будут разбросаны дома-фермы, которые каждый рабочий и служащий может приобрести с многолетней рассрочкой платежа. При доме находится  $1\frac{1}{2}$  десятины под дом и сад, 3 десятины для огорода и скота и, по желанию, еще от 15 до 30 десятин пашни. Пятидневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день позволяют рабочим в свободное время обрабатывать сад и огород, а для полевых работ весной и осенью будут даваться двухнедельные отпуска. Все сельско-хозяйственные работы будут производиться на кооперативных началах тракторами и другими машинами, которые по окончании работ на одном участке будут переходить на другой, все время непрерывно работая. «Овсяные моторы», т.-е. лошади, будут совсем изнаны из Фордовского поселка и пребывание их там будет строгойше запрещено.

Этот план Форда показывает еще раз его гениальную изобретательность в области эксплуатации и порабощения рабочих масс. Форд своими домами и огородами явно стремится на всю жизнь приковать рабочих к своим предприятиям. Но с технической стороны этот опыт города-сада заслуживает внимания.

## Успехи радио за границей и в СССР.

В предыдущем мы рассмотрели гигантские достижения современной техники, кроме промышленности особенно ярко выходящие себя в современном транспорте. Но сам по себе транспорт кроме перевозки миллионов тонн грузов играет еще важную роль, как могучее *средство связи* между людьми, перевоза или их самих, или письма и литературу.

Однако, лихорадочный, безумный бег жизни с одной стороны, возрастающие в геометрической пропорции международные сношения—с другой, требуют так и из в электротехнике «синхронизации»—совпадающей до мгновения одновременной работы—одновременного темпа жизни как отдельных городов, так и целых стран, что только возможно при помощи мгновенных сношений между какими угодно далекими пунктами.

В XIX веке эта роль выполнялась телеграфом, но в XX мировая телеграфная сеть в силу своей технической структуры оказалась так же перегруженной, как лондонские улицы движением, и вот на смену телеграфу пришло новое могучее средство мгновенной связи—*радио*, которое теперь заменяет не только телеграф, но и телефон.

Не говоря уже о том громадном техническом удобстве, что радиотелеграф и радиотелефон—*беспроволочны*, о чем и не спилось раньше самым пылким техническим мечтателям вроде Жюль Верна, радио имеет то громадное преимущество, что передача по нему может как бы умножаться в тысячи и сотни тысяч раз, т.-е. передача с одной радиостанции может восприниматься *одновременно* десятками и сотнями тысяч аппаратов-приемников, цена которых (для известной, конечно, радиоволны) при массовом производстве настолько упала, что стала доступна каждому; даже у нас такой аппарат стоит  $2\frac{1}{2}$  червонца. Но кроме таких аппаратов, по которым слушать радиоречь или радиомызыку могут одновременно только один или, максимум, два человека, радиотехника выработала так наз. громкоговорители, которые могут одновременно слушать сотни и тысячи человек. Такие громкоговорители из-

вестны и нашим москвичам, слушавшим их на Театральной площади и перед Домом Союзов.

Одним из последних достижений в этой области является гигантский громкоговоритель, построенный германской фирмой Сименса; он снабжен рупором в  $3\frac{1}{2}$  м. длиной и был установлен на крыше, на высоте 30 м. Звуки отчетливо были слышны на расстоянии 800 м. (около версты), несмотря на уличный шум и ветер. Общая площадь территории, на которой звуки были хорошо слышны, составляла около 11 десятин, т.-е. могла вместить на себе толпу около полумиллиона человек.

Но, конечно, гораздо приятнее слушать речи, новости, концерты, сидя после трудового дня в собственной комнате, для чего существуют комнатные приемники, особенно широко распространенные в Америке и Англии.

Пишущему эти строки пришлось послушать такой аппарат за границей, сидя в уютном коттедже в городе-саду на окраине Лондона. В Лондоне—несколько сот тысяч таких домашних радиоприемников, а во всей Англии—около миллиона. Программа—ежедневная, начинается с трех, кончается в 10 вечера и напечатана во всех газетах. Она началась «радиосказками» для детей, потом следовали вечерние телеграммы газет, предсказания вероятной погоды на завтрашний день из метеорологической обсерватории, потом мы услышали избирательную речь Болдуина, которую он говорил в Ньюкастле, научную лекцию. Программа после перерыва закончилась очень мелодичной оперой. Пришлось только пожалеть, что ее только слышишь, а не видишь, как об этом мечтал еще Эдиссон.

Но радио-техника энергично работает в этом направлении и уже добилась в Америке передачи рисунков по радио. Передаваемый рисунок делается рельефным (чем темнее точка рисунка, тем она делается выпуклее) и помещается на вращающемся валике, с которым соприкасается игла мембраны вроде граммофонной, соединенной с микрофоном и установленной в радиотелефонном передатчике. В зависимости от колебаний мембраны усиливаются или ослабляются в антенне электрические колебания и излучаемые ею волны. Эти волны, действуя в принимающем аппарате на электромагниты, заставляют отклоняться на больший или меньший угол особое зеркальце, вследствие чего падающие на него лучи света то же самое перемещаются и проходят через стеклянную пластинку *неодинаковой прозрачности*, вследствие чего усиливаются или ослабляются, проходя через более или менее прозрачные места пластинки и падая далее на светочувствительную пленку, дают фотографическое изображение со всеми тенями и полутенями.

Подобная радиофотография, очень хорошо вышедшая и переданная из Клевеленда в Нью-Йорк, помещена в одном из последних номеров американского журнала «Scientific American».

Но науке и технике и этого мало. Они хотят сделать радиоволны тем же, чем являются человеческие нервы, т.-е. не только органами ощущения и восприятия, но и органами человеческой воли, продолжив их, так сказать, из человеческого тела в пространство.

Речь идет о растущих с каждым днем успехах управления по радио движущимися транспортными механизмами: автомобилями, кораблями, самолетами. При таком управлении может или только корректироваться по радио путь транспортной машины, управляемой людьми, или же она может двигаться сама, без людей, причем управление ее механизмами совершается по радио; эта отрасль радио называется «телемеханикой» и начала уже реально существовать за последние годы.

К первому роду управления по радио принадлежит, например, «радиолоцманство» для судов и самолетов. В первом случае на дне моря или реки по фарватеру укладывается электрический кабель, по которому проходит электрический ток, излучающий от себя электромагнитные волны. Вследствие этого, если судно снабдить с каждого борта радиотелефонными приемниками, то, когда судно будет идти

прямо над кабелем, то в телефонах обоих приемников будет слышен одинаковый музыкальный звук, если же судно свернет с направления кабеля, то звук в одном приемнике ослабится, в другом—усилится.

К такого рода автоматическому лоцманству прибегают теперь в больших мировых портах, переполненных движущимися судами, и оно является наилучшим средством, обеспечивающим безопасность плавания. В Нью-Йорке, напр., на дне порта уложено 25 килом. такого «кабеля-лоцмана». Такого же рода может быть и «аэролоцманство» для самолетов.

Телемеханика захватывает вопрос шире, она стремится управлять на расстоянии автоматами—кораблями, автомобилями, самолетами,—совсем без людей на последних.

Нечего и говорить, насколько важное значение для военных целей имеет практическое осуществление подобной задачи. Слишком заманчиво посылать на врага автоматы-танки, самолеты, сыпавшие снарядами и бомбами, не жертвуя при этом жизнью своих солдат.

Американцы в 1921—1922 г.г. инсценировали грандиозные опыты бомбометания с самолетов по судам. Суда, понятно, были без людей и в большинстве случаев стояли на якоре, но один броненосец двигался без людей, управляемый по радио, причем радиоволны воздействовали на электрические приборы реле, управлявшие действием руля, паровых котлов и машин.

Известно также, что за границей в глубокой тайне ведутся постоянные опыты над управлением самолетов и танков без людей по радио. Но чтобы управлять по радио большим кораблем или даже танком, необходимо управлять также действием движущих их механизмов. Это почти невозможно при паровых двигателях или внутреннего сгорания и вполне осуществимо практически только при двух условиях: 1) если в качестве движущих механизмов будут применены электродвигатели и 2) если питающий их ток будет вырабатываться вне их и будет им передаваться по радио.

Но таким образом мы подходим к проблеме радиопередачи энергии большой мощности, что сопряжено с весьма большими трудностями в виду того, что каждый радиопередатчик излучает из себя энергию во все стороны, как бы по радиусам гигантской шаровой поверхности, так что в каждый приемник попадает ничтожная часть от общего количества энергии, однако, вполне достаточная для целей радиотелеграфии и радиотелефонии.

Так, один досужий американский инженер подсчитал величину энергии электромагнитных колебаний, воспринимаемых приемной рамкой в 30 сант.; оказалось, что она равна всего лишь одной биллионной силы обыкновенной мухи! Но сейчас радиотехника уже справилась с задачей так наз. «направленной радиотелеграфии». При работе радиостанции короткими волнами 10—25 м. и пользовании особыми отражателями, устроенными известным образом из сети проводов, изобретателю и творцу радиотелеграфа Маркони удалось концентрировать и направлять радиоволны по одному определенному желаемому направлению.

Это новое изобретение уже получило практическое применение в виде так наз. «радиомаяков» для морских судов.

Видимость обыкновенных маяков сильно уменьшается в дожди, туманы, метели, что часто ведет к кораблекрушениям; для радиомаяка же плохая погода не имеет значения, и он продолжает посылать предостерегающие сигналы, воспринимаемые судовой радиостанцией, которой теперь снабжен почти всякий морской пароход.

Задача телемеханики уже сейчас как-будто близится к разрешению при передаче радиоэнергии на очень небольшое расстояние.

В этом направлении производятся сейчас опыты во Франции. Электрический переменный ток, вырабатываемый на электрической станции, преобразовывается в ток большой частоты (с большим числом

периодов в минуту) и подается в подземный кабель, проложенный под железной или автомобильной дорогой. Радиоволны от него воспринимаются приемниками, установленными внутри автомобилей или электропоездов; приемники их преобразуют в обыкновенный переменный ток, который затем подается в электродвигатели, движущие автомобили или поезда.

В одной статье невозможно сразу остановиться на всех «чудесах радио», но уже из рассмотренного видно, как интересна и почти безгранична эта новая область техники. Немудрено поэтому, что радиотехника привлекает к себе громадный интерес, и тысячи радиолюбителей не только за границей, но и у нас (конечно, в более скромных размерах).

У нас инициативный и организаторский почин в этом деле проявил культотдел М. Г. С. П. С., создавший для любителей из рабочей молодежи консультационное бюро по радио, которое, буквально, осаждается радиолюбителями, устанавливающими или желающими установить у себя домашний приемник. В настоящее время культотдел организовал уже 150 кружков с 4.000 радиолюбителей. В Москве началась и регулярная передача речей, концертов и пр. от трех станций: московской центральной радио-телефонной станции имени Коминтерна, Сокольнической станции и станции при Институте народной связи.

Успехи радиотехники—лишь отраженные волны успехов техники вообще,—успехов, основанных на технических знаниях и несущих с собой материальные блага на пользу всего человечества.

ПРОФ. В. ЛОВАЧ-ЖУЧЕНКО.

---

Редакторы { *А. В. Луначарский.*  
*Ю. М. Стеклов.*

Издатель: „Издательство Известий ЦИК СССР и ВЦИК“.

Печатается и на-днях поступает в продажу

# № 3 ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК № 3

под редакцией Л. Б. КАМЕНЕВА.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е:

**Л. Каменев.** Годовщина.

**I. В. И. ЛЕНИН. СТАТЬИ ДЛЯ № 3 «РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ»** (1899 г. село Шушенское, Минусинского у.). **Л. Каменев.** Предисловие.

**Ленин.** 1. Письмо в редакторскую группу. 2. Наша программа. 3. Наша ближайшая задача. 4. Насущный вопрос.

### II. ИЗ ЭПОХИ «ИСКРЫ» И «ЗАРИ».

**Л. Каменев.** Введение.

1. **Н. Крупская.** 1901—1902 г. г.

2. Переписка редакции „Искры“ и „Зари“ мюнхенского периода (октябрь 1900 г.—апрель 1902 г.). Письма Ленина, Плеханова, Аксельрода, Мартова (письма 1—95).

3. **Ленин.** Предисловие к брошюре „Майские дни в Харькове“.

4. **Ленин.** Аграрная программа русской социал-демократии. Первоначальный текст рукописи с замечаниями автора, Г. В. Плеханова, П. Б. Аксельрода, В. И. Засулич и Ю. О. Мартова.

5. Переписка редакции „Искры“ и „Зари“ лондонского периода (апрель—май 1902 г.). Письма Ленина и др. (Письма 96—104).

**III. К НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ** [тезисы, письма, наброски **В. И. Ленина** (1913—1916—1919 г.г.)—Краков—Берн—Москва].

**И. Товстуха.** Предисловие.

**Ленин.** 1. Тезисы по национальному вопросу. 2. Письма к С. Г. Шаумяну от 11 авг. и 23 ноября 1913 г. 3. Два письма к Н. Д. Кикнадзе—1916 г. 4. Как происходила выработка пункта программы РКП по национальному вопросу? а) Набросок Л. Каменева; б) Набросок Н. Бухарина; в) Первый набросок В. И. Ленина; г) Второй набросок В. И. Ленина; д) Окончательный проект Бухарина—Ленина.

**IV. ЛЕНИН. ПИСЬМА Р. ЛЮКСЕМБУРГ, Л. ТЫШКО и Ю. КАРСКОМУ-МАРХЛЕВСКОМУ** (1909—1910 г.—Париж.) **Л. Каменев.** Предисловие. **Ленин.** 1. Письмо Розе Люксембург от 18/V-09. 2. Два письма Лео Тышко от 28/III—от 20/VII-10. 3. Письмо Ю. Карскому-Мархлевскому от 7/X-10.

**V. ЛЕНИН. ПИСЬМА А. М. ГОРЬКОМУ** (Дополнение к письмам, опубликованным в «Ленинском Сборнике» № 1 и 2) 1910—1911 г. (пять писем).

**VI. О ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА** (черновые наброски В. И. Ленина и план недописанной брошюры.—Вторая половина 1919 г.—начало 1920 г.).—**Ленин.** 1. Вопрос о диктатуре пролетариата. 2. Некоторые теоретические стороны вопроса о диктатуре пролетариата. 3. Темы о диктатуре пролетариата. 4. О диктатуре пролетариата. 5. План брошюры о диктатуре пролетариата.

### VII. VARIA.

1. **Ленин.** Десять вопросов референту (А. Богданову—1908 г.).

### VIII. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

1. Иностранная библиография: а) Германия. б) Франция.

2. Русская библиография.

### IX. ХРОНИКА ИНСТИТУТА.

1. Состав Совета Института. 2. О деятельности Института. 3. Вновь поступившие рукописи.